

И.М.ПЕТРОВ (ТОЙВО ВЯХЯ)





И.М. ПЕТРОВ (ТОЙВО ВЯХЯ)

Мои
РАНИЦЫ

ПЕТРОЗАВОДСК «КАРЕЛИЯ» 1981

ББК 63.3(2)7
9(С)2
П30

Петров И. М.

П30 Мои границы/Вступ. ст. О. Тихонова. — Петрозаводск: Карелия, 1981. — 328 с., ил.

Перед загл. авт.: И. М. Петров (Тойво Вяяхя)

В своих повестях-воспоминаниях И. М. Петров рассказывает о судьбе красных финнов участников финской революции 1918 года, нашедших в Советской России новую Родину; о чекистской операции «Трест» и лыжном походе Т. Антикайнена на Кимасозеро, о своей многолетней пограничной службе. Повесть «Второй эшелон» и рассказы «След войны» посвящены Великой Отечественной войне. За скупыми, правдивыми строками этой книги встает революционная эпоха, героическая история нашей страны.

Р2

Уже легендарное при жизни, имя Ивана Михайловича Петрова (Тойво Вякя) в широких литературных кругах страны впервые прозвучало 23 марта 1973 года в Москве, на пленуме Правления Союза писателей России, обсуждавшем работу Карельской писательской организации.

Ленинградский писатель Глеб Горышин говорил тогда:

— В Петрозаводске живет человек удивительной судьбы... Вся его жизнь талантлива и легендарна. И как это часто бывает с талантливыми людьми, на склоне лет Иван Михайлович Петров естественно и закономерно пришел в литературу. Он взялся за перо, и оказалось, что не нуждается ни в правщиках, ни в переписчиках. Его повесть «Красные финны» широко известна. Напечатанная в журнале «Север» повесть «Ильинский пост» сейчас выходит в Ленинграде в сборнике «Граница». Эта повесть отмечена не только значимостью и новизной материала, но и твердостью писательской руки, своеобразием почерка... Можно без преувеличения сказать, что в судьбе и творчестве этого человека запечатлены узловые моменты истории нашего общества...

— Я знаю, — продолжил разговор на пленуме Константин Симонов, — что Иван Михайлович пишет сейчас новые рассказы, повести. Мне кажется, что с приходом этого человека в Союз писателей мы обогатились бы прекрасным художником. Потому что это тот случай, когда бывалый человек в пожилые годы проявляет себя как отличный писатель. Это превосходное явление в нашей литературе, сказать о котором доставляет мне радость.

Вскоре после пленума, на 73-м году жизни, Иван Михайлович Петров становится членом Союза писателей СССР.

Стоит только представить себе, какая невообразимо громадная жизнь стоит за каждой его строкой:

участие в Финляндской революции 1918 года, прорыв разрозненных красногвардейских групп в Советскую Россию;

схватки с войсками Колчака, бандами Анненкова, Каппеля, Плотникова. «В борьбе с ними прошли зима, весна и лето 1920 года» — строчка из автобиографии; подавление контрреволюционного кронштадтского мятежа;

исторический лыжный рейд в составе отряда Тойво Антикайнена в пору белофинской авантюры в Карелии; служба в войсках ОГПУ — НКВД в семи горячих точках пограничных рубежей страны;

конфликт на КВЖД;

наконец, участие в чекистской операции «Трест», один на один в пограничном «окне» с такими матерыми разведчиками, как Радкевич, Захарченко-Шульц, начальник Восточно-Европейского разведывательного управления Интеллидженс сервис, личный доверенный Черчилля Сидней Джордж Рейли.

Эпизод чрезвычайный — для любой эпохи.

— Я служил на заставе в районе Сестрорецка под Ленинградом, — рассказывает Иван Михайлович. — Одновременно выполнял задания чекистов, в частности члена коллегии ВЧК Станислава Адамовича Мессинга. В мою задачу входило переправлять через границу на нашу сторону «нужных» людей. В Москве была создана полная видимость действующего у нас белого подполья. Проверить это подполье, дать ему инструктаж, а по возможности и возглавить его решил осенью 1925 года английский разведчик Сидней Рейли. Сидней Рейли... Сейчас я знаю о нем все — в тот день не знал ничего. «Ас среди шпионов» — так назвал свою книгу о нем сын посла-шпиона в Москве Локкарта, начальника британской миссии в России. Сам Локкарт-старший писал об «артистическом темпераменте и дьявольской ирландской смелости Сиднея Рейли», сделанного из той муки, которую мололи «мельницы времен Наполеона». И тут же истинно авантюристическая фраза Рейли: «Если лейтенант артиллерии мог растоптать догорающий костер

французской революции, почему бы агенту Интеллидженс сервис не стать повелителем в Москве?»

А тогда, помню, я нес Рейли на спине через холодную пограничную речку, весь вымок и продрог. В тамбуре вагона передал гостя двум чекистам, якобы агентам подполья, и лишь через несколько дней узнал, какую птицу за хвост схватил... Понятно, ничего не оставалось делать, как слух пустить, что меня, как предателя, расстреляли. Это было важно для той стороны. Мне выдали новые служебные и партийные документы на имя Ивана Михайловича Петрова, и «выплыл» я с ними в бухте Дюрсо на Черном море в качестве начальника заставы.

За участие в операции «Трест» он награжден высшей по тому времени наградой — орденом Красного Знамени, номер 1990, приказ подписан Михаилом Васильевичем Фрунзе.

Однако награжден не Тойво Вякя. Тойво Вякя «уведен» на глазах у сослуживцев. В небытие.

«Завтра, даже сегодня утром, у меня не будет никакого прошлого, — пишет он в «Красных финнах». — Никаких друзей не будет... Если кто и вспоминает меня, так с проклятием. Я любил людей, верил в людей. А тут одним ударом все разрушено. Навсегда все позабыто. Впрочем, я ошибался. Не на всю жизнь. Всего только на сорок лет...»

Под фамилией Петрова отслужил он на ряде застав, отвоевал финскую и Великую Отечественную, из которой вышел командиром полка, одинаково щедро отмеченный наградами и ранами.

Да, такова она, судьба солдата революции, коммуниста. Лишь в 1965 году, с появлением романа-хроники Льва Никулина «Мертвая зыбь», а затем и трехсерийного телевизионного фильма Сергея Колосова «Операция „Трест“», слились воедино две половины жизни чекиста и солдата, подлинное его имя и псевдоним. Так и стоят они вместе над всеми его произведениями: И. М. Петров и в скобках — Тойво Вякя.

Об Иване Михайловиче Петрове написано много и, к сожалению, до обидного однообразно. И винить тут некого: слишком монументальна фигура героя, непостижимо огромна для одной человеческой жизни биография, одно изложение которой обычно исчерпывает любые жанры периодических изданий. Взять фрагмент,

эпизод, случай? Однако не равносильно ли это попытке понять, выразить, донести до других смысл мозаичного панно по одному, отдельно изъятому камню? И не оттого ли наша литература, столь щедрая на книги о людях разового подвига, так скупа на художественно развернутые судьбы ровесников века, наших современников, удел которых — трагически и гордо нести, двигать время, наполнять его разумной и благородной борьбой — от самых истоков революции и до наших дней.

Видимо, с этой неохватностью собственного жизненного материала столкнулся и сам И. М. Петров, когда, по его признанию, «мало-помалу закрипело перо». Произошло это в мудрые годы, и автор безошибочным чутьем устремил повествование от общего к частному. Первая его повесть «Красные финны», выстроенная из трех разделов — «Право на революцию» (1918 год в Финляндии), «В интернациональной школе» (воинская и политическая подготовка, кронштадтский мятеж, поход на Кимасозеро), «Операция „Трест“», — при всей ее обстоятельности и завершенности была как бы нарочито конспективной, ощутимо чувствовалась в ней затаенное предложение читателю: вот, как бы говорил автор, часть событий, о которых я могу рассказать в любой степени подробностей и деталей.

Повесть принесла автору широкую известность. Читательский заказ поступил, стало быть, можно не ущемлять и не коротить строку. И действительно, в дальнейшем своем творчестве, укрупняя события, И. М. Петров неоднократно возвращается к теме красных финнов: выделяет в отдельный очерк воспоминания о Тойво Антикайнене; пишет проблемное, сегодняшними раздумьями продиктованное повествование «Далекое и близкое Кимасозеро»; погранично-чекистский материал разрабатывается в одной из лучших повестей автора «Ильинский пост» и в цикле рассказов «Мои границы», перерабатывается «Операция „Трест“» и выходит самостоятельным произведением в книге «В переломные годы», за которую в 1979 году автор отмечен Государственной премией Карельской АССР.

Каковы же нравственно-эстетические, художественно-исторические критерии писателя Петрова — Тойво Вякя?

Никакого самовыделения. Самая тихая и порой

ироничная строка — о себе. Неизменный предмет его описаний — время, среда, товарищи по тайной и видимой миру борьбе. Афористичность, психологическая наполненность диалога, философская тональность повествования — все это не из кулинарной книги литературной теории, не из книжных образцов, все собрано на корню, в трудах, засадах, боях; все — плод выверенных десятилетиями раздумий о социальных и духовных катаклизмах первых лет революции, о взаимоотношениях народов и государств, о настоящем и будущем. И какие уплотненные, широкозахватные строки, неподвластные кабинетному историку, рождаются вдруг веско и неопровержимо под пером участника событий. «Все распалось. Остались обломки, трупы, и мы, уставшие и опустошенные. О том, как вели себя белые, не пишу. Общую оценку им дал Ромен Роллан: «Во все времена белые армии похожи одна на другую». Да, именно — во все времена! Белогвардейцы Маннергейма, расстрелявшие всех захваченных ими или добровольно сдавшихся солдат небольших и разрозненных русских гарнизонов на севере Финляндии, расстрелявшие тысячи красных финнов, и его же, Маннергейма, «сепаратные» войска в составе гитлеровской армии в районе Смоленска и под Тулой, — разве они не похожи друг на друга и все вместе на войска Миллера и Колчака, на банды Семенова, Калмыкова, Булак-Балаховича?» («Красные финны»).

Нележки, трудоемки эти качества документальной прозы — верность исторической правде, трагизму и жестокости века, выстраданной гуманности человека нового мира. Анализируя это основополагающее свойство творчества И. М. Петрова на примере «чрезвычайно интересной вещи», «Ильинский пост», Константин Симонов отметил в повести «такое рассмотрение трагического прошлого, которое сделано глубоко психологически и очень человечно. И в то же время — строго. Потому что у Петрова в этой вещи гуманность — это не добренькая гуманность, это человечность, строгая к себе и другим, в конкретных и жестких исторических условиях». Сходную мысль высказала писательница Ольга Кожухова, участница Великой Отечественной войны, автор многих произведений о войне.

— Вы знаете, реальность войны, трагичность войны — это очень тонкое дело, — говорила она на выезд-

ном заседании Комиссии по военно-художественной литературе Союза писателей РСФСР, обсуждавшей в Петрозаводске военную тематику журнала «Север». — Здесь нельзя пережать, переменить интонацию, потому что сразу произойдет искажение истины. Меня поразило, что Иван Михайлович Петров в произведениях о войне сохранил тот дух человечности, дух человека, поднявшегося над обстоятельствами, над голодом, над ранами и жестокостью... Это все настолько пережито, настолько реально и настолько впечатляет, что для меня эти рассказы из цикла «Второй эшелон» представляются просто каким-то удивительным явлением...

Те, кому доводилось встречаться с Иваном Михайловичем, пораженные его необыкновенным даром рассказчика-собеседника, считают порой, что все созданное им не что иное, как реализация редкостной памяти. Такая, мол, жизнь и такой дар природы, и чего, мол, стоит от буханки хлеба кусок отрезать — хоть поперек режь, хоть вдоль, все равно будет хлеб... Увы, слова даются ему, как борозда целинному пахарю. Трудится он с мучительной требовательностью к себе и отнюдь не без художнической позиции. На письменном столе восьмидесятилетнего мудреца можно увидеть выписку из книги «Мастера современной гравюры»: «Я ценю... в гравюре невероятную сжатость и краткость выражения, ее немногословие и, благодаря этому, сугубую остроту и выразительность... Что вырезано, то и остается четким и ясным. Спрятать, замазать, затереть в гравюре нельзя» (А. Остроумова-Лебедева).

Казалось бы, при чем здесь гравюра. Но вот потайные пути творчества привели писателя к аскетизму гравюрной техники, к пониманию непоправимости слова и факта, когда работаешь в жанре исторической документалистики.

Наконец, трактовка героизма — как нормы поведения, как синтез осмысленного опыта и общественного, патриотического долга. Герой Петрова лишен авантюризма, слепой отваги, показного мужества, патетики. Он прост, без надрыва верен себе даже на пределе человеческих возможностей. Он — носитель частицы народных забот и уже потому отрицает бессмысленное самопожертвование, ищет гибкости, неуязвимости в самых сложных ситуациях борьбы.

В одной из статей И. М. Петрова находим примечательные слова: «В боевых условиях чувство настойчивости никогда полностью не оставляет человека, и в этом не слабость его, а сила. Боец, разведчик тем более, рождается тогда, когда осознает, что в вооруженной борьбе уцелеют не все. Такой человек не ищет только для себя укрытия, счастливого исхода. Элементы настороженности, органически переплетенные с высоко развитым чувством ответственности и служебного долга, оберегают разведчика от опрометчивых и безрассудных поступков по тем же законам, по которым ощущение боли учит человека правильно обращаться с огнем или острыми предметами, до конца используя их полезные свойства... Об этом ощущении не расскажешь, оно познается только на ощупь...»

Да, на ощупь — плотью, чувством, кровью. На ощупь взято, испытано все, что есть суть этой книги. Не отсюда ли достоверность, точность повествования, хорошо осознанная цена документальной детали, использованной всегда в меру и к месту. Буквально каждая страница произведений И. М. Петрова вводит читателя в мир знаний, вещественный, обжитый человеком наблюдательным и разборчивым на подсказки памяти. «Хорошо помню мою первую заставу, тогда еще кордон. Заставами они стали именоваться с мая 1924 года. Малюсенькая комната, нары вдоль стены, столик, сколоченный из патронных ящиков у единственного перекосившегося окна, возле двери — плита для обогрева и варки пищи. Ни телефона, ни кабеля. Пограничная дивизия, уходя, захватила и свои средства связи. Табельные — не оставишь! Устава пограничной службы еще не было. Сунул мне Бомов, помощник коменданта, подшивку приказов и наставлений: «Бери! Ничего в них толкового нет, но иметь обязан. И береги — секретные...» Таково начало воспоминаний «В чекистской операции „Трест“», и в нем все — точная датировка, емко воспроизведенная обстановка убогого пограничного приюта середины двадцатых годов, и уже заявлена тревога, уже увлечен читатель ожиданием событий необычайных.

...Несмотря на преклонные годы, И. М. Петров в каждодневном труде. «Задача человека — пустить ум и душу на полные обороты» — строчка из его статьи в «Комсомольской правде». Как всегда, он отдает чи-

тателю лишь то, что выносил в себе, выверил временем, чему следовал всю свою жизнь.

«Трудным был наш путь и суровым, — пишет он в «Красных финнах». — Но сказать только это означало бы сказать не всю правду. Мы познали революционную романтику, и лучшие годы были ведомы ее могущественной силой. Мы сроднились с ней и верим — не умерла она и не исчезла бесследно... Будущее шагает дальше».

Он родился 12 апреля 1901 года. Было голодное, нищее и полуграмотное детство. Ровно через 60 лет 12 апреля станет Днем космонавтики. Так разительно изменится мир. И не без его участия. Вся его жизнь веско и надежно вложена в революционную эпоху. Творец этой эпохи, коммунист с шестидесятилетним стажем, ныне он честный, исторически эрудированный, талантливый ее летописец.

Олег Тихонов

ПРАВО ЗАЩИЩАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ

С падением царской империи пала ширма, которая позволяла ссылками на внешнее угнетение удобно и надежно прикрывать внутренние пороки общественного устройства самой Финляндии. После победы Великого Октября классовые противоречия особенно обнажились, обострились. Финская буржуазия готовила трудящимся своей страны новые, «отечественные» оковы взамен павших внешних и в январе 1918 года развязала гражданскую войну. Увлекаемые стремлением к свободе, этой манящей цели, во многом еще неведомой, красные финны сражались с беззаветным героизмом. По масштабам переломной эпохи их было немного, несколько десятков тысяч, но это — почти все наемные рабочие Финляндии, страны совсем небольшой.

Красные финны мне бесконечно дороги. Дорога мне и их память. По-разному сложились их судьбы, но есть и общее в них. И это общее, не утраченное и сейчас, поможет мне заглянуть в то далекое прошлое, когда складывались наши личные судьбы, для многих по трагичности поистине беспримерные.

«БЕЗ МАЛОГО ШЕСТНАДЦАТЬ»

Детские годы помню плохо — давно очень это было. Все, наверное, было: радости детские, детское горе и детская любовь. Все, как бывало и есть, наверное. В семье, вспоминается, что-то разладилось, и мы — мать и старшие дети — оказались в деревне.

Отец в те годы к нам не приезжал. Зато часто бы-

вал дядя, младший брат отца, холостой еще и очень добрый. В дальнейшем отношения между родителями наладились, и они жили в большом согласии до глубокой старости. Семья стала расти, и потому, видимо, меня взял к себе другой дядя — брат матери, вдовый человек с дочерью моих лет.

Одного детства не имело — продолжительности. Оно ограничивалось четырнадцатью годами и, по окончании школы, обрывалось сразу и резко, как выстрел.

Дети рабочих в основном оканчивали начальную школу. В городах — шесть классов и четыре в сельской местности. Впрочем, существенной разницы не было: в сельские школы принимали с девяти лет и только детей, умеющих читать, писать и в какой-то мере знакомых с четырьмя действиями арифметики. В городские — с семи лет, и два первых класса были подготовительными, для приобретения таких же начальных знаний. Не все дети рабочих получали и такое образование, особенно в сельской местности.

Два события осели в памяти. Совершенно различные они были, и в те годы я, мальчишка, не мог дать им верной оценки. Не могла такой оценки дать и моя среда.

Смерть Л. Н. Толстого оплакивали, как уход навсегда создателя литературных шедевров (частично уже переведенных на финский язык), но, может быть, больше всего как доброго христианина, не успевшего сказать людям о боге то важное и великое, тайной которого владел.

Пышно отмечалось трехсотлетие дома Романовых. Впервые в финских школах выставили портреты русского царя. Небольшие портретики и довольно примитивные — в сравнении с портретами таких деятелей национальной культуры, как Рунеберг, Лённрот или Алексис Киви, выполненными на высоком художественном уровне и значительно большими по размерам. В отличие от остальных портретов, царские имели позолоченную рамку, что, возможно, удовлетворяло вкусы правящей знати и ее великодержавный раж.

Тогда же, кажется, в начальных школах ввели обязательный курс русской истории. Учебник был маленький, не больше общей тетради, и довольно жалкий. В эту книжечку уместилась вся история России от возникновения Руси и до последнего из Романовых. Мно-

гого в таком учебнике не скажешь, но ряд положений надо было заучивать наизусть. Тогда же я узнал, что Россия состоит, оказывается, из великорусов, белорусов и малорусов, имеет 49, кажется, губерний и еще семь в царстве Польском. Царь, оказывается, вовсе не русский царь, а польский. Так и заучивали: «Мы, Николай второй, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский» и пр. и пр. Надо было знать всех царей до последнего Николая. Еще Дмитрия Донского и Александра Невского, возведенных почему-то в ранг святых. Надо было знать десять крупнейших городов России, и тогда они шли в такой последовательности: Петербург, Москва, Варшава, Одесса, Харьков, Киев, Баку... Нет, больше не помню уже. Да и стоит ли оперировать столь древними данными, когда появились тысячи новых городов и население многих из них достигает миллиона.

Экономика России, ее культура и литература не изучались. Разумеется, программа начальной школы имеет свои ограниченные пределы.

Но вот закончена школа, а с нею кончилось детство. Берись теперь за труд. Кто лес идет рубить и сплавлять, кто в батраки, кто к станку. Чтобы приняли на работу, скажешь, конечно, что не четырнадцать тебе. Детский труд передовая общественность осуждала, и предприниматели остерегались открыто эксплуатировать малолетних. Делают вид, что не нуждаются в детском труде: «Кому они, сопляки!» Но когда ты скажешь, что тебе уже, мол, без малого шестнадцать, дело меняется. Теперь уже не эксплуатация детского труда, а обучение рабочей молодежи профессиям. А это разве не патриотический долг предпринимателя?

Завод, куда я поступил работать, был немалый. По тому времени из передовых и, судя по наименованию — «Машино- и мостостроительный» — широкого профиля. Вели даже ремонт поврежденных в боях военных кораблей — миноносцев.

У меня работа была простая: отпили заготовку и расточи ее концы по шаблону. Вот и все! Так по девять часов в день. Ночные смены, через неделю, были на час короче. Ученикам первого года обучения в середине ночи разрешался часовой отдых на опилках в подсобной котельной.

Труд подростков, почти детей еще, применялся ши-

роко и занимал видное место в производстве. И это была дешевая рабочая сила! Ученику первого года платили по сорок рубли в день, примерно столько же копеек на наши современные деньги. На втором году учебы — сдельщина: половина заработной платы взрослого рабочего за такую продукцию. На третьем году — три четверти, а там — получай справку о приобретении специальности и — будь здоров, заводу ты больше не нужен. Ему нужны новые ученики, новая дешевая рабочая сила.

Труд был организован разумно. Отношение к ученикам — безупречное. Подзатыльников не давали, на побегушках не гоняли, и никто не требовал частных услуг. Покушения на заработную плату ученика под видом празднования «первой получки» или под любым другим предлогом исключались внутренним миром здоровой пролетарской среды. И не им только. Ученик у станка, за работой, создает прибыль. Ученик на побегушках — признак отсталости предприятия и плохой организации труда.

Тяжело стоять у станка в такие годы, особенно в ночную смену. И не просто стоять: надо работать и выполнять норму выработки! После нескольких дней практического обучения быстрые детские руки изготавливают небольшие детали, не требующие повышенной точности, темпами мастерового. Темпы почти механически закреплялись в нормы. А раз нормы есть и твои способности выявлены — пошевеливайся!

Коротким было детство. Юности не помню. Память не сохранила ее следов. Помню невероятную усталость и тревоги начавшейся первой мировой войны. В моем представлении они переплелись, хотя война началась, когда мне было тринадцать, а работать начал, когда четырнадцатый миновал.

Война шла вдали. Финны, подданные русского царя, в армию не призывались, но война властно вторглась и в нашу среду. Промышленные предприятия одно за другим переключались на военное производство, и в порт прибывали поврежденные в боях корабли. Миноносцы подходили к причалам и докам. Тяжелые корабли останавливались на рейде. Говорили, что и те оси, которые я вытачивал, были элементами цепей орудийных башен на кораблях.

Вскоре меня перевели на изготовление других, бо-

лее сложных деталей, а мое место занял новый малыш, еще совсем «зеленый». Тоже из тех, которым «без малого шестнадцать». По сути дела, мы так и продвигались: от маленького станка у входных дверей к более мощным и сложным в глубине цеха, а от них — к заводским воротам.

Бывало иногда, в летнюю пору, побежишь к заливу. Знакомые камни, плоские и почти белые, отшлифованные в течение веков волнами и поколениями детских ножек. Много тут этих детей, веселых, шумных и озорных. Пройдут годы, совсем немного лет, и когда им станет четырнадцать, как мне, они будут изредка приходить сюда и уставшими глазами смотреть, как играют другие дети. Но изнуренные ночными сменами и постоянным недоеданием, не будут уже бегать и долго не задержатся здесь.

Вдали — моторные лодки, великолепные яхты, блестящая молодежь и музыка. Там другой мир...

Я очень любил остров Бряндю, сейчас, кажется, Кулосаари. В те годы туда вела паромная переправа. Высокие скалы с хилой растительностью, вид на бесчисленные острова — все это волновало воображение. Если усталость не очень одолевала, я часами расхаживал по этим скалам и почему-то сочинял стихи. Не помню их теперь. Но, конечно, мне они казались хорошими, трогательными и даже вызывали у меня — автора и единственного читателя — обильные слезы. Сильно меня волновали «Морской волк» и «Хижина дяди Тома», первые книги, которые помню.

Сейчас я, наверное, принадлежал бы к самым старым жителям этого острова. По сути дела, Бряндю только осваивался горожанами. Построек еще было мало. Улиц — всего две и те плохие. Одна вела к казино на берегу, почти над обрывом. Вторая — вдоль трамвайного пути в глубь острова. Она могла бы и на западный берег выйти. Но до конца ее не довели. Места там дикие, не обжитые еще, и кому нужна улица в такой глухомани!

Бряндю строился, может быть, благодаря войне. Спекуляция достигла невиданных размеров, и, может быть, именно тогда я впервые услышал новое мне слово — спекулянт. Трудящиеся презирали этих пиявок, но они все росли численно, обогащались и охотно вкладывали неустойчивые бумажные деньги в надежную не-

движимость. Помню вереницы женщин и девчат со связками кирпичей на спине, бегающих по крутым и шатким лесам на верхние этажи новостроек. Финны моего возраста помнят этот женский труд в старой Финляндии.

На развилке двух этих улиц, той, что с казино, и другой, идущей в глубь острова, жил я тогда у своего дяди. Комната чердачная, с наклонным потолком, в стене, в углублении ниши — плита. Владелица не возражала: «Пускай живет! Куда ж его, такого? Поможет иногда двор убирать. Ему же и польза: не избалуется». Она знала, что говорила. В ее руках не избалуешься!

Война все более жестоко вторгалась в рабочие семьи непрерывным ростом цен. Продукты питания еще были в продаже. Только не по карману рабочему человеку. Однажды мой дядя забунтовал:

— Не хочу жить на одной ливерной. На Мурманку поеду. Там и кормят и заработки приличные.

Что нашел он в лесах Карелии — не знаю. Видеться больше не довелось. По рассказам, «на Мурманке» все было: и приличные заработки, и продукты питания — и много там образовалось могильных холмов.

Уехал дядя, и я лишился жилья. Некоторое время жил в Хельсинки на Третьей линии, у Отто Пирсканена, видного спортсмена по тем временам. Потом перебрался в район Лампилахти, в среду мне подобных.

Моего заработка хватало на скудное питание. По воскресным дням я мог позволить себе даже настоящий обед из трех блюд в Рабочем доме. Конечно, это за счет завтрака и ужина. Зато с какой гордостью я в такие дни заказывал все одно и то же третье блюдо: «соппа, корпут и керма», что означало — компот с сухарями и сливки. В остальные дни питался предельно скромно, но тоже как бы из трех блюд получалось. Утром каша «геркулес» с маслом, вечером — она же с сахаром, а в обед — суп, кусок хлеба и непрременный кофе. Не натуральный уже, суррогатный и, разумеется, не в Рабочем доме, предприятии полу-ресторанного типа, а в харчевне у самых заводских ворот.

Жил я прижимисто и накопил денег на ботинки. Купил ярко-желтые, заметные издали. Хозяйка ворчала:

— Разве это обувь для рабочего человека. Вкуса у тебя нет. Спросил бы...

Цены все росли. Мой заработок оставался неизменным — по сорок пенни за смену, что бы я ни делал, сколько бы ни выработал продукции. И обмана тут не было. Так и было сказано при найме еще в первый день: по сорок пенни в течение первого года!

Не выдержал я этих наших договорных условий и перешел браковщиком на обувную фабрику, выпускающую тупоносые солдатские сапоги. Она тоже тут поблизости была, в Хаканиеми. В мои обязанности не входила выбраковка негодных сапог. Кто бы допустил такое! Куда бы владелец подевал столько негодной продукции? Я должен был удалять явные признаки брака. Только признаки! Головки сапог часто делали из гнилой кожи с трещинами, разного рода надломами и ссадинами. А их не должно быть! Финляндская продукция может быть только полноценной! Вот и сиди и острейшим ножом удаляй с кожи выступающие края трещин. Потом отшлифуй, да так, чтобы и следа не оставалось, — и первосортный сапог для солдата русской армии готов. Носи, солдат, и будь счастлив, если он выдержит несколько переходов. Работа почти ювелирная, а платили и тут мало. И тоже как бы справедливо: дополнительная работа, не предусмотренная технологической схемой. Накладно!

Летом 1916 года я перешел на оборонные работы, которые вело командование царской армии в горах, за городом. Пробираться туда надо было сначала катером, потом по длиннейшим понтонным мостам из бочек и еще немалое расстояние пешком по горам.

Зарботки там были заметно выше, и столовая была. Работать не полагалось. Надо было только держаться за лопату и воткнуть ее в землю при подходе солдата-сапера, руководившего работами землекопов-финнов. Возможно, такое отношение к труду здесь было проявлением национального протеста, понятного и в тех условиях правомерного, но в целом, в народной среде, направленного по ложному следу. На всю жизнь я сохранил убеждение, что именно в национально-освободительном движении финская буржуазия нашла лучшие пути к душе народа и использовала его покорность и доверчивость в своих интересах.

В течение веков, включая шведское владычество, гос-

подстывающие классы Финляндии, органы самоуправления, печать, школа, церковь и весь уклад общественной жизни внушали народу враждебность ко всему русскому. Не допускалось и намека о том, что есть две России — трудовая, дружеская, братская и Россия грабительская, враждебная ко всем народам и, может быть, наиболее враждебная именно к самому русскому народу.

Любые проявления дружелюбия рабочей молодежи к русским солдатам и морякам флота осуждались. Финские девушки, замеченные на танцевальных площадках солдат или моряков, подвергались суровому и оскорбительному общественному и церковному бичеванию.

Господство Российской империи, разумеется, не было благодеянием для финнов, и не мне оплакивать его распад. Но неоспоримо, что, получив независимость решением пролетарской России, ни одно собственно финляндское правительство, исключая последние послевоенные, не обеспечило своим гражданам и тех личных и гражданских свобод, которыми они пользовались в составе Российской империи. И это не только в области политической.

Финляндские железные дороги имели ширину колеи, принятую по всей империи. Но появление в Финляндии «русских» вагонов признавалось оскорбительным для национального достоинства финнов. И в Петербурге, на Финляндском вокзале, производилась перегрузка товаров из красных «русских» вагонов в синие «финские».

С глухой болью вспомнил об этом, когда недавно мне предложили «финскую» папиросу в американской упаковке. Могуущественные монополии США захватили табачную промышленность этой небольшой страны. И это, кажется, не вызвало заметного протеста. Может быть, это делалось в порядке обмена? Финнам по-прежнему разрешено экспортировать в Америку своих лучших спортсменов.

Старая добрая Финляндия!

Рабочее движение было хорошо организованным и массовым, но по направленности преимущественно культурно-просветительным. Подавляющее большинство рабочих состояло в Социал-демократической партии, в те годы единственной политической партии трудящихся. Почти все рабочие были членами профессиональных союзов.

Помню забастовочное движение, споры и перепалки по выборам в Сейм, по вопросам кооперации, женского равноправия и большую, думается, работу по организации рабочего спортивного движения. Немалое внимание уделялось поднятию культурного уровня рабочих, профессионального мастерства, устройству вечеров самодеятельности и массовых празднований.

Веселым, спортивным и каким-то семейно-милым вспоминается праздник весны, условно Первомай. Выступали чтецы-декламаторы, самодеятельные поэты из рабочих, ставились пьесы. Спорт, конечно, массовые игры и танцы.

Широко и весело отмечалась середина лета, иванов день. Обычно выезжали на острова. Все — и глубокие старики, древние старухи и малые дети. Был один общий костер и небольшие семейные. Кипятили кофе, шутили и пели. Выпивали тоже. Существовал очередной «сухой закон», но изобретательные и изголодавшиеся финны перегоняли на водку денатурат и даже гуталин на спирту, выпускаемый всесильными спекулянтами-предпринимателями. Молодежь не угощали. И страшно-вато было бы начинать такое наслаждение с употребления компонента сапожной мази!

Финны моего времени не отличались святостью и были драчливы. За дружеской выпивкой нет-нет да и вспыхивали ссоры. Но окружающие вмешивались и дальше незамысловатой угрозы: «А ну, ударь еще раз» — дело обычно не доходило.

Многие, металлисты в особенности, высокому профессиональному мастерству учились в Питере, и туда выезжали на заработки в период забастовок в Финляндии и безработицы. Встречались финны с русскими рабочими и при ремонте кораблей Балтийского флота.

Идеи национальной независимости, несомненно, искрились и в рабочей среде, но оголтелые антирусские настроения там места не имели. Связи с русскими рабочими и все более ясное понимание общности судьбы рабочего люда исключали такую возможность.

Показательными являются слова о русском народе умеренно левого социал-демократа И. Мякелина, которые приводит И. И. Сюкияйнен в своей превосходной книге «Революционные события 1917—1918 гг. в Финляндии»:

«И. Мякелин говорил: „Мы знаем, и мы убеждены,

что этот народ, который не имеет никакого отношения к разбойничьим планам российского правительства, как только он сам освободится от своих угнетателей, еще вернет нам все то, что правительство от нас возможно отнимет»».

Здесь чрезвычайно сильно и верно высказаны мысли рабочих-финнов моего времени и их вера в новую Россию. И мы вправе гордиться таким пониманием классовых и национальных проблем финскими рабочими старших поколений.

Мы помним, и молодые не должны забывать, хотя знают об этом только из литературы и уроков истории: пролетарская Россия вернула финнам даже больше, чем они просили.

Символично, может быть, что сын этого Мякеллина, Юрье, в составе красных финнов воевал за власть Советов в России...

Старая добрая Финляндия!

Крупнейшая роль в воспитании национальных чувств финнов принадлежала церкви, организации своеобразной, очень сильной и весьма сложной. В Финляндии она отличалась большей демократичностью и сравнительно терпимым отношением к тем, кто отрицал ее догмы. Нельзя не признать и ее заслуг в деле превращения Финляндии в одну из первых стран сплошной грамотности. Например, к конфирмации — предварительному условию вступления в члены церкви — допускались только юноши и девушки, умеющие читать и писать и, конечно, знающие катехизис. И только такие, разумеется, могли вступить в церковный брак. Неграмотные, не принятые в члены церкви, лишались этого права. Церковь призвала население к полному охвату детей школьным обучением. Для неграмотных юношей и девушек организовывала воскресные и вечерние школы.

Священник — киркко херра — неперменный участник организации народных празднеств и спортивных соревнований. Не кадиллом он там машет и не навязывает благословения, а дает советы, дельные советы. Вспоминается, что и мой первый приз на лыжных соревнованиях школьников я получил из рук главы местной церкви.

Поведение священника внешне было безупречно. Свою, и немалую, долю общественного продукта он получал как должное, марок и пенни не собирал. И кто бы посмел предложить киркко херра такое!

Не микует он семьи бедняка, если там случилась беда, не откажется в такой семье от чашки кофе, может быть и очень плохого. Еще долгие годы после этого хозяева будут рассказывать соседям: «Тут за нашим столом сам киркко херра сидел и пил кофе из этой чашки. Храним ее уже сколько лет».

Да, большой силой была церковь, и не покачнешь ее тем только, что назовешь религию опиумом. Хорошо и умело служила она имущим классам, направляя недовольство народных масс против «внешних угнетателей», против России и русских. С падением царского строя в России церковникам стало не до ласковых улыбок. Исчезли улыбки, и церковь показала свои зубы.

Но вернемся к тому, что происходило летом 1916 года.

«Национальный протест» землекопов-финнов на оборонных работах царское командование подавило без усилий: просто увеличило число саперов-надзирателей, и в дальнейшем они безотлучно торчали около нас. Сидели ли они, стояли или курили, но лопаты в наших руках двигались споровисто и быстро.

На зиму, как обычно, земляные работы прерывались. А в этот раз, насколько я знаю, они уже не возобновились более. Может быть, и сейчас там сохранились наши окопы и траншеи. Длинные и довольно прямые рвы, отделанные бетоном. Были совсем готовые, были и только начатые.

С прекращением строительства оборонительных сооружений всех вольнонаемных командование уволило. Передо мной, как и перед многими другими финнами, вновь встал вопрос: где найти работу? Была зима, всюду сокращалось производство, спрос на рабочую силу уменьшался, а число нуждающихся все росло. И я решил ехать в Питер, как тогда финны называли Петроград.

Рабочих финнов в Петрограде было много. Десятки тысяч, наверное. На Выборгской стороне, на Охте, в районе Финляндского вокзала финская речь звучала так же часто, как и русская.

В Петроград я ехал первый раз. Кое-какие представления о большом русском городе я имел, хотя и не знал, где буду жить, где работать. В одном со мной вагоне из Хельсинки возвращался пожилой финн, постоянный жи-

тель Петрограда. Старые финские производственники бережно и заботливо относились к рабочей молодежи. Не только наставления давали, а часто расспрашивали молодых, советовали, но мнения своего не навязывали. Таким оказался и мой спутник — доброжелательный и умный.

— Смотри, Питер большой. Все бы финны туда уместились, — говорил он. — А что языка не знаешь, то это не такая уж большая беда. Вот если надолго едешь, то без языка не жизнь. Конечно, есть и такие, которые и не изучают, но это худо. Работать крепко придется, а пальцем на все не укажешь.

— Работы я не боюсь.

— Не боишься, говоришь? Это хорошо! Но не хвались зря. На токаря не доучился. Значит — не токарь. Землю копал? Улицы, что ли, перекапывать будешь в Питере? Молодому человеку ремесло знать надо, ремесло!

— Может, на железную дорогу поступлю, временно, до весны.

— Может быть. Зима на носу, и временных рабочих нанимают. Но опять только шпалы да рельсы таскать и убирать снег тоже. Ремеслу не научат. Может, в Дубровку поедешь, раз там у тебя родители? Слыхал я, что недурно там.

— Как к финнам — русские? — расспрашивал я.

— Разные они, русские. Рабочий человек есть рабочий человек. Ничего дурного или чужого в нем нету. Язык только другой. Ты держись ближе к тем, кто ремесло знает. А так — всякие люди: и дурные есть, пьяницы, жулики разные. Таких остерегаться надо, особенно на базарах, по барахолкам которые...

— Жил с людьми, знаю.

— Так ли уж хорошо знаешь, — усомнился мой добрый собеседник. — Хороших людей на свете много, да только на лбу у них о том не написано. Присматриваться надо. Ты вот запиши мой адрес — на Шпалерной живу. Многого не обещаю, но если трудно будет — чем-нибудь помогу. Заходи.

Мой спутник верно сказал. Петроград — город большой. Заводов много. Всем бы финнам места хватило, а одному втиснуться трудно. Потолкался я в городе недолго, попробовал эти временные работы и решил: по-

еду-ка в Дубровку, к своим, а там видно будет. Поздней осенью 1916 года одним из последних пароходов поднялся я вверх по Неве до Дубровки.

ДУБРОВКА

Это был маленький поселок на Неве. Маленький и оторванный от большого мира. В летнее время связь с Петроградом и Шлиссельбургом — пароходами. В зимнее — через станцию Мга, ближайшую, но не близкую — до нее более десяти километров.

Дубровка в те годы — это лесопильный завод, бумажная фабрика да небольшие сельскохозяйственные угодья. Конный транспорт здесь еще долго оставался единственным средством зимних перевозок заводского груза.

Финнов в Дубровке жило порядочно, семей сто, если не больше. Примерно столько же русских, в основном выходцев из деревень. Были еще ингерманландцы. Они обслуживали конный обоз. Ингерманландцы в какой-то степени владели русским и финским языками и гордились этим.

Администрация состояла из шведов, держалась обособленно, жила в особняках улучшенного типа — все-таки начальство. Других представителей власти в Дубровке не было, если не считать урядника, всегда серьезного и надутого. Он обычно ходил в черной шинели, с белыми ремнями крест-накрест. Похоже было, что само время уже перечеркивает эту фигуру.

Рабочие — финны и русские — жили в деревянных шестиквартирных домах, расположенных ровными рядами. Холостяки и кое-кто из молодоженов размещались в маленьких домиках, тут же, через дорогу. Часть русских, из местных жителей, имели свои дома в ближних деревнях.

Все жили дружно, хотя в быту несколько обособленно.

Довольно развита была самодеятельность, хотя Рабочего дома в Дубровке не было, о нем только мечтали. Администрация уступила длинный старый сарай, и в нем мы устроили временный клуб. Там проводили вечера с ранней весны до поздней осени. В зимнее время не войдешь, не посидишь — холодно.

Выступали и русские и финны. Шведы — редко. Обычно они только показывали гимнастику на снарядах, которая с трудом давалась рабочим, уставшим от тяжелого труда. В одно воскресенье выступали финны, в следующее — русские, но иногда в один вечер и те и другие. Хотя языка друг друга и не знали, но дружно аплодировали и говорили потом:

— Хорошо эта русская девица пела, задушевно.

— Да, голоса у них есть, и песни хорошие.

Конечно, и среди финнов были разные люди. Степенные и молчаливые мастеровые, жизнерадостная и шумливая молодежь; встречались и великовозрастные лоботрясы, даже в солидные годы не достигшие зрелости. Пьяниц и картежников, к счастью, было немного, но иногда в поселке случалась и поножовщина. Да и в самой Финляндии в мои годы тоже без этого не обходилось.

Февральская революция не вызвала в Дубровке заметных волнений. Урядник куда-то подевался, и администрация не оказывала сопротивления введению восьмичасового рабочего дня. Она пошла даже дальше — выделила материалы и деньги на строительство Рабочего дома. Все это, как было обусловлено, она давала взаймы, но потом рабочие смеялись:

— Как вышли мы со знаменами, толстопузые испугались. Такие любезные стали: «Хотите восемь часов — пожалуйста, господа». Тут, видишь, и господами нас назвали.

— Не вернем мы им этих денег, что взяли на Рабочий дом! Черта лысого им...

— Ясное дело, не вернем...

Возможно, администрация потому не противилась и уступила рабочим, выделяя деньги и материалы на строительство, что рассчитывала извлечь себе выгоды. Кажется, тогда она эти выгоды получила. Занятые строительством своего Рабочего дома, финские рабочие в Дубровке не вмешивались в большую политику. Некоторое время плотником на этом строительстве работал и я. Пришел поздно, и мои профессиональные навыки не внушали доверия, хотя и говорят, что настоящий финн рождается вместе с набором плотницкого инструмента. Мне доверили только участие в возведении тех сооружений,

которые сѣбычно выносятся подалеже от главного входа. Попадешь, бывало, молотком по пальцу и Эйно — старый мастеровой, мой шеф — тут как тут: ...

— Скажу я моей Вильгельминовне, чтоб она тебе сковородку дала. Иные мастеровые сковородою ловчее по гвоздю попадают.

Я помалкивал: оказывается, процесс освоения профессии — дело мудреное.

Не зная русского языка, многие из нас не были осведомлены о том, что происходило в России. Администрация же этим пользовалась. Но новое, конечно, вторгалось и в такую тихую гавань, как наша Дубровка. Появились новые имена: Брешко-Брешковская, граф Львов, «социалист» Керенский. Однако они недолго пользовались вниманием рабочих, всех их вскоре вытеснило новое имя — Ленин. Ленин и большевики. Мало кто из участников финского рабочего движения раньше слышал о них. Из русских им был известен Плеханов, больше немцы — Лассаль, Бебель и Каутский. Их портреты выставлялись вместе с портретами деятелей национальной культуры Финляндии. И только здесь, в России, они узнали о Ленине.

— Ленин-то из каких? Рабочий?

— Говорят, не из рабочих. Но жил с ними и за рабочих крепко стоит.

— Еще бы! Если б за рабочих не стоял, так не ругали б его господа из Временного. На своих они не особенно лают.

— Русский ли? Фамилия на финскую похожа...

— Русский, говорят ..

Июльские дни семнадцатого года также не вызвали в Дубровке больших потрясений. В какой-то мере они сказались на настроении финских рабочих. Новое только начало было вырисовываться — еще не очень понятное, но чутье подсказывало: свое. Большевицкие газеты не приходили — были закрыты. Финны, владевшие русским языком, переводили нам сообщения реакционной прессы да статьи из соглашательских газет. Но разницы между ними не было: те и другие ругали Ленина, клеветали на большевиков. И вот это по-настоящему волновало нас. Рабочие немногословны, финские рабочие — в особенности. А в эти дни каждый старался сказать свое слово.

— Слыхал? Газеты пишут, что Ленина-то под бомбой в вагоне привезли. Пишут: шпион немецкий.

— Брехня! Какой он немец — русский!

— На суд, говорят, не пошел, опасается, стало быть.

— А когда же господа справедливо судили?! Засудят и невинного, а то и убьют.

— Говорят, он укрылся где-то.

— Вот и хорошо, что укрылся. Надежно бы только.

Не удалось буржуазным и реакционным газетам обмануть рабочих — ни русских, ни финнов. Классовым чутьем они улавливали, где правда, где ложь. Уже позднее мы узнали, что именно наши земляки-финны А. Шотман, Э. Рахья, Г. Ровио, Г. Ялава принимали непосредственное и самое деятельное участие в спасении Владимира Ильича Ленина. Впрочем, они были воспитанниками русского революционного движения.

Из Петрограда в Дубровку приезжали разного толка агитаторы, но только не большевистские. Речи всех выступающих переводились на финский язык, но разобраться в них было трудно.

Все ораторы признавали восьмичасовой рабочий день, профессиональные союзы, свободу слова, печати. Все выступали за мир, но, конечно, когда «будет обеспечена сохранность революционных завоеваний». Все говорили о необходимости передать землю крестьянам, но по закону, по решению Учредительного собрания, а не так, чтобы любой хапал сколько хочет. Каждый называл номер списка, за который мы должны голосовать при выборах в Учредительное собрание.

Разберись тут! И все же разобрались и поняли. И в Учредительное собрание дружно голосовали за большевистский список. В день выдачи бюллетеней агитация уже была запрещена, и финны, большие сторонники законности, не нарушали этих правил. Но все же малость хитрили. Потом, вспоминая выборы, говорили друг другу:

— Эх, и хитер Эрккила. Выдавая бюллетень, пальцем на номер нашей партии показывал... Нечаянно как бы...

— И мне тоже... Как будто я номера своей партии сам не знаю...

— Умный он человек, этот Эрккила. И осторожный тоже...

Великий Октябрь поразил нас смелостью действий революционного рабочего класса. Особенно поразил финнов, осторожных и расчетливых в те годы. Для многих людей Октябрьская революция была исторической неожиданностью, вызвавшей и восхищение и настороженность. Естественно, нас, финнов, волновал вопрос: что будет с нашей Суоми? Начавшееся триумфальное шествие Советов по всей России радовало и ободряло и порождало иллюзии, что теперь уже ничто и никто не может помешать Революции. «Ну кто же может осмелиться выступать против, если народ поднялся?»

Сведения из Финляндии поступали противоречивые. Одни успокаивали, другие вселяли чувство тревоги. Но в целом и там дела шли не так уж плохо. Когда в дни осенней всеобщей забастовки рабочие вышли на улицы городов с винтовками в руках, господа буржуи разбежались по своим норам. Да, народ — сила! И опять иллюзии: «Кто осмелится выступать против? Кто устоит?»

В течение лета и осенью 1917 года из Финляндии приезжали агитаторы. Одни, как Кальюнен, читали стихи. Понравилось. Хорошо читал, трогательно. Другие говорили о конституции, бог весть каким царем даренной Финляндии и каким похеренной. Стихи забывались, а о конституции говорили, стремясь уяснить себе, что это за штука такая и что в ней стоящего. Долго обсуждали, в итоге решили: больше самостоятельности Финляндии — это хорошо! А буржуазия как? Если опять ее власть, то не надо финнам такой конституции! Нам бы новую Финляндию, независимую, но в союзе с Россией, и чтоб все, как в России. Иначе съедят Финляндию. Верно решили, но только путей к этой цели не знали. Наша зрелость отставала от объективно сложившихся возможностей. Так было в самой Финляндии, а тем более у тех финнов, что работали тогда в Дубровке, на маленьком островке между революционной Россией и бурлящей Финляндией¹.

¹ Кто бы мог тогда представить, что пройдут годы и тихая Дубровка станет одним из самых кровавых «пяточков» на огромном советско-германском фронте и что она будет играть роль решающего фактора при прорыве вражеского окружения в направлении на станцию Мга?

Ежегодно, в первое воскресенье сентября, участники боев на Дубровском пяточке и многие ленинградские писатели выезжают туда, вспоминают павших и радуются встрече.

Многих им еще встреч, очень многих!

А развитие событий шло все быстрее. Советская власть укреплялась в одной губернии за другой, пришли в движение десятки народов и народностей, только что освобожденных революцией от царского гнета. В этом вихре событий на нас, финнов, особенно сильное впечатление произвели два государственных акта — провозглашение «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», выработанной В. И. Лениным, и признание Советом Народных Комиссаров независимости Финляндии. Эти документы ободрили нас и вместе с тем озадачили. Финляндия — независимая от России! Но не попадет ли она в зависимость от другой какой-нибудь капиталистической страны? Получат ли рабочие-финны те права, которые провозглашались Декларацией в России?

За все это нам еще предстоит бороться. В новом Рабочем доме, только что построенном, проходит первое собрание. Решается вопрос о создании Красной гвардии. В тот январский вечер и сложилась красногвардейская группа, которая потом, пополненная рабочими-финнами из Петрограда, получила название Второй роты Выборгского района.

Собрание торжественное, деловое и в чем-то трогательное. Присутствуют рабочие вместе с женами, взрослыми членами семей.

Вопрос один: создание Красной гвардии и незамедлительный выезд в Финляндию, где уже начались бои с белыми. Потом подаются письменные заявления, каждый по очереди становится лицом к залу. Из президиума спрашивают участников собрания:

— Знаете ли вы этого товарища? Доверяете ли ему дело защиты рабочих?

В большинстве случаев доброволец не успевал подойти к столу, как из зала ему кричали под всеобщее одобрение: «Знаем тебя, верим!»

На собрании присутствовало довольно много женщин, девочек. Просились в отряд и они. Может быть, финские женщины тогда не выдвинули из своих рядов выдающихся героинь. Были солдатами в строю, связистками или санитарками. Но они отдали революции все, что могли, сделали все, что умели. И нет на них вины за наше поражение.

Были и такие, кому собрание отказывало в доверии. Говорили откровенно, не кривя душой: «Хорошего от тебя видели мало. Поработай с нами еще, посмотрим...»,¹

Рекомендованные собранием добровольцы выстраивались в шеренгу вдоль стены, присутствующие подходили к ним, пожимали им руки, желали доброго пути и скорой встречи.

Через день выехали в Петроград. Выехали необученными, налегке — в демисезонных пальто, в шляпах, ботиночках. Может быть, внутренне и понимали, что к отъезду не все подготовили, но ободряли себя: «Человеческая жизнь так коротка, что не стоит и волноваться из-за такой мелочи».

Петроград провожал добровольцев не только холодом, но и первыми признаками наступающего голода. Однако для нас пока еще вдоволь нашлось миног, необычайно вкусной, теперь, к сожалению, редкой рыбы.

На Финляндском вокзале к нам присоединилась группа финнов, тоже рабочих и тоже красногвардейцев, сопровождаемая близкими и теми рабочими, что оставались в городе. На перрон пропускали только отъезжающих, и вскоре на площади перед вокзалом скопилось много народа. На той самой площади, где еще так недавно выступал В. И. Ленин с броневика. Он предсказывал тогда возникновение нового мира, новой России. Не прошло и года, а мир уже новый, и Россия стала свободной.

И вот на площади опять многолюдно. Кто же сюда пришел, просто любопытствующие? Не думаю. Все это наши доброжелатели. Они искренне желают нам успеха, слышны приветственные возгласы.

Было острее желание показаться перед народом с винтовкой, опоясанным пулеметными лентами, с гранатами на ремне. Но начальники сдерживали: «Незачем показываться. Втайне едем!»

Ах, эта тайна!

Впрочем, желание «охорашиваться» свойственно не только юношеству. Вскоре меня настиг такой потрясающий конфуз, что всю воинственность как ветром сдуло.

Получив винтовку, патроны к ней и гранаты, — тут в зале ожидания, их и раздавали, — я сразу, один за

другим, произвел два выстрела. И никак не мог понять причины. Подбежавшему ко мне командиру вначале бойко, а потом все путанее объяснял: «Все патроны я утопил туда, — и показал пальцем на магазинную коробку, — но туда, в патронник, их не засылал. Какая-то сука этот патрон туда всунула. Он и выстрелил. Только вот еще не разобрался, как там второй патрон оказался». Командир потрясенно взглянул на меня, схватился за голову. Я уловил только одно слово — «олух».

Командир был из петроградцев и, уж конечно, в военном деле разбирался.

Невежество мы, красногвардейцы, показывали истине потрясающее. Помню, как в пути на фронт на верхних полках классного вагона любовались мы незданной диковинной винтовкой. Удивлял прямоугольный металлический брусок на стволе. С рамкой, с хомутиком на ней и цифрами сбоку. Для чего бы эта штукавина? Успокоились на мысли, что, по крайней мере, к стрельбе прямого отношения не имеет...

По пути в Хельсинки мы охраняли эшелон с оружием, подарок финским рабочим, выделенный по личному распоряжению В. И. Ленина. Станцию Белоостров надо было незаметно проскочить ночью. Одним из неперемных предварительных условий перемирия и мира с Советской Россией немцы выставили требование не доставлять никакого оружия рабочим формированиям в Финляндии! И они могли иметь в Белоострове своих тайных наблюдателей. В случае обнаружения ими эшелона с оружием, в переговорах Советского правительства с Германией возникли бы новые осложнения.

Были и другие основания для нашего беспокойства за сохранность провозимого оружия. Отход белых на север страны еще не был закончен, и отдельные лыжные группы врага проникали к линии железной дороги. Первый эшелон с оружием, проследовавший по этому же маршруту немногим ранее, на перегоне перед Выборгом подвергся обстрелу. В перестрелке был ранен один из братьев Рахья — Иван. Были и еще потери. Это нас настораживало, но вообще настроение было бодрое. Еще бы, столько оружия везем, даже пушки есть!

Все обошлось благополучно. Видимо, нам помогли местные Советы и солдатские комитеты.

В пути мы много пели и шутили. Вошедшая в пого-

ворку молчаливость и угрюмость финнов — только внешняя оболочка их веселого нрава.

В Петрограде нам выдали папиросы, а раз выдали — надо курить! Девчата ворчали: «Господи! Дышать нечем!» Но ворчали несерьезно, больше для вида. Иногда ребята позволяли себе лишнее. Тогда в дело вмешивался дядя Эйно, добрейшей души человек. Обращаясь к девчатам, поучал:

— Дурочки вы еще. Молодые. Вам же на пользу — к жизни приучаем. Я свою Вильгельминовну так выездил... — и он ввертывал такое, что девчата, заткнув уши, вылетали из купе. Все знали, что его Вильгельминовна — женщина бездетная, крутого нрава и держала его, моего шефа по плотницкой профессии, в большой строгости. Здесь же он потому так и разыгрался, что не было над ним ее карающей десницы. Все знали это и в свою очередь подшучивали над ним:

— Уж скажем мы Вильгельминовне, какие пакости ты о ней рассказываешь.

— Я ж пошутил, — оправдывался дядя Эйно. — Неужели будете сплетничать?

Так, с песнями и шутками, в табачном дыму, за одни сутки докатили до Хельсинки.

Разместили нас в каком-то правительственном здании — сенат бывший или канцелярия генерал-губернатора. Просторные залы, кабинеты. Дорогие столы, стулья и... отчаянный холод.

Кормили умеренно. Не ожиреешь, да ведь и дел никаких — лежи и покуривай! Так прошло двое суток, но мы шутили: от лежания еще никто не умирал!

Начальники куда-то уходили, возвращались, посовещавшись, опять уходили.

Но вот, наконец, и команда: в поезд, на Тампере!

Тогдашний Тампере — небольшой городок. Мы заняли холодное здание школы. Начальники здесь, как и в Хельсинки, тоже забегали. И тоже совещались.

Кормили нас сносно в столовых и кафе города. И девушки, еще почти дети, нам пели:

Посади ярко-красные розы на моей могиле.
Они расцветут, как символ наших идей...

Красивая песня, но не боевая, скорее унылая. Потом подали лошадей, и мы, по пять-шесть человек в одних

санях, выехали на север, на фронт. Выехали необученными, без теплого обмундирования и — в стране прославленных лыжников — без единой пары лыж.

Теперь, спустя полвека, было бы безнадежно пытаться проследить наш путь на север Финляндии, а потом бегство к стенам Тампере. Но одно селение на северном берегу длинного извилистого водоема, берущего начало почти у окраин Тампере, — селение Карьюла — более или менее уверенно помню. Именно здесь намечали мы создать тот ударный кулак, который должен был захватить центр белого движения, город Ваасу. Да, Ваасу, не менее того!

Ехали сюда довольно долго. Весело ехали, с песнями. Да почему было не повеселиться! Мы глубоко верили в непобедимость дела рабочего класса, верили в наши силы. И еще бы! Народ поднялся!

Многого не знали мы тогда, многого не понимали.

А между тем финская буржуазия учла уроки двоевластия в России и уроки Великого Октября. Она не хотела никаких соглашений на демократической основе, никаких совместных решений с прогрессивными силами. Она готовилась к вооруженному разгрому рабочего движения и физическому истреблению наиболее активной части рабочего класса, готовилась энергично и деловито. На среднем севере страны, в городе Вааса, окруженном крестьянским населением, довольно зажиточным и реакционным, создавалась Вандея финского образца. Там имелась военная школа белых, создавались запасы оружия и боеприпасов, тайно доставляемых из Германии. Туда прибывали егеря, получившие военную подготовку в немецкой армии, из буржуазной молодежи формировались вооруженные отряды, основа белой армии.

В слабой тогда партии финского рабочего класса не было единства, и она не имела четко выработанной тактики. На чрезвычайном партийном съезде, созванном уже после осенней всеобщей забастовки 1917 года, накануне вооруженных схваток с реакцией, только некоторые делегаты — Юрье Сирола, Куллерво Маннер и некоторые другие — отставали революционный путь действий, в котором тоже многое еще было неясно. Правые же на съезде выдвинули возражения: все до-

стигнутое рабочим движением страны добыто испытанным путем парламентской борьбы, а не безответственными наскоками. Часть делегатов предложила изыскать пути примирения крайних течений в партии. На этом и остановились.

По-видимому, история возложила решение революционной задачи на плечи не подготовленной к этому политической партии и на класс рабочих, в течение десятилетий воспитанный в духе реформизма и христианской демократии. Чрезвычайный съезд, может быть, и не отражал подлинных устремлений всей партии и всего рабочего класса. Делегаты на съезд не избирались, а были приглашены по мандатам предыдущего съезда, состоявшегося до всеобщей забастовки, когда борьба еще не достигла высшего накала и смертельная опасность рабочим организациям была не так непосредственна, лишь едва вырисовывалась сквозь решетчатую завесу иллюзий.

Низовые же партийные организации более трезво оценивали обстановку в стране. Это они брали взаимное оружие у солдатских комитетов оставшихся в Финляндии русских гарнизонов в дни осенней всеобщей забастовки. Это тогда финские рабочие на свои скудные заработки по 100 марок за штуку покупали винтовки, доставляемые Иваном Рахья из Петрограда. Именно оружием они и отбили натиск буржуазии в те тревожные дни. Может быть, они переоценили первый успех, может быть, временное отступление врага приняли за его поражение. Представители Красной гвардии попытались склонить чрезвычайный партийный съезд на революционные решения. Но съезд не прислушался к их голосу, и попытка осталась безуспешной.

В дальнейшем и сами делегаты съезда не оставались на позициях его половинчатых решений. Одни сползли вправо, в лагерь реформизма, другие мужественно бились за жизнь и счастье своего класса. Погибли в этой борьбе или, как Отто Вильгельмович Куусинен, заслуженно вошли в историю мирового коммунистического движения. Всего этого мы не знали тогда и не понимали. Узнали потом, много позднее, из превосходного исследования Тууре Лехена «Война красных и белых», кажется, еще не переведенного на русский язык. Научил и жизненный опыт. Многое он дал,

но лишил нас права на поспешное обвинение прошлого, меня — особенно: мала была моя роль в этих событиях.

А тогда мы ехали на Ваасу с полной уверенностью, что разгромим этот центр белых. В селении Карьюла встретились с двумя ротами красногвардейцев из Турку. Все в полупальто из серого сукна и брюках из такого же добротного материала. В теплых шапках и новых валенках. Все как на подбор, молодец к молодцу. Вот это — Красная гвардия! Не то, что мы — сборище стариков, подростков и девочек.

Две роты из Турку да мы — вот и весь ударный кулак. Видно, нашим начальникам больше войск собрать не удалось. На саях мы двинулись на север. Проникли довольно далеко. Селение Карьюла от Тампере в нескольких десятках километров, а мы от него проехали еще через несколько сел и поселков — километров пятьдесят, наверное, не меньше. Были стычки с белыми, и бои были. Успех сопутствовал нам. Очевидно, направление удара было намечено верно. Сил только у нас было мало, сил и умения. Плохо, совершенно неправильно обученными оказались и красногвардейцы из Турку, и в наступлении и в оборонительном бою они вели огонь только залпами и делали это так: по команде вся рота враз выскакивала вперед и, дав залп в направлении противника, тут же ложилась в снег. Так и стреляли — только залпами, выскакивали из укрытий и ложились. Но нам и это показалось значительным достижением, и по мере возможности мы копировали их тактику.

Потом попали под удар белых. Потерпели неудачу и, преследуемые лыжниками врага, откатились до Карьюлы. И тут дали бой.

Наши занимали оборону на возвышенностях перед селом. Дальше — лес, и в нем белые. Оборону поддерживал взвод артиллерии из двух орудий, прибывший из Тампере за время нашей вылазки на север. Командовал им бывший офицер старой русской армии. Я был прикомандирован к артиллеристам от пехоты для связи с ними. Своих наблюдателей в стрелковых цепях артиллеристы не имели. Не было у них и телефонных аппаратов, и кабеля, но стрельбу они почему-то вели с закрытых позиций. И вот в этом я должен был им помогать.

— Беги, — говорят мне, — узнай, так ли стреляем?

Бегу, а расстояние немалое — километра два, должно быть. Спрашиваю пехотинцев:

— Так ли стреляют пушки? Велели узнать.

— Так! Поближе бы малость и правее...

Бегу назад и докладываю: «Поближе надо и правее». А тут новая команда — беги опять. Так и бегал я, пока не выдохся вконец. Потом мне дали коня. На лошади, мол, быстрее.

Конь был дряхлый, давно забыл он, что такое га-лоп и даже рысь. Шел он только шагом. После двух концов — к цепям пехоты и обратно — он и вовсе остановился, — из сил ли выбился или понял бесполезность этих хлопот. Стоит себе, и ни с места. А тут еще белые начали с фланга обстреливать, и я в великом страхе слетел с коня, стоящего неподвижно. «Прс-падай ты, негодный, совсем! Пусть тебя белые пристрелят, лодырь несчастный!»

На обратном пути к артиллеристам, которым нес наказ пехотинцев, чтоб стреляли малость подальше и чуть-чуть левее, в лощине встретил я моего коня. Не убили его белые. Должно быть обрадованный встречей, он кивал головой и нещадно бил хвостом по моим ушам и шее, пока я разбирал запутавшиеся поводья и карабкался на него. Обстреливаемый участок конь пробежал рысью и без понуканий. Не конь, а золото!

На батарее ко мне бросились пушки и стали осторожно снимать с седла.

— Куда попало? В голову? Ты весь в крови.

Ранения я не заметил и боли не чувствовал, но не возражал, когда меня, поддерживая с двух сторон, повели к врачу: для молодого бойца в ранении есть своя поэзия.

Но прелесть этой «поэзии» я ощутил сполна, когда выяснилось, что кровь на мне не своя, а с конского хвоста, пробитого пулей у самого основания. Еще долго на батарее при моем появлении поднимался хохот, даже девчонки ехидно улыбались. Я молчал, не обижался. Иначе совсем засмеяли бы.

В течение дня наша оборона держалась хорошо. Ночь прошла спокойно, но на рассвете положение резко ухудшилось. Офицер, командовавший пушками, перебежал к белым и унес артиллерийские прицель-панорамы. Потом поступили сведения, что на юге стра-

ны высадились немецкие войска, а Тампере окружают белые. Две роты из Турку — главная сила нашей обороны — снялись с позиции и на санях направились на юг, для обороны своего города. За ними двинулись и мы. Лыжники белых преследовали нас, двигаясь параллельно. Но мы все-таки оторвались от них. Однако в Тампере, окруженные с трех сторон, уже не попали, или вернее, проникли в него только частью сил. Другая часть, в которой был и я, обошла город с запада и по тылам белых пробралась к его южным окраинам. Вдали от нас шел бой за город. Стреляла артиллерия, судя по всему — белых. Они торопились. Взятием Тампере Маннергейм стремился укрепить личный престиж в своем лагере и престиж белогвардейщины — перед немцами.

Оборона окруженного Тампере целиком легла на плечи горожан: мужчин, женщин и даже детей. Серьезной помощи городу красное командование оказать не могло — не располагало необходимыми для этого силами. А тут возникла новая, еще более зловещая угроза — началось продвижение немецких войск с южного побережья страны. Город был обречен.

Плохо вооруженные, вовсе не обученные и разрозненные красногвардейские группы и роты оборонялись героически. Но такими силами они не могли остановить продвижения регулярных войск. Было желание бороться, и мужество росло в боях. Но не хватало умения, не было единого командования, и уже не оставалось времени, чтобы его организовать.

В дальнейшем, до второй половины апреля, проходили стычки и бои на восточном направлении, потом наступил конец. Рабочее правительство пало, но мы успели познать, что такое власть народа.

Все распалось. Остались обломки, трупы и мы, уставшие и опустошенные.

О том, как вели себя белые, не пишу. Общую оценку им дал Ромен Роллан: «Во все времена белые армии похожи одна на другую». Да, именно — во все времена! Белогвардейцы Маннергейма, расстрелявшие всех захваченных ими или добровольно сдавшихся солдат небольших и разрозненных русских гарнизонов на севере Финляндии, расстрелявшие тысячи красных финнов, и его же, Маннергейма, «сепаратные» войска в составе гитлеровской армии в районе Смоленска»

и под Тулой, — разве они не похожи друг на друга и все вместе — на войска Миллера и Колчака, на банды Семенова, Калмыкова, Булак-Балаховича?

Нет: адресую я слова упрека современным финнам — рабочим, крестьянам и интеллигенции Финляндии. Не они были организаторами этих злодеяний в прошлом, и верю — совсем иные в наши дни. Добра желаю им и успеха на путях мира и стронтельства своей страны по собственному разумению и по собственным планам. Пишу лишь потому, что в истории, как в песне, есть слова, которых не выкинешь, не исказив ее самой.

По обем сторонам полотна железной дороги продвигались мы в Белоострову, под защиту Советов. Тягостен уход из родной страны. Тысячами нитей ты был связан с ней, и вот они обрываются, оставляя боль в сердце. Ты не просто уходишь: бежишь ночью, тайком... А правильно ли твое решение? Так ли поступаешь, как подсказывает твоя совесть?

Да, трудно, очень трудно было уходить, и нередко в сторону уклонялись одиночки или небольшие группы, и потом только слышались быстро удаляющиеся шаги в заснеженном лесу. Вспышками рождалось чувство горечи и стыда, подавляемое надеждой, что уйдим не надолго, лишь для накапливания сил.

Особые оправдания себе строил я. Казалось, безупречные. И, наступая на собственную боль, победил ее или приглушил: «Что я? Я домой возвращаюсь. В Питер, на Пороховой, в Дубровку и мало ли еще куда. Может, еще вернусь вскорости? Может, я и в России нужен, русским рабочим?»

Через много лет, в 1929, наверное, году, я прочитал у генерала А. А. Брусилова: «Считаю долгом каждого гражданина не бросать своего народа и жить с ним, чего бы это ни стоило».

Никто так обнаженно не высказал мне этого тяжелого упрека. Чувствовал я, что в его словах правда, но всей ее глубины тогда не понимал. Вопрос этот, по-видимому, настолько сложный, что не решается столь прямолинейными суждениями.

По реке Сестре, там, где некогда проходила линия таможенных кордонов, отделявшая великое княжество

Финляндское от остальной империи, проходила государственная граница между Финляндией и страной Советов. Финскую территорию, прилегавшую к границе, захватила добровольческая бригада белых шведов, наступавшая с северо-востока на станцию Раямяки и к берегам Финского залива. Надо было пробиваться к границе. Сами мы не пробились бы. Раньше не было умения, теперь не хватало решимости и сил. Выручили русские братья. И, как доброе предзнаменование, мы разобрали название встретившегося нам русского бронепоезда. Белыми буквами на серой броне — ЛЕНИН.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА

Первые несколько месяцев беженцы из Финляндии, а таких было много тысяч, — более десяти, говорили, — устраивались и осваивали новую среду и новые социальные условия. Финские беженцы были из рабочих, и они не хотели оставаться нахлебниками. Да и не так уж много этого хлеба и было. Говорят — семья не без уroda. Что ж, в самом деле, в рабочей семье финских беженцев встречались люди, выбитые потрясениями из колеи, опустившие руки. Были, к сожалению, и агенты врага. Но не они определяли политическое лицо этой многотысячной здоровой пролетарской среды.

Одни, преимущественно люди старших возрастов и семейные, взялись за восстановление экономики и, как пишет М. М. Коронен в своем исследовании «Финские интернационалисты в борьбе за власть Советов», пустили в ход инструментальный завод «Войма» в Петрограде, литейный завод в Муроме, бумажную фабрику в Костроме, деревообрабатывающую — в Бую. Другие организовывали сельскохозяйственные коммуны и доставляли хлеб в голодающий Петроград.

И все же главной задачей не только дня, но ближайших двух-трех лет была вооруженная защита страны Советов, и финские красногвардейцы, для которых Россия стала новой родиной, выставили по крайней мере четыре стрелковых полка — 1-й, 3-й, 164(6)-й, 480-й и множество отдельных батальонов и отрядов.

Для меня этот путь начался со станции Белоостров. Помню медицинский осмотр, баню, питательный пункт. Из Белоострова — в Куликовские казармы возле Финляндского вокзала и после, когда они переполнились беженцами, — в казармы Семеновского гвардейского полка на Марсовом поле. Там тоже всем одинаково, и финнам, и русским — по фунту хлеба на день и со-

ленный огурец. Это все, чем располагала страна. Приглашали на первомайские торжества, первые в рабочем государстве.

Все это не забывалось и, напротив, превращалось в наше духовное оружие. Может быть, именно такое начало пути — дружеское и братское, равное ко всем отношение — превратило подавляющее большинство разношерстной человеческой массы беженцев из Финляндии в воинов революционной армии, тех, которых мы с чувством уважения именуем Красными финнами?

Заметных изменений как будто не происходило. Одни фронты отодвигались, появлялись другие, и это становилось привычным делом, не вызывавшим особых тревог. И все же изменения происходили. Жизнь из месяца в месяц становилась все сложнее, и первоначальное упрощенное ее понимание, свойственное юности революционной эпохи, начало давать трещины.

О трудностях и радостях мирного строительства мы, солдаты, и не мечтали. И где он еще, этот мир, которого, по сути дела, мое поколение толком и не видывало? Наши трудности были более непосредственные. Не хватало знания и умения для выполнения простейших солдатских задач. С завистью следили мы за бывальными солдатами русской армии и венграми, из бывших военнопленных. Ловко у них все получалось, быстро и даже изящно...

В школу хотелось и, по условиям времени, — военную, конечно. Знал я, что в Петрограде существовали финские командные курсы, призванные превратить рабочего парня в командира революционной армии. Приходилось и встречаться с выпускниками этих курсов — стройными, ловкими, собранными и — не без этого — покровительственно-насмешливыми.

— Спрашиваешь, как мы танки Юденича под Питером раздавливали? Это просто делается, если у кого мужества хватает. Почти как раздавливают живность в солдатской одежде. Так и мы эти танки — к ногтю...

И говорилось это тоном, не оставляющим ни малейшего сомнения, что уж у кого-кого, а у расказчика этого мужества было даже в избытке. Конечно, ничего тут плохого нет, если и прибавил малую долю. Не обязательно ж брать на веру все, что говорят. Бери столько, чтоб тебе в самый раз вышло, сколько требу...

ется, а остальное верни или побереги. Сам после расскажешь...

На вопрос, какие они, танки, ответ был тоже очень образный:

— Железные они и похожи на хлебный фургон. Только без колес. На ходу копят, как утюг, когда его для глаженья нагревают...

Сколько раз позже, в одних случаях с бурной радостью, в других с горем, убеждался, что в этом рассказе было много правды. Поутюжить танки могут, и как еще могут!

Открытие в Петрограде финских советских командных курсов сейчас, через десятилетия, требует пояснений, поскольку такая необходимость не ясна современным поколениям советских людей, а наши враги не раз высказывали по этому вопросу немало самой злейшей клеветы.

Финны, в числе других примерно сорока народностей и наций Российской империи, к военной службе не привлекались. Они не имели поэтому военно-обученных кадров и, кроме того, — не владели русским языком. В мою юность имущие классы Финляндии всячески избегали общения с русскими и дело доходило до того, что даже ученые-литературоведы изучали произведения русских классиков в переводах на западноевропейские языки, пренебрегая подлинниками.

Между тем, в рядах РККА действовали финские советские части и подразделения, и для подготовки командных кадров для этих частей в ноябре 1918 года в Петрограде были открыты 3-и финские советские командные курсы. Позволю себе привести выписку из приказа Всероссийского главного штаба от 14 ноября 1918 года:

«Для подготовки командного состава Рабочекрестьянской Красной Армии, распоряжением Военно-учебного управления открыть финские командные курсы в Петрограде».

Разъяснить это, думаю, не требуется.

Все военно-учебные заведения того времени использовались главным командованием как значительная ударная сила на самых угрожаемых участках многочисленных фронтов. В частности, для борьбы с полчищами Юденича военно-учебные заведения Петрограда

только в 1919 году выставили по крайней мере четыре курсантских формирования. Эти формирования получили настолько высокую оценку командования, что в приказах писалось:

«Советская республика обязана петроградским курсантам защитой своей красной столицы — это дело курсантов и их командного состава».

В другом приказе констатировалось:

«Если бы все действующие части Красной Армии могли бы гордиться таким составом своих формирований, война за мир была бы уже закончена».

Курсанты финских командных курсов не были исключением. В эти критические дни лета и осени 1919 года финские командные курсы выставили против войск Юденича две курсантские роты, после — батальон курсантов под командованием Щукина. В ноябре 1919 года против Юденича выступил весь состав курсов. В один из самых критических дней взвод финских курсантов бился врукопашную с танками Юденича. Об этой схватке Н. И. Подвойский, один из руководителей октябрьских боев 1917 года, писал в статье «Коммунары защищают Красный Петроград»:

«...Неслыханным героизмом отличались финские курсанты. Когда впервые на фронте появились белые танки, когда одно слово «танк» вызывало паническое отступление, финские курсанты бросались на танки в атаку. Под деревней Кошелево взвод финских курсантов захватил было танк в плен, но в это время подоспело еще два танка, и взвод почти весь был уничтожен».

Считаю своим долгом назвать фамилии героев, павших в этой схватке с танками Юденича, — настолько верно, насколько это удалось мне установить:

командир роты Коломийцев В., командир взвода Партанен А. и курсанты: Халандер А., Цилиус Ю., Талске Н., Тяхкя П., Каара Л., Лайрен Л., Покконен Н., Людер А., Палконен Э., Летоваара А., Вяйляйнен Ю., Хейкконен К., Пийк Р., Энглунд А., Пиенимяки С., Лемотайнен М., Икконен П., Нюрнберг Н. и Веняляйнен Л.

Из отдельной роты курсантов, 25 мая 1919 года выступившей в составе очередного курсантского формирования на Ямбольский участок фронта, на курсы вернулось менее 20 человек.

Доблестно, не жалея себя, в частях армии бились выпускники финских командных курсов. Так, например, в десантной операции на Любский Песок на западном берегу Онеги из 13 командиров в батальоне Николая Ивановича Баржановского (1-й батальон 6-го финского полка) с 6 по 14 ноября 1919 года пало десять.

Следующие командиры и курсанты были награждены именными часами от «ЦИК Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов»:

командир роты Иванов Н., командиры взводов Харанен Я. и Матикайнен Н., курсанты — Иваринен, Хонканен, Кюммяляйнен, Лехмус, Нурминен, Кокконен, Кирьяйнен, Богданов, Хуухтола, Лерме, Сейле, Форстрем, Пирайнен, Хельман, санитар Виртанен и санитарка Тойлайнен.

Несколько раньше на Олонецком участке фронта именными часами были награждены Покконен А., Устинен А., Левянен Т. и другие.

Эти бои происходили на первых ступенях к новому миру, когда рабочий человек, не воитель, а труженик, создатель нового, — вынужденно оставлял свое рабочее место, чтобы добровольно взяться за оружие.

Солдатами не рождаются, и долг был путь от немелких попыток одиночек, от упорства в бою мелких групп до массового героизма народа.

Боевой путь финских советских курсантов был частью этого славного пути.

И вот я сам прибыл на финские командные курсы. Был период лагерной учебы. Большинство курсантов и командиры находились в лагерях, в Усть-Ижоре. В казармах, на Первой Съездовской, я застал около полусотни курсантов, каких-то еще военных и человек тридцать таких же, как я, прибывших из частей армии.

Увиденное озадачило. Шум, крики и ругань, страшно накурено. Всюду газеты, помятые и порванные, на полу окурки. Возбуждение необычайное. Необузданная, буйствующая толпа.

Сколько хорошего слышал, и вдруг такая неразбериха. Не ошибся ли адресом? Но тут спорящие заметили меня, новичка, и набросились. Тащат за рукава и ответа требуют, резко и нетерпеливо:

Не имея поддержки среди организованной части финской эмиграции в России, руководство «оппозицией» опиралось главным образом на мелкие партийные группы, расположенные за городом или на его окраинах, на отсталых одиночек и, в целях ускорения террористического удара по руководству партии, теснее связалось с теми темными силами, которые, по словам Ф. Э. Дзержинского, «держали связь с финской белогвардейщиной, а для отвода глаз занимались контрабандой в нашу пользу».

После Ровио выступил Тойво Антикайнен. Он говорил взволнованно, прямо и чрезвычайно резко. Сразу стало ясно, что такого не напугаешь окриками и не подавишь чужой волей. Много раз, после уже, я встречался с Антикайненом, но первая встреча оставила неизгладимое и, может быть, наиболее верное представление об этом одаренном и сильном человеке. При всей своей многогранности Тойво Антикайнен прежде всего был бойцом политического фронта, массовиком в самом лучшем понимании слова, неустрашимым и пламенным пропагандистом бессмертных идей коммунизма.

Можно полагать, что те, на плечи которых выпала нелегкая задача — удовлетворять запросы многотысячной и разношерстной массы беженцев из Финляндии, не всегда находили лучшее решение, допускали отдельные ошибки и промахи. Такие ошибки, по-видимому, являются уделом тех, кто работает, руководит и решает. Только критикующим, отстранившимся от общих усилий такая опасность не грозит.

Революционная борьба пролетариата не бывает «чистой». Ее непременным спутником являются мелкобуржуазные элементы, с их большими и опасными слабостями. И такие элементы, — как учил Владимир Ильич Ленин, — «нельзя прогнать, нельзя уничтожить, с ними надо ужиться».

Финляндия не была исключением. Напротив, преобладавший в ней мелкобуржуазный уклад жизни не мог не дать революционному движению промышленных рабочих — вчерашних батраков и торппарей — сильнейшего мелкобуржуазного заряда, а времени для перевоспитания мелкобуржуазных элементов история сознательному рабочему движению Финляндии не оставила.

Вместе с горечью поражения и с появлением новых трудностей еще больше оживились шатания и разброд. Определенное значение имело и стремление финнов в СССР к национальной обособленности, оправдываемой языковым барьером. Но это стремление имело и свои отрицательные последствия. Небольшие национальные колонии, оторванные одна от другой тысячами километров, без единого и квалифицированного руководства, жили еще прошлым, тем, что история опровергла, и происходящее рассматривалось с позиций минувшего дня.

В такие периоды и в такой среде крикливая фраза и даже самый дикий вой находят приверженцев. Прямой агент врага Туоминен и Войтто Элоранта, человек с сомнительным прошлым, искали людей для совершения намеченного злодеяния и находили их. Показательно, что когда комиссар финских командных курсов Густав Ровио выступил с докладом о совершенном злодеянии перед небольшим коллективом финнов на станции Дибуны, ему, кроме доклада, пришлось еще семь раз взять слово, чтобы направить обсуждение вопроса по верному руслу. Этот небольшой коллектив на станции Дибуны и еще несколько таких же и были опорой «оппозиции убийц».

На Марсовом поле, при огромном стечении народа, были похоронены жертвы этого бандитского налета и тогда же, рядом с именами жертв Великой революции, на сером камне были высечены восемь финских фамилий: Э. Саволайнен, И. Рахья, И. Вийтасаари, В. Йокинен, К. Линквист, Ф. Кеттунен, И. Сайнио и Т. Хюрскюурта.

Давно это было. Прошло уже пятьдесят лет, но писать об этом надо. Проникновение вражеской агентуры в среду рабочего движения свойственно не только двадцатым годам и не пройденный уже этап. Нельзя считать исчезнувшей и мелкобуржуазную стихию в мировом рабочем движении.

Большинство курсантов участвовало в финляндской революции 1918 года. Но это были не подавленные неудачами люди, а воины, закалившиеся духовно и готовые к боевым действиям.

Финская рабочая молодежь 1918 года не была молодежью «второго сорта», но носила на себе отпечаток создавшей ее тихой полухристианской среды. Молодые финские рабочие уступали своим русским сверстникам в главном, решающем — в понимании роли организованности и дисциплины.

Прошло два года в Советской России, величественных, тяжелых и тревожных. Росло новое, и оно прорывалось в душу каждого советского человека. И финская рабочая молодежь в России охотно впитывала в себя это новое, узнавало в нем свое, ранее мерцавшее вдали, и росло вместе с этим новым. Молодежь 18—20 лет и составляла лучшую часть курсантов, наиболее энергичную, активную, жаждущую знаний.

Были и отцы семейств — зрелые, достойные люди. Но тут следы старого воспитания давали о себе знать — и работать с ними было куда труднее. Часть питомцев состояла из уроженцев Петрограда и ближайших к нему городов и сел. Тоже молодежь.

Дружбу и товарищество скрепляла общность судьбы и общность мечты, а многих и общая горечь поражений. Связывала и фронтовая дружба, а кое-кого и далекие детские годы, общие знакомые.

Еще в Хельсинки я знал Ялмари Кокко, видного спортсмена, постарше меня годами. Знакомство наше, правда, было почти односторонним. Тогда Кокко меня едва замечал. Он имел более представительное окружение. Я же всячески вертелся около него и стремился перенять все приемы и повадки своего кумира. Да, все, кроме ухаживания за девушками. Они вертелись около него, а на меня, молокососа, не обращали ни малейшего внимания.

Кокко и в школе считался сильным спортсменом, добрым товарищем. Теперь наше различие в годах как бы стерлось, а вместе с ним и его бывшее превосходство. Теперь я и сам «крылом пыль поднимал». Вспоминали, посмеивались.

...Мне рассказывали, как погиб Ялмари Кокко. Ра-
ценный, он был захвачен финнами и расстрелян. В мо-
мент казни он порвал рубаху и обнажил могучую грудь
с татуировкой названия финского рабочего спортивно-
го союза: «Бейте!»

Солдаты опустили винтовки. Кокко застрелил офи-
цер.

Может быть, это было не совсем так. Может, вовсе
не так. Но мне дорог этот рассказ, даже если он был
легендой.

В Хельсинки я видал еще, правда издали, Оскарн
Кумпу. Но больше тогда слышал о нем. Борец тяже-
лого веса, участник Олимпийских игр 1912 года. И вот
он — краса и гордость школы, в моем отделении! Мно-
го встречал я людей, все больше хороших. Добрее
Кумпу — никого. Лет тридцать, наверно, ему тогда
было, и вес для курсанта двадцатых годов чудовищ-
ный — под девяносто килограммов!

Зная его доброту и силу, мы нещадно эксплуатиро-
вали его на тяжелых работах. А в зимнее время, когда
уж очень холодно бывало, использовали Кумпу в роли
генератора тепла. Заманим сго в угол и кидаемся на
него всем взводом: «Братцы, не выпускать слона из
угла!» Повозится он с нами, сам согрется и, глядишь,
легко раскидав нас, вырвался. Ничего мы с ним поде-
лать не могли. Сила!

Кумпу сам был мягок и добр и не терпел, когда
обижали слабых. Как то Абель, тоже борец, но не та-
кого веса и уж совсем иного характера, довел курсанта
Пуллинена до слез, демонстрируя на нем свою силу
и технику, увлекся так, что и наши уговоры не подеи-
ствовали. Каким-то там «нельсоном» Кумпу уложил
Абеля. Потом поднял его за воротник, встряхнул хо-
рошенько и предупредил: «Если еще раз такое будет,
то я тебя так ударю об стенку, что придется твоим
родным тебя две недели ложкой со стены соскабли-
вать. Ты понял, милоч?» И «милоч» не забывался более.

Попробовал Кумпу свои силы в спорте и в те годы.
На любительскую арену тогда возвращались ученики
профессионала-феномена Ивана Поддубного, и где же
любителю справиться с ними? Выше второго-третьего
места Кумпу не поднимался. Может, и горевал Кум-
пу, но виду не показывал. Бывало, скажет: «Прошло
мое время», — и все.

Погиб он нелепо. Хороший пловец утонул в Олонке. Был среди курсантов и мой хороший старый знакомый — Гуннари Лунквист, финский швед. Высокий, стройный и на вид гордый. Словом, настоящий швед. Внутренне — добрый и верный друг. Погиб он в бою во время лыжного похода на Кимасозеро. Похоронили мы его в Барышнаволоке, и не его одного. Четырех курсантов мы там потеряли. Фамилию Лунквиста помню, а остальных — нет.

Над этой могилой с речью выступил наш командир Тойво Антикайнен, и мы торжественно обещали ее не забывать. Слово дали, и вот получилось, что забыли.

Теперь жизнь торопит, требует: выезжай немедленно! Найди могилу погибших товарищей. Положи на нее дикий камень. Придут потом люди — обелиск поставят. И фамилии остальных узнай! Могил много в стране, но не должно быть забытых и брошенных. Не должно быть, и — не будет!

В числе курсантов была девушка — Тойни Мякеля. Высокая, стройная и красивая. Замечательный товарищ и верный друг. Именно товарищ и друг в лучшем понимании. Жила она отдельно, за военным городком, училась в нашей группе. Внезапно исчезла. Теперь знаем: была на подпольной работе в нелегальной коммунистической партии Финляндии. Долгие годы провела в тюрьме. Много видела горя, но познала и радость борьбы. Было и личное счастье у нашей Тойни — товарища и подруги Тойво Антикайнена.

Располагалась наша школа необычайно просторно, в огромном здании бывшего Первого кадетского корпуса на Съездовской линии. В этом здании заседал один из первых съездов Советов новой России. В память об этом событии Кадетская линия была переименована в Съездовскую. Напротив школы, через Неву, виднелся памятник Петру Первому. Здание, в котором мы учились и жили, старинное, заложенное еще в петровские времена, было удобным — все под одной крышей: просторные жилые помещения, учебные классы, спортивные залы, санчасть, кухня, столовая, караульные помещения. Имелась даже баня с плавательным бассейном, маленьким и, по тому времени, разумеется, без воды. Здесь все было для занятий: просторный внутренний двор, величественный актовый зал с двумя

ярусами окон и с барельефами виднейших полководцев Российской империи между ними.

Тут же, на стенах, более скромно, краской, списки курсантов, павших в боях с войсками Юденича, и, уже после, когда мы за заготовку дров для города взяли, — фамилии лучших наших лесорубов, что-то вроде прообраза Доски почета.

Только учебные стрельбы на сто метров в зимнее время проводили в другом месте, но совсем недалеко.

На летнюю учебу выезжали вначале в Усть-Ижору, а после в Петергоф. В палатках не жили. Они стояли на территории лагеря только для учебных целей. В лагерях курсанты жили в настоящих виллах с балконами — против первых ворот в величественный Петергофский парк. Убежден, что ни одна другая военная школа не располагалась с таким комфортом.

Учебный процесс в школе был чрезвычайно сложным. Если по общеобразовательному уровню, в объеме четырех-шести классов, мы существенно не отличались от курсантов других пехотных школ, то в области русского языка наши познания равнялись почти нулю. Русский язык у нас не входил в число обязательных дисциплин. Изучали его по желанию. Не хочу в этой серьезной ошибке обвинять руководство, только ищу объяснение факту. И оно есть. Революционная эпоха выдвинула много великих, срочных проблем. Ближайшее будущее обещало так много и так властно торопило...

Только отдельные курсанты свободно владели русским языком, другие знали лишь сотню-другую слов. Большинство же языка не знали вовсе. Преподавание военных дисциплин проводилось с помощью переводчиков из числа самих курсантов. Переводчики более или менее знали два языка, но не знали финской военной терминологии. Дело доходило до курьезов. Так, предварительная уставная команда для изготовления к стрельбе — «по мишени» понималась и переводилась как «помещение». Так и командовали, под дождем и в снегопад: «Хуонесса!», что означало «В комнате».

Правда, слушатели старшего курса, кроме некоторых, понимали речь руководителя. Здесь роль переводчиков сводилась лишь к уточнению ответов. Но до старшего курса путь далекий. Целых два года! Среди

нас были и такие, как Эрнст Бек и Лунквист, которые не знали русского языка, плохо владели финским, а нужные записи вели на шведском. И хотя для многих учеба была тяжелым трудом, учились мы жадно. Все новое, узнанное, волновало и толкало на новые поиски.

Спорили, бывало, в казарме шумно и часто бестолково. Кто-то доказывал, к примеру, что человеческую речь будут передавать на расстояния без проводов. На большие расстояния, на сотни километров, по каким-то «волнам из ничего». Волны эти идут себе, и по ним слова. Ну надо же выдумать такое! Набросились мы на него, на выдумщика. Сдался, конечно. Потом и сам удивлялся, как мог поверить такой ереси: тысячи волн в минуту и слова с них сыплются. Комбат Гиммельман скажет пару слов, и с ними полдня побегаешь. А если тысяча в минуту...

Когда страсти очень уж разгорались, в спор вмешивался Кумпу и давал дельный совет:

— Изучите! Потом и петушитесь.

Но в науках и сам он был не силен.

Тяжело нам давались основы материалистического понимания мира. Старые представления рушились, и мы расставались с ними без сожаления. Но новое не всегда доходило до нас в правильном освещении. Некоторые положения марксистской философии воспринимались в массах довольно примитивно. А упрощенное, прямолинейное толкование запутывало, вызывало недоумения.

Полностью, например, отрицалась случайность. Все, — утверждали, — до мельчайших деталей, предрешиено и закономерно. Между тем отрицался и бог и вера в бога. Мы в него и в детстве не особенно веровали, а тут точно узнали: нету бога и не бывало!

Получалось непонятно. Раз все так заранее решено и измерено, значит, есть такая сила над людьми, которая этим занимается. Учитывает все и каждому положенное отделил. Пусть она богом ныне не именуется, а по-ученому как-то — необходимость или всеобщая связь, — какая же разница?

Впрочем, и старый бог не сдавался. Как-то я шел по Невскому и на углу Литейного встретил крестный ход, с иконами, хоругвями. Не хотел я снять пилотку, и получил такую оплеуху, что, падая, понял: может,

эта новая сила кое в чем и сильнее старого бога, но и он, видать, еще не дистрофик.

И много позже, вспоминается, встречались еще попытки даже сложные общественные процессы рассматривать и оценивать по формуле «да — нет».

Несмотря на все трудности обучения, выпускники нашей школы по объему приобретенных знаний не уступали окончившим другие военные школы такого ранга. Как ни парадоксально звучит такое утверждение, все же это несомненная истина. И объяснение простое: советская власть, партия и военное командование, включая и высшее, сделали все возможное для нашей успешной учебы.

На курсах, как потом и в школе, подобралось превосходное командование и знающий свое дело преподавательский состав. Первым начальником финских командных курсов и — после некоторого перерыва — начальником Интернациональной военной школы был Александр Инно, с образованием академии генерального штаба старой армии.

Финским отделением Петроградской пехотной школы командовал Измествев, в прошлом генерал-лейтенант старой армии, командир Сибирского стрелкового корпуса в первую мировую войну. Автор первого, наверное, учебника по тактике пехоты для военных школ Красной Армии.

Не все генералы старой армии с ходу и безоговорочно признали Советы. Может быть, колебался и Измествев. Ходили слухи о том, что свой учебник по тактике пехоты он написал в дни превентивной изоляции в Петропавловке. Достоверно знаю, что с этой крепостью он был знаком. Измествев покорял нас разумной требовательностью, знаниями и глубоким пониманием среды, ее нужд и стремлений. Плохо владея русским языком, мы не все понимали и не все знали об Измествеве, но любили его таким, каким он был. Особенно запомнился он нам, курсантам, в роли... переводчика. Нашу школу посетила большая группа делегатов Конгресса Коминтерна. Они приехали в Петроград из многих стран мира, говорили на разных языках, а переводчик был один — бывший генерал-лейтенант Измествев!

¹⁴¹ Мы не страдали излишней чувствительностью, но у многих показались слезы, когда Измествев, передавая школу новому начальнику, прощался с нами. Силь-

ный руководитель, хороший человек, немного загадочный и в то же время какой-то очень свой.

Измestьева заменил Е. С. Казанский. Старый вояка из унтер-офицеров пулеметной команды царской армии, видный командир в период интервенции и гражданской войны. Это был энергичный начальник, знающий, требовательный, несколько тяжеловатый. После Казанского, до конца моей учебы, опять был А. Инно.

Все они превосходно понимали требования армии и войны, стремясь одновременно понять задачи нашей школы и ее особенности. Многим обязаны им первые краскомы из красных финнов!

Гордостью школы был Михневич, генерал от инфантерии, профессор. Нелегким, по-видимому, был и его путь к Советам. Но он, патриот России, как и Измestьев, не имел выбора. Подлинную Россию представляли только Советы. Белые — уже не Россия. Белые — это интервенция и порабощение России ее могущественными «союзниками» на многие годы.

Вспоминается такой случай. Трамваи по городу ходили редко и нерегулярно. Михневич был уже стар, и ему стоило большого труда добираться на занятия, в особенности на утренние. Мы, курсанты старших курсов, попросили командование послать за ним по утрам лошадь. С какой радостью Михневич сказал однажды утром: «Советская власть подала мне экипаж».

Верил Михневич в военное будущее своей страны безгранично. На всю жизнь запомнились слова, сказанные им осенью 1920 года: «Мы бедны и разорены. Армия наша вооружена плохо. Малого достигла и наша военная наука. Но не за горами то время, когда наша армия будет вооружена лучше знаменитой французской. И военная наука достигнет такого расцвета, что вызовет страх у врагов наших. Меня уже не будет, но вы будете. И прошу не забывать тогда, что это сказал вам я, генерал от инфантерии, профессор Михневич».

Много лет спустя, когда в буре тяжелейшей войны наместились первые признаки перелома, я часто вспоминал эти слова Михневича. В них была пламенная вера патриота и предвидение ученого.

Вскоре, как-то один за другим, Михневич и Измestьев скончались. Похоронили их с высокими воинскими почестями,

Батальоном курсантов командовал Гиммельман. В прошлом, говорили, — подполковник старой армии. Это был исключительно выдержанный человек, никогда не повышавший голоса. Казалось, он мало и вмешивался в жизнь батальона, но все замечал и ничего не забывал. К курсантам обычно претензий не предъявлял, но заметив вялое или неправильное выполнение ими какого-либо приема, собирал нас, младших командиров, и так гонял полдня, что мы приобретали понимание предмета, правильные приемы да еще и желание все это передать курсантам. Вселить желание Гиммельман умел!

Слушать его и учиться у него было и приятно и нелегко. Многие десятки раз мы повторяли все один и тот же прием, пока наконец он, потирая руки и весело улыбаясь, не скажет:

— Ну, кажется, начинает получаться. Остановимся на этом.

По вечерам этот немолодой уже человек, полуголодный, часами сидел в казарме, добываясь усвоения всеми курсантами программы учебы. Никогда Гиммельман не допускал унижительных для человеческого достоинства «воспитательных мер».

Через многие годы, и опять в чрезвычайно тяжелых условиях, мне самому пришлось заниматься обучением курсантов. И сколько раз возникала мечта: «Гиммельмана бы нам, Гиммельмана!»

Из многих преподавателей помню еще двух. Артиллеристов готовил известный петрозаводчанам Ф. Ф. Машиаров. С нами, стрелками, занимался Иванов, кажется, капитан старой армии. Были и другие, конечно.

В обучении курсантов широко применялись наглядные пособия — всевозможные модели, макеты. Незаменимым помощником был мел. Схемы и чертежи использовались настолько умело, что это в какой-то мере компенсировало слабое знание языка. В памяти сохранился первый урок по фортификации. Так в те годы называлась отрасль науки, ныне несравненно более широкая и под новым названием: военно-инженерная подготовка. Преподаватель выставил табурет и дал задание: «Времени 15 минут. Нарисуйте этот предмет». По нашим рисункам он более или менее точно выявил подготовленность каждого курсанта в группе.

Слабое знание курсантами языка, недостаточное количество наглядных пособий требовали от преподавателей огромного труда и большой изобретательности.

Учебный процесс и вся жизнь школы опирались на широкую систему партийно-политической работы, на умелую организацию духовного воспитания курсантов. Во главе этого нелегкого дела стоял Густав Ровио. Он один из тех революционеров, которые, по велению партии и собственной совести, спасли В. И. Ленина от агентов Временного правительства и корниловцев, спасли в те тяжкие времена, когда такая преданность Ленину сулила одно преимущество — первую пулю врага. Ровио был комиссаром школы, и не мне — курсанту и рядовому коммунисту — выносить суждения о нем. Скажу только, что ему верили, относились с уважением. И он нам верил. В его лице мы имели старшего товарища и друга.

Кроме работы по воспитанию коллектива, в летнее время, в период лагерной учебы, делались попытки установить общение курсантов с населением окружающих сел, с которым нас связывала общность языка. Целью таких встреч была пропаганда среди крестьян советского общественного строя и антирелигиозная работа. Немногое, наверное, дали эти попытки.

Бедняки, за малым исключением, твердо стояли за Советы и не нуждались в нашей агитации. «Понимаем, товарищ курсант, власть — наша и хорошая власть! Нам бы теперь ситцу, гвоздей, мыла... Да хотя бы даже керосину», — обычно говорили они.

Зажиточные обрастали жиром. И как тут не богатеть! Трудности великого переломного времени опрокинули старые понятия о стоимости вещей. Несметные богатства столицы огромной империи, в особенности личные вещи и предметы быта дворянских семей и служивой интеллигенции, за бесценок расплозились по кулацким хуторам. Все за картошку, муку, за кусочек сала. Вещи надежнее денег, а времена меняются, — рассуждали кулаки.

За бальные туфли, узкие и замысловатые, явно не по ноге крестьянке, хозяин с видом благодетеля отवेशивает на безмене несколько фунтов картошки.

— Помогать нам теперь друг другу надо. Доброта меж людей — первое дело. Кто его знает, как еще повернется.

Такой выменяет и рояль концертный за пуд картошки. Потом похващается:

— Пианино покупают, дураки! Что в нем? А это — вещь! Ножки-то какие, а? Блеск какой! Распорю внутренности — и стол будет, да еще с ящиком.

Или зеркало тянет, большое, из дворцовых, видно. По высоте не умещается в кулацкой избе, и вот рубит он зеркало зубилом на две части. Неровно вышло, уголок откололся. Ничего, вещь-то господская!

Не поможет тут курсантское слово! Не повлняет на таких.

По воскресным дням посылали нас вести антирелигиозную работу. Кампания тогда антирелигиозная проводилась. Не знаю, насколько силен в этом деле был сам Ровио, но наши-то знания умещались в два слова: «опиум» и «долой». Много с такими знаниями не сделаешь! Я и не пытался. Обменяю сахарный паек на самосад и возвращаюсь в казарму.

— Не получается у меня. Не умею.

— Надо нападать. Самому нападать надо. Так легче.

— Напал бы я, но они первые налетают. Бабы и старушки всякие!

— Значит, не можешь?

— Не могу, товарищ комиссар.

— Ладно уж. Иди, посмотри, как остальные делают.

Может быть, другие работали более успешно...

Создание в нашей стране такой интернациональной школы, пожалуй, было первой попыткой. И несомненно удачной, несмотря на отдельные слабости и промахи. Как политический руководитель, Г. Ровио несет ответственность и за эти слабости и промахи. Но хотелось бы на его счет отнести и часть того хорошего, положительного, чем славилась школа. Не для баланса. По справедливости.

Курсантскими ротами и взводами командовали выпускники финских командных курсов, краткосрочного, до полугода, обучения, имевшие немалый боевой опыт и прошедшие, как правило, повторные курсы, иногда ошибочно именуемые высшей школой.

Наиболее ярким представителем этого нового поколения командных кадров школы был командир пулеметной роты Тойво Антикайнен.

Антикайнен командовал не нашей ротой, но к нам заходил, когда раз в неделю бывал дежурным в школе. Мы часто в свободные вечерние часы попарно или мелкими группами сидели — вначале из-за холода в казарме, а потом уже по привычке — на толстой трубе старинного водяного отопления и вели тихие задушевные беседы. Вспоминали тех, которых уже не было с нами, и тех, которые оставались вдали. Часто возникал вопрос — что будет с нами? Что ждет нас в жизни? Приходил Антикайнен, вступал в разговор, и как-то незаметно получалось так, что в дальнейшем уже он направлял его ход. Никаких особенных речей он не произносил и долго в роте не задерживался. Несколько слов всего и скажет, но именно такие слова, которые давали правильное направление ходу мыслей и даже поступков. После таких его посещений у курсантов появлялись дела. Пуллинен, например, направлялся в спортзал, к рапире, которой так великолепно владел. Другие садились за книги, учебники и уставы, а я шел к Пихканену, старшине нашей роты, свободно владевшему двумя языками:

— Помоги, Вильфрид, разобраться с этими тремя русскими буквами. Не получается у меня, не могу сам...

Антикайнен любил людей любовью верного, но сурового друга, и я не представляю себе обстоятельств, когда бы он из-за любви к другу не сказал бы ему самой суровой правды.

Однажды на общем собрании меня избрали контролером от курсантов по расходованию продовольственных пайков, крайне ограниченных. И тут, вскорости, из Канады прибыло свиное сало, купленное канадскими рабочими-финнами курсантам-финнам в России. Решения собрания, как распределить это сало, не было, и меня атаковали многие курсанты, как в нашей роте, так и во второй и пулеметной:

— Смотри, Топи! Мы тебя избрали, тебе доверили и сделай так, чтобы сало выдали только нам, финнам.

Правда, не все курсанты на этом настаивали, но многие, особенно более старшие по возрасту. Конечно, и мне хотелось получить как можно больший кусок этого сала и, следовательно, распределять его надо было возможно меньшему числу людей. Но чтобы только

курсантам-финнам выдать? Нет, так было бы неправильно!

— А как же остальные курсанты и командиры, обслуживающие?

— Не твоя забота, Топи. Финны нам, финнам, прислали на свои трудовые копейки... Смотри, не думай вилять...

Я обратился к Антикайнену, члену партийного бюро школы, который главным образом и занимался с нами, ротными организаторами:

— К завхозу вызывают, чтоб распределить это сало. Только я не знаю, как получится? Бузят ребята и некоторые требуют, чтобы только нам сало выдали.

— А ты как думаешь?

— Я? Чтоб всем курсантам и командирам. И обслуживающим тоже. Может и поменьше кому, но чтоб всем.

— Ну, правильно. Ты так и сказал ребятам?

— Нет пока. Возбужденные они. Не слушаются...

— Что, боязно? Тогда, может, я скажу?

— Нет, не надо, товарищ командир. Я сам.

Возвратившись в роту, я вечером так и сказал курсантам: решили сало выдать всем курсантам и командирам поровну, и немного обслуживающим. И я тоже так предлагал...

Никаких осложнений, конечно, не возникло. Общее мнение было такое: верно решили, всем!

Можно полагать, что уже первые шаги на трудовом пути обнажили перед Антикайненом несправедливость существовавшего общественного строя и простейшее деление людей на работающих и ничего не имеющих и на неработающих и владеющих всеми благами мира, — это давалось легко. Станок ученику, топор лесорубу и плуг батраку-подростку были орудием труда и средством познания мира. Но они не вывели и не могли вывести рабочую молодежь тех лет дальше первичного понимания разделения людей на бедных и богатых.

К пониманию сил, управляющих миром, Антикайнен пришел раньше других, опережая сверстников, вследствие его особой одаренности и жестокой требовательности к себе. Глубочайше убежден, что первые успешные шаги в этом направлении Тойво Антикайнен

сделал будучи курсантом финских командных курсов, в той особенно благоприятной среде.

Аналогичным, только своим путем, пришел в нашу роту ее командир Иоган Хейкконен, обладавший какой-то особенной мягкой требовательностью и тактом.

Достойными командирами были также помощник командира роты Иконен и командир нашего взвода Гренлунд. Остальных командиров в школе я, курсант, конечно, знал куда меньше.

Самое живое участие в нашем духовном созревании принимал Василеостровский райком партии Петрограда. Мы имели немало встреч с видными партийными и советскими работниками того времени, участвовали в партийных конференциях. Многие бывали на совещаниях партийного актива города. Мне, в частности, удалось присутствовать при обсуждении петроградскими большевиками двух платформ по вопросу о профсоюзах: предложений В. И. Ленина и особой платформы Троцкого. Ожидался приезд Ильича на собрание, и открытие его откладывали на час или на два. Потом объявили, что Ильич не приедет совсем. Собрание проходило без него. Речей не помню. Итоги голосования остались в памяти более или менее точно. Троцкий набрал около двух десятков голосов, предложения В. И. Ленина — около полутора тысяч.

Время от времени школу посещал Э. Рахья.

Несколько раз в школе выступал Юрье Сирола, в нашем понимании самый эрудированный из красных финнов в России. К нему отношение было особенное — бережное и трогательное. Ни к кому такого не было!

Восторженно курсанты принимали и с благодарностью провожали блистательного оратора А. Ф. Нуортева. Он поражал нас глубокими знаниями, пониманием курсантской среды и ее устремлений, редкостным остроумием. Приглашали часто и ждали О. В. Куусинена. Но в годы моей учебы он в школе не бывал.

В Петрограде было голодно. Трудно приходилось и нам, курсантам.

Часть хлебного пайка отчисляли голодающим. Им же «приварочное довольствие». На день оставалось 300 граммов хлеба и сахар. Соль — тоже: по три золотника. Прямо говоря — маловато еды.

Света по утрам в казарме обычно не было, и ротный раздатчик еще в сумерках оставлял на тумбочке два кусочка хлеба. Тебе и твоему соседу. Съедали мы свои кусочки еще в постели, не открывая глаз. Стало быть, хлеба и вовсе не видели! Оставался сахар, но сахар не еда — курево! Его меняли на табак на взаимовыгодных условиях, конечно. Раньше выдавался табак, но нарком Семашко нашел курение вредным и это убеждение внушил армейскому руководству. Выдачу табака отменили, и мы стали «курить» сахар. Ничего особенного не случилось: некурящие не ожирели и курящие заметно не похудели.

В общем, питались мы, по-видимому, в пределах норм санаторного «разгрузочного» дня, после которого отдыхающий, захлебываясь от бурной радости, сообщает лечащему врачу: «Два кило потерял, доктор, два!»

Впрочем, выпадали иной раз и хорошие дни. Помню один такой случай. Группу курсантов, человек двадцать из разных рот, командировали в Петергоф для подготовки лагеря к переезду слушателей школы. Меня — старшим. Выдали нам хлеб на десять суток и по паре селедок на брата. Предупредили меня: «Ты — командир да еще и парторг роты! Смотри, чтобы продукты правильно распределяли, на все дни чтоб».

Смотреть я смотрел, только глазами моих товарищей... Проездных документов нам не выписывали: школа пехотная — топайте. За городскими свалками, где сейчас чудесный уголок города — Автово, устроили первый привал. А привал без еды не бывает, и мы поели, покурили. Ничего, недурно! За Стрельной — снова привал. И опять ели. Еще и поужинали. В общем, денек выдался хороший. Нарушений никаких. А утром — неприятное открытие: хлеба осталось так мало, что не было ни малейшего смысла делить его на девять суток. Селедки вовсе исчезли. Решали мы, решали и сделали самое разумное — доели остатки тут же. Поработали день. Начали и второй, но в обеденное время работу бросили — сил не хватило. Лежим, спим, временами вспоминаем: «Бывают же хорошие дни!»

На третьи сутки подкатывает машина. Всканиваем. Не дай бог, если Гитлис, командующий! Ругать он не будет — других натравит. Скажет пару теплых слов

своему заместителю по учебным заведениям. Тот вызовет Инно и ему эти слова передаст. Да еще добавит самую малость. Так потом и пойдет — по ступенькам. Все понемножку добавляют, а образуется довольно тяжелая ноша. Внушением называется...

Но в машине оказались Ровно и врач. И не с пустыми руками приехали! Каким-то чудом узнав о нашей беде, привезли белые булки, масло сливочное и настоящий кофе, горячий, в термосе. Вот это праздник!

Ровно постарше нас годами, с несравненно большим жизненным опытом, умный и мягкий. Он не ругал, ничего не внушал. Пожалел, может быть, нас, болванов. Посоветовал только: «До утра лежите, спите. Утром привезут вам паек на оставшиеся шесть дней. Только уж вы... чтобы на каждый день...»

Обещать-то мы ему обещали. Но едва машина скрылась, у нас был готов коварный план: как только утром привезут паек на шесть дней, мы его тут же съедем. А тут, глядишь, и опять Ровно с булками будет тут как тут!

Но на этот раз сорвалось. Предупредил ли кто, или начальство само догадалось, но только перехитрило нас. Паек стали доставлять только на один день:

Надо сказать, что заботу о здоровье курсантов проявляло не только наше, «местное» начальство. Приказом РВС республики разрешался отпуск особо ослабевшим слушателям школы продолжительностью до двух месяцев. В отпуск уезжало до пяти процентов от общей численности курсантов. Ехали в Тюмень, Омск, Новосибирск. Армейский паек там был куда лучше. И состоятельные колонисты, преимущественно немцы и эстонцы, охотно нанимали отпускников на временные работы. Кормили и даже платили за работу. Не щедро, конечно, но как надо — в натуре, мукой и солью.

Летом двадцать первого в доходягу превратился и я. Дали отпуск, сухой паек, и я поехал в Омск. Путовой паек я тут же съел, еще до отхода поезда. Потом всю дорогу, трое суток, лежал на багажной полке и мечтал о еде. Но мечты мои не сбылись.

Ехал я в Сибирь за здоровьем, а приехал... на противохолерные уколы. В Омске свирепствовала холера,

Из города не выпускали, богатые колонисты в городе не показывались, движение по улицам ограничивалось.

Сыворотку вводили всем без милосердия. Поймает тебя на улице патруль — и на укол. А там все просто и молниеносно.

Скучно в холерном городе и питание умеренное. Для других, может, и достаточное, но мне мало. Нарушаю порядок и прохаживаюсь по городу, вспоминаю.

...Здесь я уже бывал. Жил тут беженцем под властью Колчака. Потом гнали его мы от Петропавловска до Оби. Рубеж Иртыша белые перешагнули, не оказывая сопротивления. Как будто и вовсе не было здесь столицы «верховного правителя». Колчаковцы взорвали только мост. Но не весь, лишь крайний восточный пролет одним концом упал в воду. Уж очень белые спешили — это мы их тогда поторапливали. Сам «верховный» мчался во главе первых эшелонов на Восток! Туда же, к восточным границам, удирали и белые чехи, и польские уланы, войска Пепеляева и Каппеля, послы и посланники, кадеты, эсеры и мелкие лавочники. Гнали их части и соединения 3-й и 5-й армий Советов. Поезда шли только на восток. Многие застреливали в пути. Эшелоны с беженцами стояли на перегонках без машинистов и кондукторов из-за аварий, поломок или потому, что более могущественные беглецы отбирали паровозы и топливо.

Дальше, за Новониколаевск, нынешний миллионный Новосибирск на Оби, — в те годы маленький и паршивенький городишко, — пошла только 5-я армия, а наша, 3-я, гарнизонами занимала города в Тобольской и Томской губерниях и в нынешнем Алтайском крае. Мне, правда, не довелось участвовать в этих походах. Нежданно-негаданно я очутился снова в Омске, точнее в его пригороде. Железнодорожная станция тогда стояла от города в пяти-шести километрах, и между ними проходила ветка. У станции был свой городок из нескольких десятков домиков — Атаманский Хутор. Здесь находился военный госпиталь, Благовещенский, и в нем — тифозный барак. Туда меня и положили, как сказали с сыпняком. Не то чтобы мне там особенно нравилось, но через полгода я побывал в этом бараке еще раз. Уже с брюшным тифом...

Я сразу узнал это место за рынком, почти напротив

бывшего губернаторского дома. Вот и гостиница, которую тогда занимал личный состав нашего венгерского кавдивизиона. Лошадей размещали в ближайших пристройках. А вот железнодорожный мост, неподалеку — банк, в нем мы несли караульную службу. Это был лучший караул в гарнизоне. Там вечером, по окончании рабочего дня, оставляли трех наших часовых, а разводящий не полагался. Закроют нас под замок, навешают на двери пломбы — и спи до утра! Чтобы этот караул проверить, надо было вызвать управляющего банком, бухгалтера и кассиров с образцами пломб. Дежурному по гарнизону не под силу поднять такую сложную систему. Не караул, а одно удовольствие!

От банка до деревянного моста и по левобережью Оби в день 1 Мая 1920 года мы, солдаты, посадили много сотен или даже тысяч кустов и саженцев. Политрук эскадрона Кауков объяснял и подбадривал:

— Теперь ежегодно праздник 1 Мая будет увеличиваться на один день. В этом году два дня. Три — в следующем и так далее.

С ним не спорили. Политрук — ему виднее. Ворчали только те, которым в ночь на 1 Мая пришлось быть в наряде.

— И всегда будем сажать такие кусты?

— Беспременно, всегда. Жизнь должна быть красивой, а разве она будет красивой без зелени? Вот и будем сажать.

— Разве я против? Но спать людям тоже надо. Один день, конечно, терпеть можно, но когда только одни праздники останутся и тебя ежедневно после караула будут гонять на посадку этих проклятых кустарников...

Кауков умолк. Возможно, и он не совсем четко уяснил порядок смены караулов при коммунизме?

Размечтался я, вспоминая эту прежнюю нашу службу в Омске, и не заметил, как ко мне подошли: «Документы». Поворачиваюсь: двое солдат с винтовками и командир. Однако документов в руки не берут и близко не подходят. Только командуют: «Иди». А сами следом. Недалеко увели, на ближайший медпункт. Там уж совсем просто:

— Поясной ремень сними и рубаху подними.

Не сопротивляюсь. Знаю — укол от холеры.

Из медпункта двинулся на окраину города. ~~Может~~ быть, там эти нуждающиеся в рабочей силе колонисты встретятся? Нет, не попались. Зато опять налетел на патруль, и тут же, конечно, укол. Школьное здание, в котором размещался этот медпункт, показалось мне знакомым. Вспомнил: я сюда приходил в полк Кальюнена.

Кальюнена я знал еще до революции. И в Дубровку он приезжал. Очень трогательно читал стихи. Но в 1920 году он стал другим, очень представительным и важным. «Сапоги мои, — говорил, — генеральские. Сам с генеральских ног снял. А перстень этот, — толстое золотое кольцо с малопонятным рисунком на большом пальце левой руки, — моя личная печать». Кальюнен намеревался сформировать кавалерийский полк из одних только финнов. Людей в его «полку» было мало, — сотня, наверное, мужчин и женщин, — но они продолжали прибывать.

Но разобраться в этом я не успел. Внезапно меня и еще десяток таких же занарядили сопровождать и охранять какую-то комиссию, изучающую запасы зерна, состояние складов, портовых сооружений и барж до верховьев Иртыша. Ездили мы довольно долго, больше месяца, наверное, и потом меня тем же путем вернули в тифозный барак на Атаманском Хуторе. Пока я бился в объятиях еще одного вида тифа, пока окреп и начал свободно ходить, из Омска исчезли и венгры и финны, в том числе и Кальюнен. Полка ему сформировать не удалось и, как потом выяснилось, — не имел он и полномочий для формирования полка. Венгры на Польский фронт поехали, а финнов раскидали по всей Сибири. Меня же, бесхозного, направили на пересыльный пункт.

Финны потом вернулись в Омск группами. Часть их, преследовавшая белых казаков из остатков войск Анненкова, через Славгород проникла до станицы не то Николаевская, не то Александровская и там была атакована белыми казаками, имевшими десятикратное превосходство в силах. Казаки легко помяли неустойчивую «местную роту» и с ходу захватили коней интернациональной группы. Но люди спаслись, организованно и энергично отбиваясь от наседающих казаков залповым огнем, от рубежа к рубежу, отошли к Славгороду. На выручку этой группы выступила кавалерийская

бригада имени Степки Разина, опрокинула белых казаков и основательно их потрепала.

Группа, конвоировавшая пленных офицеров Колчака в Среднюю Азию, до места назначения их не довела. С наступлением белополяков к русскому офицерству обратился генерал Брусилов, и большая часть пленных немедленно изъявила желание с оружием в руках выступить против внешнего врага. Таких тут же вернули в строй, а небольшие остатки «непримиримых» были сданы тюремной администрации в Оренбурге.

Наиболее важную задачу выполнила группа в 100 — 150 человек, разведавшая Иртыш до Оби, часть Оби пониже устья Иртыша и в обратном направлении по Оби и мелким рекам до Томска — нет ли на берегах этих рек белых банд? Такое было специальное задание особоуполномоченного Совнаркома по Сибири Шотмана, основанное на решении В. И. Ленина организовать перевозку зерна из Сибири речным путем в северные порты страны. Впрочем, об этом я узнал через многие десятки лет, в частности из материалов журнала «Север».

Гражданская война и интервенция довели страну до последней грани экономической разрухи, и борьба партии в эти годы за спасение людей от голодной смерти, в моем понимании, является одной из самых красивых и волнующих страниц в истории рабочего движения. Особоуполномоченный Шотман организовывал перевозку зерна к портам на Карском море, а рабочие и моряки Беломорья из обломков кораблей создали мореходный флот для перевозки его в Архангельск. Уголь для этой флотилии поднимали со дна моря, с кораблей, потопленных германскими подводными лодками в первую мировую войну.

На Иртыше и Оби, как и у берегов других рек в районе Томска, белых банд не оказалось. А. В. Шотман был крайне обрадован. В знак признательности он распорядился выдать всем участникам этой экспедиции новое обмундирование и даже новые сапоги. Немаловажное поощрение в те годы! Когда эти подарки особоуполномоченного вручались награжденным, среди них оказался и я, только что выписавшийся из госпиталя. И тоже получил сапоги и обмундирование, хотя в походе не участвовал.

Участники этой экспедиции рассказывали, что по долине Иртыша или Оби — точно уже не помню — им попадались селения, в которых все жители говорили на каком-то удивительном наречии — с большой примесью чисто финских слов...

...Все это я вспомнил, разгуливая по городу, с которым в прошлом меня связывало многое. Впрочем, ходить и размышлять надо было с осторожностью. Если попадешь к патрулям — не миновать очередного укола. Русский язык я знал слабо, но объяснить, что уже сегодня кололи, мог. Однако обычно, прежде чем я успевал что-либо произнести, дело уже было сделано. Оно и понятно: врачи торопились и фельдшера спешили. Где уж тут дожидаться окончания объяснений медлительного финна. Не в пользу, может быть, мне пошла бы эта поездка за здоровьем, но бывает и везение!

Однажды я стоял у входа в старый казачий ипподром и смотрел, как артисты поставленного тут же цирка-балагана живого человека в землю закапывали. В гробу, под похоронный марш и на целый час. Вдруг кто-то хлопнул меня по плечу. Оборачиваюсь — старый знакомый по Сибири, Август Андерсон.

— Что видишь, Топи? Если тут очередь занял, то ошибся ты. Покойников вон где принимают. Вон, посмотри, за городом, откуда дым. Видишь?

— Да не за тем я, Аку. Успею еще...

— По виду тебе бы в самый раз. Давно не ел?

— Не так чтобы...

— Понял. Пойдем — накормлю. А ты откуда взялся?

— Я сюда из Питера на поправку приехал. А тут остановился. Любопытно потому. Живого человека в землю...

— Узнаю земляка! Никто другой не поехал бы на поправку в холерный город, кроме истинного финна. Нету таких ослов во всем свете! А номер тот совсем не интересный. Печальный больше. Разве ты не видел, как люди плакали и молились! Горе у многих свое, горькое...

Мы пошли к Андерсону. Я шел чеканной курсантской поступью по 71 сантиметру, которую так основательно заучивали. Но Аку шел более широким шагом и мне приходилось то и дело менять ногу.

— Почему ты ходишь, как лошадь?

... — Как так?

— Подпрыгиваешь зачем?

— Я погу меняю, чтоб в ногу...

— На черта тебе и тут в ногу шагать! И вообще твой ход похож на испанский шаг для обученных лошадей в цирке.., а ты ж не конь. Иди, как люди идут. Бегать перестал?

— Уж редко когда...

— Жаль. Зачатки у тебя хорошие были.

Андерсон всегда был замечательным товарищем. По старшинству, правда, насмешлив и любил остроумные и не всегда безобидные шутки. Щедрый и все, что зарабатывал, расходовал на нас, менее приспособленных к жизни. Оказалось, сейчас он работал в Омске инструктором Всевобуча. В холостяцкой квартире у него было чисто, опрятно и много еды.

— Ешь, знай. Вечером еще принесу. Если живность завелась, то там, в коридоре, под столом уют и уголь в ведре. Техники не забыл?

— Как можно! Помню.

— На улицу не выходи! По нечаянности под брезент угодишь и тогда на погост. Ты самогонку пьешь?

Слово это я еще не знал, но догадался, что меня спрашивают о чем-то подобающем зрелым мужчинам, и поспешил с ответом:

— Очень люблю, Аку. Очень!

Андерсон вернулся к вечеру. Принес очередную порцию еды и поставил на стол бутылку с мутной, дурно пахнущей жидкостью:

— На, лакай! Я в питье удовольствия не нахожу, а такой гадости и терпеть не могу. Но раз охота — пей!

Пришлось признаться, что с таким зельем не знаком и не могу терпеть его дурного запаха.

— Так бы и сказал. Ладно, хозяйке отдам. Молодая она и красивая, а уже одинокая. Всякую гадость лакает и потом плачет. Тоже свое горе, наверное.

Так я жил у Андерсона до снятия карантина. На его харчах.

Обратный билет мне, как курсанту, в товарный вагон выписали. В те годы нас так и возили. Андерсон ухмылялся:

— Знает комендант, как телят возят...

Тем не менее перед отходом поезда он пошел к коменданту и принес мне пропуск в классный вагон, или

«штабной», как такие вагоны в те годы именовали.

— А курить у тебя есть?

— Нету, Аку. Да не беда, выдержу.

— Великомученик отыскался. На, копти.

Аку был Аку. Он успел не только достать пропуск, но и обменял свою нижнюю рубашу на самосад для меня.

Мы встречались еще не раз, до 1925 года. Август Андерсон, выходец из финского рабочего спортивного союза, скончался в 1970 году в Киеве заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером СССР.

В Петроград я вернулся покрепшим. «Вот что значит старый товарищ», — говорили мои друзья-курсанты. И добавляли шутливо: «А может, все дело в уколах? А, Топи?»

Да, трудности были немалые, но они преодолевались энергией и молодостью. Иногда и очень тяжело приходилось, но не хныкали, не считали себя великомучениками. И аскетами тоже не были. Нормальный молодежный коллектив своего времени. И учились, и спорт любили, и самодеятельностью увлекались.

На стрелковых соревнованиях гарнизона курсанты выступали всегда успешно. Правда, незамысловатыми были эти соревнования. Взводу надо было поразить все цели, выставленные по числу стрелков на дистанции сто метров. Все цели — это главное. Количество попаданий в каждую мишень тоже учитывалось. Но этот показатель считался дополнительным. Мы, бывало, лукавили на этом. Отличных стрелков равномерно расставляли среди остальных и давали им задание — по выстрелу в мишень соседа! Так уверенно и поражали все мишени. Это распределение стрелков в цепи, разумеется, было не нашим изобретением.

Был у нас и свой спортивный союз. Официально он назывался «Пуна тяхти» («Красная звезда»). По тяжелой атлетике и лыжам школа не имела конкурентов не только в гарнизоне, но во всей огромной Северо-Западной области. По остальным видам спорта мы были в середняках. Лучшими спортсменами школы считались О. Кумпу, Я. Кокко, Э. Кярня, Э. Тойкка. Тойкка же был и лучшим танцором. Артиллерист, а у них — шпоры! Хорошо ноги от пола отрывал и Пуллинен. Но этот — пехота, без шпор. Уже не тот класс!

Изредка учебные занятия в школе прерывались ради нужд израненного, бьющегося изо всех сил огромного города. А нужд было бесконечно много. Возможностей же почти никаких. Хлеб пока оставался только мечтой. Проблемой дня считалось топливо хлебопекарням, столовым, детским учреждениям. Для отопления квартир, общежитий, казарм кое-где разбирали старые деревянные дома, использовали ветхую мебель, а то и книги. «Буржуйкам» топлива много и не надо. И, оказывается, не обязательно их топить ежедневно...

Дрова в город доставляли в решетчатых барках. Обычно осенью, под ледостав. В барках, как говорили, экономно и удобнее: в пути потерь нет и через шлюзы проводить легче. Сама барка — тоже топливо.

Но доставка дров — дело трудоемкое, в особенности выгрузка. Поленья, пролежавшие в барке все лето, тяжелые и скользкие. Попадались и очень толстые. Черт такое поднимет и удержит в руках! А если и поднимешь, так еще бежать с ним надо ходкой рысью по мокрым доскам на берег и там укладывать ровными рядами. Упаришься! Нашему взводу повезло: Кумпу у нас был добряк и силач! Довольно бессовестно мы его эксплуатировали. Бывало, сделаешь вид, что не можешь поднять полена, а Кумпу тут как тут: «А ну, положи! Выбери себе под силу, а уж эти я подберу». Так потом и пошло. Все тяжелые поленья таскал один Кумпу.

Много было этих барок с дровами. Выгружали их на Васильевском, на Французской набережной, против памятника Петру Первому. Уставали изрядно и всегда мокли. Но и радость была: мы не только потребители, но и добытчики.

По окончании выгрузки городские власти обычно выдавали каждому курсанту по кусочку хлеба с повидлом. Небольшой кусочек, но приятно было сознавать, что твой труд отметили.

В каком-то году — двадцатом или годом позже — барок с лесом поступало мало. С таким запасом городу никак не перезимовать! Объявили, что горожанам следует самим заготавливать дрова в лесу.

На заготовку дров вышла и наша школа. Не особенно далеко, в сторону Лемболова, кажется. Выехавшим на эту работу курсантам выдали паек полностью — по 400 граммов хлеба на день, сахар, чай, табак. Норму растительного масла даже увеличили. В районе лесосе-

ки всех определили «на постой» по окружающим поседкам, и дело пошло. Курсантов разбили по три человека в бригаде. Дали одну пилу, топор и большую саперную лопату. Лопата для того, чтобы снимать кору с бревен нужного диаметра и длины. Здоровые бревна на дрова распиливать запрещалось.

Люди подобрались разные. Одним под тридцать лет и больше; эти имели опыт лесоруба и, конечно, оказались в одних тройках-бригадах. Свои бригады создавали и другие, более сильные курсанты. В отдельных бригадах оказались и мы, едва ли видевшие поперечную пилу и не имевшие даже малейшего представления о том, в какую сторону следует валить дерево, которое с таким усердием подпиливаем. Пилим и оглядываемся — как бы не придавило. Вернее, пилили двое, а один за деревом наблюдал и в нужную минуту подавал команду:

— Падает! Бежим, ребята!

Мы бросали пилу и — ходу, кто куда. Бывало, совсем рядом падало дерево. Но ничего, обходилось.

Пила у нас была тупая, а силенок немного. Потому и деревья нечасто падали. Стало быть, и опасность грозила лишь изредка. План мы не выполняли, но в одном были на высоте — в уборке лесорубочных отходов. Простое дело!

Таких бригад, как наша, насчитывалось много, и руководители приняли меры. Выделили правщика пил и еще одного инструктора-лесоруба.

— Дерево надо подрубить с одного боку, а с другого — пилить. Оно и упадет...

— А бежать в какую сторону?

— Бежать? Какого вам черта еще и бегать надо?

Освоили постепенно и заготовку дров, к работе привыкли. Задание выполнялось уже всеми бригадами. За счет выработки лучших школа шла с большим опережением плана. Но возникали новые трудности. Неимоверно росло количество лесорубочных отходов. Возиться с ними — мало радости!

Работали в лесу больше месяца. Фамилии лучших лесорубов вскоре появились на Доске почета. Своей я там не искал...

Тяжело и тревожно начался 1921 год — первый год перехода от войны к миру, во многом еще иллюзорному. Главные фронты исчезли, другие еще дымились, и с огромной силой обрушилось тяжелое наследие военных лет. Давил голод, продовольственный и топливный. Давила усталость от невероятных усилий.

Петроград бурлил. Одни искали выхода из тупика и верили в этот выход, почти в чудо. Другие, — а таких было немало в бывшей столице огромной империи, — организовывали внутренние затруднения и надеялись на международные осложнения.

Трудно было всем трудящимся. Трудно было и нам, курсантам.

Мы отдали городу все, чем располагали — часть скудного хлебного пайка, все «приварочное довольствие», выгружали дрова из барок для больниц и детских учреждений и понимали — все это мало, ничтожно мало. Но большего мы не имели и большего не умели.

К февралю положение в городе еще больше обострилось. Контрреволюция готовила удар. Но ни его направленности, ни силы, мы, курсанты, не знали.

На Большом проспекте Васильевского острова, вблизи табачной фабрики «Лаферм» и у Балтийского судостроительного завода агентам врага не раз удавалось собрать значительные толпы людей, большей частью горластых петроградских спекулянтов. Один за другим выступали эсеры и анархисты: «Склады завалены продовольствием и всяким добром. Комиссары для себя спасли. Брать это добро надо силой, ведь мы, трудящиеся, — хозяева страны»...

Встречались в этой массе и люди в одежде моряка, с широчайшими, почти до метра, штанинами. Но это были не те балтийцы, которые беззаветным служением революции покрыли себя неувядаемой славой. Те пали в боях за власть Советов, были мобилизованы в органы власти, партийные организации, РККА, ВЧК, милицию. Взамен их на корабли и форты пришли случайные люди, часто спасавшиеся от мобилизации в РККА номинальной службой на флоте. Проникали туда и агенты врага, в особенности эсеры, разного рода обломки «антоновщины». С гордостью, добрым чувством в адрес петроградских трудящихся могу заявить: ни разу аген-

там врага не удавалось спровоцировать столкновений между органами власти и трудящимися города!

Меры принимали и органы власти и войсковое командование. Ледокол «Ермак» по нескольку раз в сутки разламывал лед на Неве, мосты разводились на всю ночь и улицы города опутывались паутиной полевых телефонных линий.

Курсанты многочисленными колоннами, с оркестром и боевым снаряжением маршировали по улицам огромного города, чтобы духовно поддержать тех, которые нуждались в нашей поддержке и искали ее, и предупредить врагов: «Не балуй!» Близко к стенам домов в «буржуазных кварталах» — Невский проспект, Каменноостровский, Миллионная, Французская набережная и другие, — не подходили. Там, из верхних этажей, на наши головы нередко бросали кирпичи, утюги, ночные горшки...

Ночи в большей части проводили в здании Советов, партийных органов, банков и узлов связи, чтобы обеспечить их сохранность.

Много было дано нашей школе, и она ответила должным пониманием обстановки. Много в эти дни делал Густав Ровно, чтобы курсанты правильно понимали события. Много поработало партийное бюро школы, Тойво Антикайнен. Хватало забот и нам, ротным партийным организаторам, да и всем курсантам...

Да, наша школа не знала колебаний. Не знала она и равнодушных. Не раз возникал тревожный и тягостный вопрос: «Неужели врагам удастся спровоцировать столкновения между нами и этими массами людей, в среде которой были и обманутые, голодные и выбитые из колеи трудностями великого перелома?»

Возникали тихие и грустные беседы:

— На Большом опять много народу. Митингуют...

— Известно — спекулянты.

— И они тоже. Но не только... много очень женщин... голодные они и уставшие...

Хотя бы на фронт, какой ни есть захудалый!

Однажды ночью, в темноте — света в городе не было — подняли нас, десяток курсантов-коммунистов. В коридоре уже стояло столько же курсантов от второй роты — с винтовками, патронами, гранатами, лопатами,

словом, в полной боевой. Одного из них назначили старшим. Меня — заместителем. Приказ краткий и для исполнения ясный: «Бегом в восьмую пехотную».

Бежим по темному городу. Путь немалый — на петроградскую. Там нас уже ждали, и новый приказ — тоже ясный: «Бегом в артиллерийскую». Знаем: возле Финляндского. Тоже порядочное расстояние. Там нас ждал уже вовсе короткий приказ: «В теплушку, бегом!»

Заходим. Нары есть, света нет, печки нет. На полу — снег. Какой только идиот назвал этот холодильник теплушкой!

Тут же заскрипела задвижка. Видно, замок навесили. Перевозка войск под замком в те годы была не в диковинку. Никто не обижался. Ребята шутили:

— Замок, чтобы нас бабы не выкрали. Лютые стали. Им наплевать, что мы казенное имущество...

Поезд пошел сразу, но вскоре остановился в лесу, на перегоне. В теплушку вошел незнакомый военный с фонарем. По звездочке видно — политрук. Молодой еще и не очень-то языкастый.

— Насчет замка я, чтобы не обижались... Не от вас навешали. От несознательных элементов.

Улыбаются наши: «Валяй, валяй!»

Издали начал. Не миновал Ллойд Джорджа, коснулся Пилсудского и стал говорить о голоде. Видно, надолго это. Невежливо оборвали:

— Куда нас везете и для чего?

— Скажу в конце моей речи...

— Тогда, товарищ политрук, начинайте с конца!

— Можно и с конца. Речь потом доскажу. Один небольшой фортик забуянил. Не слушается. Надо его напугать нашими пушками...

— А флот как? Как крепость?

— Что флот? Что крепость? Там — порядок! Я ж вам толкую: фортик один. Самый ерундовый, малюсенький. Видимость одна...

— Почему же флот этот фортик не пугнул? Там и пушки не в пример нашим, и под боком!

— Я вам сказал, как у меня записано. А вы думайте, как хотите.

Ушел. Речь держать не стал и замка не навесил.

Думали мы, думали и решили: восстал флот и восстала крепость.

Учел господь бог наши пожелания. Уважил, нечего сказать! Но кто ж у него такого фронта просил?

Хлесткой руганью и едкой шуткой солдат глушит боль и горе. А мы были солдатами...

Выгрузились в лесу, на перегоне. Орудия, передки и зарядные ящики выкатили на руках. Кони сами смело выпрыгивали в снег — колея была узкой, вагончики низенькие.

Выступили колонной по узкому зимнику. Старые дивизионные пушки, по две тонны и более весом, глубоко утопали в снегу, по-февральски тяжелом и плотном. Вначале шли бодро. Ездовые горделиво сидели на конях. Остальные пушкарки тоже недурно устроились: уселись на передках, висели на орудиях. Мы, прикомандированные к ним, уныло плелись в хвосте колонны и откровенно завидовали: хорошая служба в артиллерии! Красивая и легкая... Не то, что наша...

Потом кони выбились из сил и остановились... Стоят себе, как спортивные «кони» в школе, и наплевать им на все наши планы и сроки. Дальше коней за поводья тянули ездовые. Орудийные расчеты и мы, прикомандированные, на себе тянули пушки, дышлом подталкивая коней. Ну и служба в артиллерии! То ли дело в пехоте!

Устали мы, шли из последних сил. И тут потрясающее открытие: не туда идем! Глубоко уже зашли на Лисий Нос, а надо совсем в другую сторону — на станцию Разлив.

Остановились, ругаемся. Неуважительно поминаем всевышнего. Ничего, конечно, не случилось. К утру пушки были на месте. Точно, как из пушки!

В 18.00 истек срок предъявленного мятежникам ультиматума, и в эту минуту наша батарея дала первый залп.

Артиллерийская дуэль началась.

Мы били осколочными снарядами по номерным фортам, с седьмого по четвертый. Враг не отвечал. Ему наши осколочные — укусы комара. Потом мы заменили снаряды, и уважение к нашей батарее возросло. По нас били уже корабли и форт «Тотлебен».

Огневые налеты следовали один за другим. Снаряды ложились густо, из многих десятков орудий. Тяжелые, 10—12-дюймовые только нервировали. Наши огневые

позиции были в ложине, недоступной дальнобойным пушкам фортов и кораблей, с отлогой траекторией полета снарядов. Только наше «хозяйство», прикомандированных, — «батареиный резерв» — находился в сфере огня противника. Непосредственно к пушкам мы отношения не имели, лишь бегали от батарейного резерва на огневую позицию со снарядами — и все. Простая работа, но не из легких, особенно под артиллерийским обстрелом. Еще мы должны были держать «вспомогательную точку наводки» — керосиновую лампу на подоконнике полуразрушенной дачи, за орудиями, в сфере огня противника. Тоже просто, но и мудро. Следи, чтобы лампа не погасла и не смещалась. Однажды у меня она вовсе вылетела из рук и неизвестно куда подевалась. Тут же, конечно, прибежали пушкарки. Но не ругались и претензий ко мне не предъявляли. Наверное, потому, что я выглядел тяжело раненным: все лицо мое было в крови. В действительности же я отделался испугом и небольшими царапинами. Взрывная волна вышибла оконную раму, за которой я сидел, и лицо поцарапало стеклом. Лампы так и не нашли.

В тяжелые минуты в защиту своей «направляющей» выступала вся артиллерия Сестрорецкого направления, включая гаубицы особой мощности. Били по номерным фортам. Корабли же должны были обстреливать артиллеристы Южной группы войск. «Тотлебен» оставался безнаказанным — далеко.

Враг, кроме других орудий, имел 42-линейные дальнобойные пушки, больше всего на «Тотлебене». Были еще прожекторы с ослепляющим светом. Прожектор и пушка действовали комплексно, как бы спаренные. За остановившимся лучом прожектора следовали снаряды. Мгновенно и точно.

В ходе боя все труднее становилось подносить снаряды на огневую позицию. Да и брать их было неоткуда. Огонь противника не давал возможности подвезти снаряды в район батарейного резерва, и приходилось подносить их на руках от самой узкоколейки, за полкилометра. Отрезал огонь противника и нашу походную кухню...

Тяжелой неудачей, — как нам тогда показалось, — закончилась изумительная по красоте и смелости атака курсантов, преимущественно 8-й пехотной школы, ближайших от берега фортов в ночь и утро 8 марта.

В полный рост и ровными цепями пошли курсанты в атаку. Мы следили за ними с глубоким волнением и страстно желали им успеха. Помочь огнем больше не могли: слишком мало было расстояние между атакующими курсантами и огневыми точками мятежников. Атака выдохлась. Не могли курсанты преодолеть кинжального огня множества пулеметов и пушек врага.

Говорили потом, что это была только разведка боем. Для солдата, впрочем, разведка боем — всегда бой! Долго еще, до 17 марта, на льду чернели трупы наших друзей, вызывая у нас чувство угнетающей горечи и жажду мести.

Походная кухня к нам прорваться не могла, а вот сани с подарками петроградских рабочих проскочили. Нам привезли карандаши, бумагу, конверты, иголки, нитки — все, что мог дать фронтовикам великий, измученный город. В конвертах записки с пожеланиями боевого успеха, многообещающее: «Приходи победителем! Найдешь меня на Лаферме. Маша я. Обогрею и приласкаю».

Милая и дорогая! Не ты ли в смутные дни вместе с другими дубасила нас кулачками на Большом проспекте и у ворот Судостроительного? Ты забыла это? Хорошо, если забыла. И я не помню. Но твоей записки не забуду. В ней ты вся, моя современница, боевая и озорная, добрая и ласковая.

Свет вражеских прожекторов ослабевал, а потом и вовсе погас. Говорили, что кончилось топливо. Но снаряды враг имел и настойчиво обстреливал наши позиции. Днем — в особенности. Ночью — стрельба по площадям, но это — семечки! Теперь у нас доставка снарядов и поднос их к орудиям проходили без особых помех. Появилась и долгожданная полевая кухня. Новая. Кони другие, новый ездовой и повар новый. О судьбе старой не спрашивали. Самы понимали, и не принято это...

Наступило 17 марта. Атаку мятежных фортов курсантами мы поддерживали огнем в темпе стрельбы первого часа боя. Это требовало от орудийного расчета большой ловкости и предельной быстроты, обычно проявляемой разве только хорошими вратарями хоккейной команды. За неполные три секунды надо

успеть вернуть орудие после отката, перезарядить, навести на цель и дать выстрел. Нужна еще исключительная выносливость. Люди падали от усталости, ловя воздух открытыми ртами, а стрельба все продолжалась тем же бешеным темпом.

Доставалось и нам, прикомандированным. В каждую минуту надо было подать к орудиям 130—140 снарядов, и это задача не из легких!

Враг упорно отстреливался. В его огневых налетах участвовала вся могущественная артиллерия кораблей и фортов. После того, как курсанты овладели седьмым, шестым и, в особенности, четвертым фортом и частью сил выступили в направлении острова Котлин, по мере продвижения к крепости и мятежным кораблям Южной группы войск, — огонь врага стал ослабевать. Сопротивление его было сломлено. Раздавались только отдельные залпы из дальнобойных орудий. Последним залпом был убит один из наших ребят, один из красных финнов — Хилтунен.

Нашу школу, одну из лучших частей в гарнизоне, держали в городе до последней возможности. Пешим порядком она выступила только в ночь на 17 марта и, наступая во втором эшелоне, созданном для развития успеха, в ночь на 18 марта вошла в форт «Тотлебен». Небольшая группа курсантов на лыжах несла патрульную службу между «Тотлебенем» и финским берегом. Командовал ими Тойво Антикайнен. Предупредить прорыв и бегство в Финляндию многотысячной массы мятежников эта группа, численностью менее десяти человек, конечно, не могла, и не такая была ее задача...

Через несколько дней нам, победителям, пел Ф. И. Шаляпин. В тот вечер песни Шаляпина меня не тронули. Слишком мало я понимал в искусстве, и, наверное, требовалось некоторое время для перестройки, чтобы после звуков артиллерийской канонады воспринимать высокохудожественные музыкальные произведения.

Осенью 1921 года белофинские захватчики еще раз вторглись в Советскую Карелию и, используя почти полное отсутствие на севере советских войск, вместе с карельскими кулаками, лавочниками, барышниками и пройдохами всех мастей, в свое время сбежавшими в Финляндию и там обученными приемам истребления людей, — сравнительно быстро захватили северную и часть волостей в средней Карелии. В южную Карелию захватчики не вторгались. Там рядом Петроград, советские войска — страшно.

Вторглись белофинны под флагом освободителей и, действительно, по мере сил «освобождали» карельские деревушки от жалких остатков скота, случайно сохранившегося, от беличьих шкур и редких золотых пятерок, укрытых старухами в их тайниках. «Освобождали» немало карел от самой жизни. Словом, бандиты наносили тяжелые раны и так многострадальной Карелии.

Термин «белофинское вторжение» правильно выражает сущность этой очередной авантюры, но едва ли исчерпывает ее полностью. Конечно, вторглись белые финны, осуществляя захватнические устремления не знающей меры финской буржуазии. Но за ее спиной стояли более могущественные силы, поощряющие, финансирующие и «гарантирующие от возмездия». Словом, еще один оживший обломок умирающей, но пока не мертвой «всеобщей интервенции».

Вторжение началось с проникновения вражеских лыжников к линии Мурманской железной дороги и уничтожения там моста через реку Ондю. Бандитский расстрел в это же время ругозерских коммунистов преследовал и другую цель — запугать население края и поставить карел на колени.

К декабрю 1921 года в Карелию прибыли достаточные силы Красной Армии, чтобы ликвидировать вражеское вторжение, но прибывшие войска не имели опыта боевых действий в лесистой местности, почти полностью лишенной дорог, не владели лыжами, не знали специфических особенностей малой войны, и продвижение их вперед было крайне медленным.

В этих условиях Карельский Военно-революционный комитет приступил к формированию добровольче-

ских лыжных отрядов из добровольцев финнов и карел для обеспечения флангов наступающих колонн и для действия в качестве передовых отрядов. Такие отряды, как правило, командными кадрами обеспечивала Интернациональная военная школа.

Наибольшую известность заслужил Добровольческий лыжный отряд северной колонны, часто именуемый батальоном Ниемеля. Известно, в частности, что шесть его командиров (из командиров и слушателей Интернациональной военной школы) — Ниемеля Калле, командир отряда, Вейсанен Иоган, Викстрем Альберт, Пеллен Альбин, Харвонен Лаури и Хельман Аксель были награждены орденами Красного Знамени. Три добровольца — Кирну Армас, Киннунен Август и Лааксо Аксель — именными часами.

Из Петрограда на Карельский участок фронта люди выезжали в глубокой тайне, но слухи доходили и до нас, рождая бурное желание померяться силами с белыми сейчас, когда мы знали, что превосходим их не только духовно, но и в боевой выучке. Но руководство молчало, и мы нервничали и поругивались:

— На черта нас держат?

— Тебя, милый мой, на племя оставили.

Пятого января, наконец, и мы поехали. Не все, правда, а около двухсот человек. И не на фронт, а как объясняли, для участия в зимних маневрах.

Командование, возможно, в какой-то мере знало о боевой задаче школы. Но разве оно скажет? Впрочем, и оно боевое задание получило только на станции Петрозаводск от командующего карельской группой войск А. И. Седякина. Нам, курсантам, командиры ничего не говорили, но мы вскорости ни в какой информации и не нуждались. Заработал солдатский телеграф, а какая тайна устоит против его силы?

— В каптерку первой роты привезли новые ватные брюки, телогрейки, валенки, полушубки — почти на всех курсантов...

— Во вторую роту мало дали...

— Пулеметчикам не всем привезли...

— Пушкарям всем...

— По числу обстрелянных выдают. Значит, на фронт...

— Раз новое все, значит — на фронт. Не выдаст интендант курсанту новых вещей в мирных

условиях. Умрет, но не выдаст. На парад разве только...

Наблюдения дали вообще-то совершенно верное представление о предстоящем выступлении: в Карелию, и не всей школой. Обстрелянные только и более сильные. Подробности нас не интересовали!

Командование имело свои заботы, но немало дел и у каждого курсанта. В походе много разного добра потребуется: ножик, или хотя бы знать, у кого из соседей в строю он есть, ремешки разные, шпагат, не очень малый и острый гвоздик, большая иголка и нитка крепкая, любого цвета. И мало ли еще надо иметь различного подручного материала!

Лыж и палок привозили много, но выбор был ограничен. Или очень толстые и тяжелые лыжи попадались, дубовые, заказанные царским командованием для малочисленных лыжных групп старой армии, или спортивные, длиной более трех метров, узкие, рассчитанные на движение толканием только руками по заранее проложенной прямой лыжне на ровной местности. Плохие были и палки. Бамбуковые, в оглоблю, или тоненькие сосновые с фанерными кругами.

Выбирали и чертыхались:

— Бери! Не на скоростной бег идешь...

— Вот именно, не на бег.

— Заменяю после. Заберем у кого...

К вечеру пятого января мы покидали Петроград. Не впервые на фронт выезжали, но обычно провожать нас было некому. Былая среда оставалась где-то вдали, и для большей части курсантов новые связи еще не сложились. Но на этот раз были и проводы, да еще какие! Перед отходом поезда по вагонам прошел Главнокомандующий вооруженными силами республики С. С. Каменев, бегло ознакомился с нашим вооружением и снаряжением и пожелал нам успеха.

Мы были рады такому вниманию и им гордились:

— Сам, понимаешь, главнокомандующий...

— Не на пустяковое дело посылают, раз сам проверял...

С. С. Каменев выделил нам и свой паровоз до Петрозаводска. Немаловажный показатель значимости нашего отряда.

В Петрозаводске к нашему поезду пришел Э. О. Гюллинг, председатель Карельской Трудовой

Коммуны и глава Революционного комитета, созданного для ликвидации вражеского вторжения и поднятых врагами мятежей. Ребята, знавшие Гюллинга лично или просто более смекалистые, подошли к нему и попросили спирту. Для лыж только, конечно. Гюллинг улыбнулся, — в лыжах он не менее нашего понимал, но спирт выдали. По бутылке на человека. Морока с этим спиртом в пути получилась. Молодые спирт видели впервые и его ценности не понимали. А более зрелые и опытные курсанты, как это ни странно, не умели хранить такое нужное им зелье и то и дело на привалах обращались:

— Может, нальешь малость? При падении пробка отскочила и все вылилось. Так неловко упал...

Конечно, приходилось выручать товарища, потерпевшего столь печальную утрату.

Лыжный рейд Интернациональной военной школы по сути дела начинался со станции Масельгская, и первый переход до селения Паданы, примерно 65—70 километров, был особенно тяжелым. Снег был наносный, плотный и скольжение никудышное. Да мы еще тащили станковые пулеметы на волокушах, передавая их из роты в роту. Тащить эти волокуши прямо-таки лошадиная работа! В поход мы еще не втянулись, снаряжение разумно подгонять не научились, и многие так устали, что в селе Паданы ночью стонали и спали плохо. Я в ту ночь бессонницей не страдал — меня назначили дежурным по гарнизону.

Говорили потом, что первый переход был умышленно осложнен для окончательного выявления слабых лыжников и для их отсева.

В дальнейшем мы продвинулись в селение Лазарево, и там, 10 января 1922 года, отряд разделили на две неравные части. Все руководство, медицинская служба, обоз образовали так называемую ругозерскую группу общей численностью 70—80 человек, которая прямого участия в рейде в дальнейшем не принимала.

136 курсантов, слушателей и командиров, вооруженные винтовками со штыком, шестью ручными пулеметами Мадсена и Шоша пошли в рейдирующий отряд под командованием командира пулеметной роты Тойво Антикайнена. После первых переходов в ругозерскую группу были возвращены еще несколько слабых лыж-

ников, и в дальнейшем численность отряда едва ли превышала 130 человек.

Отряд состоял из двух небольших стрелковых рот и пулеметного взвода под командованием курсанта Анттила, в дальнейшем генерал-майора Советской Армии. В составе взвода пулеметчики обычно не действовали и по-пулеметно были приданы в огневое усиление стрелковых взводов.

Командиром первой стрелковой роты был ее курсовой командир, питерский рабочий-мраморщик Иоган Хейкконен. Он же был и заместителем командира отряда. Второй ротой командовал Эрки Карьялайнен, командир этой роты в школе. По штатам того времени начальника штаба отряд не имел. Адъютантом командира был Симо Суси, из слушателей повторного курса.

Несколько отборных лыжников — Вуоринен, Кемпас, Кярня и, кажется, Тойкка были назначены связными командира отряда, а Пихканен и Киивяри — переводчиками. Слушатели повторного курса, как правило, становились в строй рядовыми. Обоза отряд не имел, не было ни врача, ни фельдшера. Все медицинские работники, как и хозяйственники, в один голос заявляли, что лыжами не владеют. Но выход был найден. Каждому курсанту выдали по два индивидуальных перевязочных пакета и еще сумку с медикаментами на роту. Но таскать ее было некому, и мы расправились с ней простейшим образом — медикаменты побросали и в сумке поочередно таскали топор, необходимейший инструмент в зимнем лесу. Вторая рота, как потом рассказывали, свою сумку сохранила.

Нагрузка на курсанта и на командира была предельной: винтовка, 120 патронов к ней и еще 20 для ручных пулеметов, по две гранаты, смена белья, ботинки, котелок и продовольствия на десять суток пути. Подойдет, бывало, курсант к своей ноше и наваливает на плечи в порядке пробы. Тут же и бросает.

— Нет, братцы! Осел нужен.

— Боже! Под такой маленькой выюк еще второй осел?

Острая речь, бичующая проявления слабости, применялась широко, и я думаю — поощрялась руководством.

Вспоминается, как курсант Пихканен, старшина нашей роты, идущий в конце колонны, от усталости свалился на ложню и подошедшим к нему курсантам с трудом выдал несколько слов:

— Идите, не задерживайтесь! Я больше не могу. Конец мне..

Недолго думая, ребята начали зарывать его в снег и укрывать хвоей.

— Хоть от лисиц пока. А там уж похоронят..

— Что вы делаете, ребята, зачем?

— Ты же умираешь, Вильфрид..

— Я умираю? — И, с трудом поднимаясь на ослабевшие ноги, он, самый культурный курсант в роте, только один играющий Шопена по нотам, — обложил нас увесистым старорежимным матом.

Больше он не отставал и прошел свой путь до конца, близкого, к сожалению.

Лиц, желающих справляться о дальности расстояний, считали слабаками и для них имели в запасе самые ядовитые ответы:

— Ну и устал же! Не знаешь — далеко ли еще?

— Знаю. Бывал тут. Лес тот видишь?

И тут же сильными рывками отрывается вперед. Отстающий с трудом догоняет и опять с вопросом:

— Ну скажи, сколько же осталось?

— Я ж тебе говорю — тот лес видишь?

— Ну, вижу. В том лесу, что ли?

— Почему в лесу? Я говорю — лес видишь? Лес тот километров на восемь. Там болото малость поболее будет, потом опять лес такой же, озеро потом и луг за ним. Ну, там уже мало и остается. Раза два камнем кинуть и остаток добежать..

После нескольких переходов у всех накопилось немало самых язвительных ответов, лишь бы кто-нибудь спросил о расстоянии. Но желающих больше не было.

В общем, отстающих мы не имели. Они и появляются в колоннах, за которыми следует транспорт. У нас же отставать было некуда.

Значительные трудности встретились во время преодоления Масельгского кряжа. Подъем был крутой, снег глубокий, пушистый и мягкий, а такой снег на крутом скате — штука коварная. Сползает! Ночь выдалась мрачная — темнота, снегопад, вьюга. И все же, на мой взгляд, в описаниях похода, в общем верных,

эти трудности преувеличены. Тяжесть подъема на перевал объяснялась усталостью от предыдущих переходов, вызывавшей как хлесткую брань, так и острые шутки.

Масельгский кряж мы бы с ходу взяли, если бы он возник перед нами хотя бы несколькими переходами позже, но такова солдатская судьба: все неприятности непременно возникают в самое неподходящее время. В поход толком еще не втянулись, изрядно устали днем, да и тяжелы были наши вещевые мешки. Позднее, когда их вес стал заметно уменьшаться, а ремни все туже затягиваться, начались разговоры о том, что не так уж тяжелы они и были. Сами ребята, мол, слабаки и недоноски.

Пенингу, небольшой хуторок, наша вторая рота захватила внезапно и почти без боя. Внешнюю охрану сняли, но один часовой успел поднять тревогу. Вспыхнула небольшая перестрелка, в ходе которой несколько белых было убито, в их числе начальник усиленного полевого караула, лейтенант финской армии. Один из наших курсантов получил небольшое ранение. Захваченных пленных отправили в обратном направлении через Масельгский кряж в тыл, выделив конвой из числа курсантов, слабее других подготовленных для дальнейшего похода.

В Пенинге отряд получил отдых, а потом направился прямо на Реболы. Шли лесами, и этот переход был действительно очень тяжелым. Сказывалось не только расстояние — около 70 километров, но главным образом обилие снега, доходившего до пояса. Но и это не все. Несмотря на сильный мороз, в лыжне появлялась вода, а в морозную погоду это уже бедствие! Пробивать лыжню в глубоком снегу тяжело, и головного приходилось менять очень часто; но и в колонне было нелегко: вода выступала и снег комками примерзал к лыжам. И головного охранения далеко не пошлешь — по такому снегу не оторваться ему от колонны!

Шли тяжело. Я уже несколько раз пробивал лыжню. И тут мы внезапно наткнулись на довольно длинный деревянный мост, а через него — санный путь. Это было неожиданностью. Укрывшись в кустах, мы дали знать колонне. Подошел Антикайнен с несколькими командирами. Стало ясно, что мы уклонились от нашего направления, но куда? Карты не было. Вернее, были

какие-то карты плоской съемки, без горизонталей, но что толку от таких карт в лесу? Один из курсантов раньше воевал в этих местах, и он узнал мост. Оказалось, что мы попали на дорогу в селение Чолка. До Ребол было далеко, люди устали, и Антикайнен приказал следовать в Чолку и оттуда, после небольшого отдыха, ночью напасть на Реболы.

К Реболам мы подошли ночью, с предельными предосторожностями. На протяжении нескольких километров не пользовались лыжными палками из-за их специфического поскрипывания. В село ворвались с разных сторон, осмотрели все дома и пристройки, но белых там не нашли. «Карельское правительство» проявило завидную подвижность: напуганное продвижением южной колонны наших войск, оно укатило в Финляндию.

После отдыха мы направились на Кимасозеро. От Ребол до Кимасозера расстояние порядочное. Переходов на этом участке было несколько.

Как уже говорилось, важнейшим условием успешных боевых действий наше командование считало внезапность нападения. Поэтому план операции держался в секрете. Головные дозоры маршрут знали только на один переход. До смены.

Чтобы противник не обнаружил отряд раньше времени, разведка на большие расстояния вперед не высылалась. В сторону же она выходила далеко. Проводник из пленных, если такой был, двигался не в головном дозоре, а за ним, метрах в 100—200 под охраной особо выделенного курсанта, имевшего строгий приказ: при малейшей попытке проводника предупредить врага, покончить с ним без шума и мгновенно. Впрочем, такие меры не понадобились. Все пленные добросовестно выполняли обязанности проводников и охотно рассказывали все, что знали о расположении, численности и планах врага.

Особой заботой в отряде был перехват разведывательных групп, связных и дозоров врага, его сторожевых застав и полевых караулов. Эти меры осуществлялись всегда точно и быстро, с четкостью исправного автомата. Любопытны признания врага по этому поводу. Илмаринен, именовавший себя «начальником лесных партизан», писал, что его разведывательные партии были захвачены лыжной ротой красных фин-

нов, следовавшей им навстречу. Поэтому в Кимасозере белые не располагали никакими данными о нависшей над ними опасности. Признание, достойное внимания! Он мог бы еще добавить: бесследно для белых «исчезли» две сторожевые заставы и большое число связных и дозорных.

И это в тылу врага, имевшего подавляющее превосходство в лыжниках!

Приведу один пример, показывающий, как такие перехваты осуществлялись.

Из селения Концеостров Антикайнен с одной только нашей ротой совершил разведывательную вылазку в сторону от основного направления — в поселок Роуккула. Там рота захватила разведгруппу врага, и выяснилось следующее: о захвате нами Концеострова враг не знает. О нашем подходе к Кимасозеру — также. Километрах в двадцати южнее Кимасозера по нашему маршруту на берегу небольшого озера находится сторожевая застава белых. В лесу, на небольшом удалении от Кимасозера, — финский лыжный батальон в составе нескольких сот человек. Точнее место расположения батальона и его назначения никто не знал.

Началась наша бешеная гонка на Кимасозеро. Нужно было использовать внезапность, достигнутую такими усилиями. Сторожевую заставу противника, которая, мы знали, встретится на нашем пути, было решено снять полностью и, как всегда, без шума! Ночью мы захватили двух связных врага, следовавших в гарнизон Концеострова. Пленные подтвердили: о захвате нами Концеострова враг не знает. У белых есть сторожевая застава на берегу озера, в ней около тридцати человек. Они считают, что до красных далеко! Охраняется сторожевая застава в ночное время патрулями. Днем — только часовой и подчасок. Солдаты сидят в бараке, обычно дуются в карты. Лыжный батальон белофиннов километрах в пятидесяти восточнее Кимасозера.

Дальше головной дозор вел я. В его составе были курсанты Пуллинен, Пихялисто и еще один из пулеметной роты. За нами шел под охраной захваченный вражеский связной. Второй из пленных следовал в голове колонны. Мы имели точный и четкий приказ: встречающихся связных врага перехватывать без выст-

рела. По достижении озера установить наблюдение за сторожевой заставой. Себя не обнаруживать!

Стояла лунная ночь. Мороз был умеренный и скольжение такое, что, кажется, лыжи сами хода просят. Полная тишина нарушалась только легким шуршащим лыж и ровным, в такт, поскрипыванием лыжных палок.

Мы увлеклись скоростью и не сразу заметили, что цепочка связи с колонной оборвалась. Тут же и пленный предупредил, что до озера не больше километра. Остановились и замаскировались в кустах. Пошарили в мешочках — ничего съедобного! По-видимому, еще на большом привале все прикончили. Покурить бы, но понимали — нельзя. Табачный запах быстро распространяется в зимнем лесу.

Внезапно со стороны озера показался лыжник. Шел он прямо на нас по еле заметному следу связных, захваченных нами ночью. По одежде — серому полупальто с белой повязкой на рукаве, серым брюкам и белой папахе — поняли: финн. Карел так добротню не одевали. Решили подпустить его вплотную, но тут же заметили с десяток лыжников, лениво плетущихся один за другим. Положение обострилось. Любый выстрел поднимет сторожевую заставу, а она, в свою очередь, гарнизон на Кимасе. А тогда утеряно главное наше преимущество — внезапность. И кто знает, как потом может сложиться судьба отряда? Многочисленный белофинский лыжный батальон в ближайшем лесу — не мелочь.

Решение принимаем быстро.

— Ребята! Вы куда? — Не окриком, конечно, «подружески».

— Мы... Мы на разведку в Концеостров. Сведений оттуда нет...

— Хорошо, что встретились. Как раз попались бы. Красных там видимо-невидимо...

— Вы кто такие? — спрашивают финские солдаты.

— Мы? Бежим из Концеострова. Колонна за нами. Мы — охранение. Садитесь. Пока и курить можно. При капитане не курите. Злой очень. Запрещает в лесу курить.

Поверили. Выручили знание языка, белые халаты и одинаковое вооружение. Может быть, еще и выдержка.

Подошел отряд, и обезоруживание противника не вызвало осложнений. Пленные подтвердили: впереди сторожевая застава врага — человек тридцать. Часовой один у входа в барак. Со стороны Кимасозера зимник. По нему связь с начальством.

Вперед вышла другая, более сильная группа курсантов. Она обошла озеро лесом и в тылу сторожевой заставы противника вышла на зимник. По нему, в колонне, на сторожевую заставу. Одного курсанта оставили с часовым и вошли в барак. Белых оттуда выставили. Без оружия, конечно, и на штанах и кальсонах срезали все пуговицы и крючки. Так и на конвой напасть не смогут и лишней резвости не покажут. Справедливости ради надо признать — это было не наше изобретение. Так рекомендовали поступать еще уставы старой русской армии.

Итак, путь на Кимасозеро открыт!

Тот же Илмаринен писал потом, что красные имели точные данные о положении дел в Кимасозере, раз осмелились так дерзко напасть.

Не возражаю. И имели и осмелились!

Кимасозеро решено было атаковать, используя предрассветный полумрак, а светлое время — для отражения контратаки, если бы белые попытались вернуть село. По предварительной намстке, — а она давалась перед каждым боем, — нашей роте следовало атаковать село в прямом направлении и захватить его центр, где располагались главные силы врага, а второй роте обойти его слева и двигаться в противоположный конец, одновременно перерезая пути отхода. Но это — предварительный план, а окончательный после личной рекогносцировки командира.

Незамеченными подошли мы к селу и начали сосредоточиваться в предбоевые порядки — в линию взводных колонн. Но полностью подготовиться к атаке не удалось. Безобидный трезвон церковных колоколов, приглашавший верующих на раннее богослужение, мы ошибочно приняли за сигнал тревоги и, чтобы выиграть время, по команде Антикайнена бросились в атаку.

Мне не повезло. В качестве направляющего во взводе я бросился в атаку, но в полумраке угодил на снежный вал, в виде козырька висевший над береговым обрывом, и с довольно большой высоты полетел

на лед, почти под ноги белому часовому. Одна лыжа оторвалась и ушла далеко вперед. Ушибов не получил, снег был глубокий и мягкий, но положение оказалось не из приятных. Впрочем, в затруднение попал и белый часовой. Шутка ли: под звон колоколов сверху летит человек в белом халате, да еще так образно выражается по-фински. И он заколебался. То поднимет винтовку и прицелится, то опустит. Пока мы переругивались и я на одной лыже подбирался к нему, с тыла подоспел один из наших курсантов и снял часового.

Атака удалась, белые не только не успели организовать сопротивление, но многие из них были захвачены в одном белье. Гарнизон занимал несколько домов. Выстрелы из них все же раздавались, возникали небольшие перестрелки, и вторая рота, хотя и заняла другой конец села, все же не успела надежно перерезать всех путей отхода. Часть беляков сбежала, в том числе и один из их главарей — Исонтало.

Задание РВС было выполнено. Белые потеряли полевой штаб, склады боеприпасов, госпиталь, а главное — наш удар произвел настолько деморализующее воздействие на противника, что он стал спешно отводить свои войска по всей линии фронта. Захватив пленных и освободив нескольких бойцов нашей армии, попавших к белым и ожидавших смерти, мы направились обратно в Концеостров, имея значительный обоз, отбитый у врага.

По овладении Кимасозером наш отряд превратили в передовой отряд южной колонны, и мы действовали самостоятельно в трех — пяти переходах впереди авангардных частей колонны.

В селении Барышनावолок внезапно, к концу дня, наскочили на довольно хорошо организованную оборону противника и понесли первые потери. Четыре курсанта: Копала Генрих, Мойсио Вяйнё, Неволайнен Армас и Лунквист Гуннари — были убиты и несколько человек ранено.

Совершив сравнительно глубокую разведывательную вылазку в селение Келловаара, в дальнейшем отряд проследовал в направлении Вокनावолок — Войница.

С Костомукшей у меня связано неприятное воспоминание. Но из песни слова не выкинешь. Расскажу и об этом. В яркую лунную ночь мы подошли к посел-

ку из нескольких домиков. Лунный свет хорошо освещал противоположный берег небольшого озера и одинокий дом, сиротливо стоящий на том берегу. Нам предстояло пересечь это озеро и следовать дальше на север, в направлении Костомукши, и мне со взводом поручили разведать тот берег — нет ли там вражеских сил? Отряд в это время располагался на малый привал за домами и пристройками на нашем берегу озера.

Перейдя озеро, я оставил взвод на дороге и сам с двумя курсантами вошел в дом. Первая комната была нежилая, холодная, на полу местами следы снега. Эту комнату мы осматривать не стали. Что в ней может быть интересного! Вторая комната была просторная и теплая. В ней накурено. Горела маленькая коптилка. На полу множество окурков финских папирос, еще влажных, и тряпки со следами чистки ружейных стволов. Мы пересчитали тряпки с нагаром — около пятидесяти. Картина стала более или менее ясной: были финны. Карелы папирос не имели и курили махорку или самосад. По числу тряпок решили, что было тут около полусотни солдат и недавно, полчаса или час, как ушли. В подполье нашли женщину средних лет, хозяйку дома, как она говорила. На вопросы она отвечала невразумительно, да и что она, по-нашему, вообще могла знать, напуганная до одури? Долго мы с ней не разговаривали, но вообще она подтвердила уже известное нам: да, финны были, да, около полусотни, недавно ушли.

Так я и доложил Антикайнену.

Местность считалась разведанной, и отряд выступил без головного походного охранения. Когда голова колонны достигла разведанного мной дома, ее встретили залпами из полусотни винтовок. Враг бил почти в упор с расстояния 25—30 метров. Очевидно, белые нервничали, трусили, и, может быть, им в какой-то степени мешал и слепящий лунный свет, падавший в глаза. Били они поверх наших голов, и отряду удалось без потерь вернуться обратно. В хвосте колонны плелся и я. Слышу голоса: «Удачно выпугались, благополучно».

Признаться, я никакого благополучия не ощущал и, не ожидая вызова, подошел к Антикайнену. Тут же стояли Хейкконен, Суси и другие командиры.

Трудно было мне стоять перед разгневанным Антикайненом. Очень трудно. Вопросы били и все более безжалостно обнажали всю несостоятельность моих действий:

— Берег ты разведал?

— Я.

— Ушли финны? Полчаса или час как ушли?

— Я думал...

— Не думать тебя туда послали, а разведать! Ты домик обошел, до опушки леса дошел? Берег озера осмотрел?

Ничего я этого не сделал и потому стоял молча, опустив голову, мечтая провалиться сквозь землю. Ну, вот и заключение:

— Пойдешь снова. Один разведаешь, раз со взводом этого сделать не сумел. Ты понял?

Еще бы не понять! Пулей пересек я озеро и с гранатой в руке, без кольца и с отодвинутой чекой, — так в плен не захватят, — ворвался опять в этот дом. Тут сразу все и прояснилось. Из первой, нежилой комнаты была еще одна дверь во двор. Дальше широкая тропа к ограде и по ее внутренней стороне более полусотни стрелковых ячеек. И около каждой из них лежало по нескольку стреляных гильз. Значит, я подвел отряд под огонь сильной, заранее подготовленной засады белых. Счастье, что солдаты господина Илмаринена, изучая тактику войны в лесах, усвоили и привычки лесных обитателей — зайцев. Попадись белые к нам в таких условиях, никто бы из них не ушел.

На этот раз белых, кажется, в самом деле не было. Исчезла и хозяйка дома. Но я с докладом не топтался. Осмотрел берег. Может быть, там есть другие, запасные окопы? Дошел до опушки леса и там нашел то, что искал — свежий след большой группы лыжников на север, в сторону Костомукши. Значит, белые действительно ушли. Возвращаться еще раз на обратный берег озера мне не понадобилось. Мой взвод ожидал меня на дороге, возле дома за оградой. Его появление не было для меня полной неожиданностью. Мы все знали: Антикайнен накажет за ошибки и промахи, но на гибель не пошлет и из беды выручит.

Мое участие в лыжном походе Антикайнена закончилось в селе Вокнаволок.

В бою за Барышнаволок я получил легкое ранение. Его даже ранением назвать трудно — задела пуля мягкую ткань ноги. Перевязав ногу, я продолжал поход, слегка прихрамывая. В ходе рейда, — а переходов опять было порядочно, — повязка сползла. В рану попала грязь, началось воспаление, и в Вокнаволоке я свалился. Село пустовало. Население угнали в Финляндию. Другие, участники белого вторжения, сбежали туда сами. Наши выступили на север, и белые тоже в село не заглядывали. Словом, во всем селе я остался один. По нашим расчетам, до Ухты был один хороший переход, и оттуда обещали выслать врача и сани. Но тут начались бои за Аянлахти и Войницу, и, конечно, было не до меня. Вообще эвакуация раненых в ходе такого рейда представляет почти невыполнимую задачу.

На четвертые сутки меня подобрал идущий по нашему следу авангард южной колонны.

Интернациональная военная школа в карельских событиях 1921—1922 годов участвовала несколькими группами или отрядами лыжников, и все они доблестно выполнили свой воинский долг. Наибольшего успеха добился главный из них, выполнявший особое задание Верховного командования — лыжный отряд под командованием Тойво Антикайнена, и руководство чрезвычайно высоко оценило заслуги этого отряда. 12 командиров и 14 курсантов было награждено орденами Красного Знамени, и школа, в числе первых трехсот частей и соединений РККА, стала Краснознаменной. Этот орден до наших дней украшает боевое знамя Ленинградского дважды Краснознаменного высшего общевойскового училища имени С. М. Кирова, прямого наследника финских командных курсов. Вторым орденом училище награждено за оборону Ленинграда в неизмеримо более трагическом 1941 году.

Около 70 командиров и курсантов было награждено часами. Но к какому из лыжных отрядов принадлежали награжденные, с полной достоверностью сказать сейчас уже невозможно, поскольку именные списки отрядов не сохранились. Наиболее полный, но все же не окончательный и в известной мере приближенный список лыжников отряда Антикайнена приводится

в сборнике под редакцией Е. С. Гардина «На Кимас-озере».

Боевой успех лыжного отряда Антикайнена был обусловлен рядом предпосылок.

Отряд состоял из лучшей части курсантов, отобранных из более чем четырехсот лиц списочного состава, по добровольному желанию. Не допускалось ни малейшее принуждение или проявление пренебрежения к тем, которые заявляли о своей неподготовленности к большим лыжным переходам, которые, — как нам объявляли, — отряду предстояло совершить в ходе зимних маневров войск округа.

Больше того — в Паданах, Лазареве и еще раз в поселке Пеннинга из отряда отчислялись все, чья физическая подготовленность или умение владеть лыжами вызвали сомнение. И это было правильно! В лыжном рейде по тылам врага одного желанья мало. Нужна еще и сила.

Так сложился отряд, в котором почти все курсанты и командиры имели одинаковую физическую подготовку и равные боевые возможности.

Большое значение имело духовное единство коллектива. Может быть, это единство и было еще одним проявлением той высокой девятой волны, которая в свое время воодушевила наши народы на борьбу против бесконечно более сильных врагов, и в дальнейшем, в ходе тяжелейших сражений, превратилась в массовый героизм, постоянное свойство советских людей. Может быть, и тогда ничего другого не оставалось...

На этой внутренней спаянности и духовной зрелости покоилась строжайшая воинская дисциплина, немаловажный источник силы отряда. Все приказанья и распоряжения выполнялись мгновенно и самым лучшим и действенным образом. Соблюдение военной тайны было строгим. Маршрут движения, например, объявлялся только главному походному охранению, но не дальше очередного привала.

Разумеется, и самый тщательный отбор людей еще не создает боевого коллектива. Сплачивание людей в коллектив, воинский в особенности, дело командира, его умения и такта. И мы такого командира имели. Им был Тойво Антикайнен. Не следует, конечно, забывать исключительной роли в отряде Йогана Хейкконе-

на, командира 1-й роты курсантов и заместителя командира лыжного отряда, с его тактом, мягкой и непреклонной требовательностью и боевым опытом. Но все же прежде всего Антикайнен.

Наверное, у всех, лично близко знавших этого многогранного и сильного человека, сложился свой собственный его образ. Есть такой образ Антикайнена и у меня. Основа его — образ Антикайнена на трибуне в тягостное утро 1 сентября 1920 года. Постепенно этот образ обогащался новыми сторонами, не вытеснившими первого — боец политического фронта своей эпохи, массовик в самом верном и лучшем понимании.

Антикайнен — выходец из среды рабочей молодежи Финляндии и выросший в борьбе за власть Советов — нуждался в постоянном общении с массами, оно было для него внутренней потребностью. Формы этого общения были самые разнообразные, и нередко — неожиданные.

Так, например, можно было увидеть Антикайнена, командира роты курсантов, ходившего на руках вместе с курсантами на плацу во время перекура или весело кувыркающегося вместе с ними. И кто бы угадал в такие минуты в этом невысоком белообрисом пареньке с мальчишескими веснушками того строгого ротного командира, которым он только что был, или неутомимого партийного вожака?

Многие в отряде давно знали Антикайнена. Были такие, которые вместе с ним окончили советские финские командные курсы в конце апреля 1919 года и в тот же день вместе с ним выехали на Олонецкий участок фронта, куда Антикайнена направили командиром взвода пулеметной команды 1-го финского советского стрелкового полка.

Были курсанты и командиры, вместе с Антикайненом служившие в 164-м финском коммунистическом и 6-м финском стрелковом полках, вместе с ним и под его руководством обороняли Петрозаводск летом 1919 года и осенью того же года участвовали в десантной операции в Заонежье. Многие, под руководством Матсена и Антикайнена, к концу лета 1920 года дошли до рубежей Ухты, Юшкозера, Санансалми, освобождая страну.

И Антикайнен хорошо знал нас, курсантов — и каждого, и способности отряда в целом. Умел поднять лю-

дей, казалось бы, на невозможное, когда в этом возникла необходимость. Его требовательность, непреклонная и часто суровая, не вызывала жалоб или недовольства, напротив — встречала глубокое понимание.

Он знал, что мы не избалованы теплым жильем, питанием и удобствами; знал, что мы понимаем: раз в отряде нет врача, фельдшера или хотя бы санитара, нет никакого обоза — то не будет ни стертых ног, ни серьезных обморожений, никто не отстанет от колонны из-за поломки лыж или лыжных палок.

Скорость движения колебалась в пределах 6—7 километров в час, хотя мы были способны и на большие скорости. Там, где на лыжне появлялась вода, скорость падала намного ниже. Дневные переходы были разные. Короткие, по 25—40 километров, но были и семидесятикилометровые. Дневки нерегулярно и разной продолжительности, от одних до трех суток, по обстоятельствам.

Какая бы ни была погода, скольжение или состояние снежного покрова, никогда не случалось, чтобы намеченный переход не выполнялся. Если такая опасность возникала, погрешности в темпе движения компенсировались увеличением числа ходовых часов. Прием простой и действенный!

Бывало, в ходе движения внезапно меняли головное походное охранение. Это означало, что либо оно выдохлось, пробивая лыжню, и потеряло скорость, либо Антикайнен, в целях сохранения тайны, резко менял направление движения. В таком случае смена головного охранения тоже стала необходимостью. Высланное ранее походное охранение не знало нового направления.

Антикайнен не был физически особенно сильным человеком, и он нередко уставал. Но мы, курсанты, об этом догадывались только по его шагу в лыжне. Лыжня все покажет! Еще и потому, что в такие вечера не Антикайнен, а Хейкконен или адъютант командира Суси проверяли расположение курсантов на отдыхе. Уже после Хейкконен писал, что хотя Антикайнен иногда и уставал, но никакая усталость не могла заставить его отказаться от участия в разведывательных вылазках. Помню и я, как Антикайнен шел с нашей только ротой из Барышнаволока в поселок Часовая Гора, всего туда и обратно 80—90 километров.

Из сказанного не следует, что Антикайнен только и рвался в бой и всегда шел во главе лыжного отряда. Он стремился наилучшим образом выполнить приказ Революционного военного Совета Республики и, конечно, был впереди нас духовно, знаниями и волей. Но он командовал лыжным отрядом, а не его походным охранением, и не он прокладывал лыжню.

Тойво Антикайнен был именно таким командиром, в котором мы нуждались, — требовательным начальником и добрым и суровым другом. И мы, кажется, заслужили такого командира.

Помню себя перед гневным Антикайненом после моей неудачной разведки в походе. Трудно мне было тогда, тяжело и стыдно. Но это — одна сторона. Помню и другую. Площадь Восстания в Ленинграде. Рука Антикайнена на моем плече:

— Рад, что ты уцелел, что вижу тебя в строю. Приеду к тебе, поговорим.

Не помню уже, что именно он обещал мне рассказать — что-то важное или просто интересное? Встреча была внезапной, короткой, и совсем мало было тогда сказано слов. Но это были слова все того же старого, доброго и сурового друга. И Антикайнен одержал обещание, приехал, но — я был в отъезде, и мы разминулись. И больше нам не суждено было встретиться.

Осенью сорок первого в Горьком, в госпитале, я узнал о гибели Антикайнена. Время было суровое. Может быть, самое трагическое в нашем нелегком прошлом. Враг еще не знал больших поражений, и мы не ощущали радостного вкуса больших побед. Враг пробивался к Москве и стоял под Тулой.

Потери были огромные, и люди уже боялись почтальона. Что он сегодня принесет? Жив ли близкий тебе человек, муж, сын, брат или сестра, или уже похоронные в конверте? В такое время отдельные потери переносились легче. Много было потерь. Слишком много, и мы, с болью, начали привыкать к ним...

Тогда же, 4 октября, ушел из жизни и наш командир, глава красных финнов в 1918—1920 годах — Тойво Антикайнен. Хорошо о нем, боевом руководителе финских коммунистов своей эпохи, написал Тууре Лехен, лучше других на протяжении многих лет знавший

Антикайнена: «Железная, негибаемая воля, спаянная с мягкой человеческой нежностью».

Кратко и верно. Лучше не скажешь.

Последняя моя встреча, уже не с Антикайненом, а с его записями, его духовным миром, состоялась не так давно. Тойни Мякеля, мой товарищ курсантских лет, передала мне две тетради в черной обложке: «Тойво написал... тюремные его...» С чувством благоговения и какого-то неосознанного страха я взялся за эти тетради. Что мог написать нам, оставшимся в строю, Антикайнен, приговоренный к пожизненному тюремному заключению? Что завещает он нам, людям? Одна тетрадь содержала записи по философии. Другая — уроки по русскому языку. Вот он, живой Антикайнен!

...Миновали многие годы, и вот я, старый уже человек, направляюсь на поиски курсантской могилы тех далеких лет. Место себе представлял необычайно четкое: на поляне, в маленьком лесном островке возле поселка Барышнаволок, на берегу величественного Нюк-озера. Это именно та могила, над которой выступал Тойво Антикайнен и которую мы клятвенно обещали никогда не забывать. Эту могилу и речь Антикайнена над ней, с большой любовью к красным финнам, показал читателям тогда еще молодой писатель Геннадий Фиш в повести «На Кимасозеро». Не знаю, что приковывало Геннадия Семеновича к этой небольшой по масштабам и далеко не выигрышной теме. Знаю только одно — он остался верным этой теме до конца своих дней, и мы, красные финны старшего поколения, потеряли в нем верного и дорогого друга.

От поездки товарищи меня не отговаривали. Но сомнения в успехе были, и от меня их не скрывали:

— Давно это было. Далеко туда и вам уже...

— Да, сейчас шестьдесят восемь. Потом будет больше. Меньше уже не будет.

— Значит?

— Еду. Некому меня в этом заменить.

— Хорошо! Успеха вам, а мы позвоним в Муезерку. Попросим помочь.

Ну вот и Кимасозеро. В прошлом довольно большое село на полуострове и по обоим берегам озера сократилось размерами и уместилось на той небольшой

береговой полосе, где раньше стоял маленький хуторок. Заброшенным поселок не назовешь. Есть электричество, почта, радио, телефон, четырехклассная школа, магазин, пекарня, небольшой клуб. Людей мало. По окончании четырех классов дети выезжают в интернат. Там заканчивают среднюю школу и превращаются в промышленных рабочих-горожан.

По выходе из вертолета встреча с сельским уполномоченным:

— Нам сообщили о вашем приезде. Но мало ли...

Действительно, тут я уже второй раз и всегда сверху падаю. Ну надо же!

Собралось несколько человек. О новостях бы послушать, а я все одно и то же твержу:

— Нет ли кого, кто в двадцатых годах в Барышнаволоке жил? Это ж недалеко от вас...

— Есть одна женщина. Степанова Клавдия Степановна. Только плоха она. Дойдет ли?

— Думаете, не может поехать, чтобы могилы точно показать?

— А сам ты дойдешь ли? Песок из тебя по пути не посыплется? — спросила меня одна старая женщина, пожалуй, постарше меня.

— Дойду, думаю.

— А на лыжах уже не дошел бы? Духу бы не хватило, поди?

— Да, на лыжах уже нет.

Пришла Клавдия Степановна, пожилая, на пенсии уже, приветливая и тихая:

— Могилу знаю. Там на хуторе я жила, пока народ, из-за нового набега врагов, его не покинул. За могилой мы ухаживали. По праздникам красный флаг выставляли...

Мотор «Вихрь» работал исправно, и вот из-за островов показалась довольно ровная прибрежная полоса с остатками строений. Поселок, еще в 1941 году оставленный жителями, ветшал. Дома покосились, некоторые и вовсе развалились, всюду бурьян. Но место узнал без труда, хотя и смущал вид лесного островка на поляне. Там же молодые сосенки росли, в оглоблю, а тут огромные сосны. Понял потом: за те семь восемь лет, пока я возмужал и, сделав свое, пришел в ветхость — сосны только набирали силу.

— Клавдия Степановна, кажется тут, на островке?

— Ну.

— Тогда вы задержитесь немного. Я хочу сам, один...

Бугорок там был. Это хорошо помню, и с этого бугорка Антикайнен выступил с речью. Могила была немного в стороне, и мы стояли за могилой, слушая Антикайнена. Бугорок нашел. Значит, и могила где-то тут.

— Вот же она, рядом с вами, видите? Земля еще осела потому, сказывали, малой глубины могила была.

Все было верно, и мне осталось только сказать:

— Да, тут.

— Столбик тут стоял, — говорила Клавдия Степановна. И мы нашли в траве этот столбик. — Ограда была, — говорила она, — с угловыми столбами и штакетник, — и мы нашли эти столбы и обломки штакетника.

Значит, эта могила сохранилась в памяти народной. Потеряли ее только мы, клятвенно обещавшие оберегать ее. Обидно, но так сложилось. Из отряда не я один остался. Есть Тойкка Эмиль и Лаври Сало. Есть Ф. Ф. Машаров, один из организаторов нашего отряда. Может быть, и другие. Поклонился этой могиле от имени всех нас, от имени тех, которые доверили мне эти поиски. И, уж заодно по духовному полномочию — от имени карельской общественности.

Мы подняли полусгнившие столбы и отметили могилу сосновым колом. Вспомнились слова Лермонтова: «Поставь над нею крест из клена и дикий камень положи...» Не так мы сделали. Нет тут клена, а креста — свидетельства печального или мрачного исхода — не поставишь на могиле тех, которые шли в светлое завтра. И дикого камня не положил. Есть они тут, камни, и много их. Но не поднять мне, не донести.

Могилу нашли и отметили, но большего бы хотелось. Памятный знак бы тут поставить надо. Недорогой и скромный. Из нержавеющей стали или из алюминия. Такой, примерно, как памятник убитому белыми ездому из Ругозера на Кимасозере. Написать бы на одной стороне фамилии курсантов, здесь похороненных, а на другой стороне такие слова: «Курсантам Интернациональной военной школы». Был бы он памятным знаком и тем тысячам погибших красных финнов, могил которых мы уже не найдем...

...Прошло еще три года и вот он, памятный знак на курсантской могиле в лесном островке на берегу величественного Ньюкозера. Изготовлен он силами молодежи Надвоицкого алюминиевого завода и установлен комсомольцами Муезерского района и туристами Петрозаводска. Следует отметить участие в этом деле газеты «Комсомолец» и энергичную помощь товарища Прокуева Анатолия Ивановича.

Лыжный рейд по тылам врага в Карелии в 1922 году был последним совместным выступлением красных финнов за власть Советов. Не самым массовым или самым тяжелым. Он был самым удачливым из них.

Вскоре наши пути разошлись. Не потому, что друзья моей юности, вместе с которыми я познал первые радости великой мечты и пережил горечь непоправимых утрат, вместе с которыми по мере сил отстаивал новое в России, — не потому, что они пошли по одному направлению, а я — по другому. Нет, все мы шли к одной цели, но не в общем строю уже, а каждый по своей тропе, навстречу собственной судьбе, ласковой или лихой.

Прошли годы и с ними прошла жизнь. Нет больше, или почти нет дорогих моему сердцу красных финнов 1918—1922 годов, только кое-где мелькают их одинокие тени. Трудным был наш путь и суровым. Но сказать только это означало бы сказать не всю правду. Мы познали революционную романтику и лучшие годы были ведомы ее могущественной силой. Мы сроднились с ней и верим — не умерла она и не исчезла бесследно. Наступит время, и она поведет новые поколения финской рабочей молодежи новыми путями все дальше и выше, на те высоты, которых мы не брали, на горы, с которых скатывались. И так будет.

Будущее шагает дальше.

Здесь ВЧК необходима.
В. И. Ленин

1

Хорошо помню мою первую заставу, тогда еще кордон. Заставами они стали именоваться с мая 1924 года. Малюсенькая комната, нары вдоль стены, столик, сколоченный из патронных ящиков у единственного перекосившегося окна, возле двери — плита для обогрева и варки пищи. Ни телефона, ни кабеля. Пограничная дивизия, уходя, захватила и свои средства связи. Табельные — не оставишь! Устава пограничной службы еще не было. Сунул мне Бомов, помощник коменданта, подшивку приказов и наставлений:

— Бери! Ничего в них толкового нет, но иметь обязан. И береги — секретные.

В числе других бумаг была копия инструкции, утвержденной еще С. Ю. Витте для пограничников его эпохи. Запомнилось одно любопытное требование: кордонную книгу, — в ней записывались все наряды по охране границы, всякие происшествия, случившиеся за сутки, и замечания посетивших кордон начальников, — надо было хранить припечатанной к полу, на шнурке. Это для того, чтобы ленивые начальники не могли затребовать представления книги к себе для росписи без отрыва от собственной кушетки. Хорошо граф Витте знал свои кадры! Обращало внимание и такое требование: солдатам-пограничникам после демобилизации из армии запрещалось проживание в пограничной зоне. Недоверие полное и публичное!

Страна была бедной, и мало она могла дать своим пограничникам. Комендант участка Э. Орлов где-то нашел и дал нам старый телефонный аппарат, стенной, фирмы Эриксона. Кабеля не дал — нету! И пограничники сами между делом изготовили провод, раскрутив

двухжильную колючую проволоку. Не из легких такая работа, если учесть, что из инструмента они имели только штык и отвертку.

Пограничной службы тогда толком, пожалуй, никто не знал. Искали, учились. По ночам я, бывало, не раз сам след к границе прокладывал — когда быстро, бегом, когда осторожно и неторопливо. Признаки следа как нельзя лучше разглядишь и днем с пограничниками этот самый след ищешь и по его признакам учишь распознавать, кто тут прошел — опытный ли нарушитель, терпеливо выжидавший, пока пройдет пограничный наряд, или напуганный новичок.

Сигнальных приспособлений и контрольных полос на границе не было, да и проложить эти полосы мы не могли: вся земля, кроме узкого четырехметрового бечевника вдоль пограничной реки, находилась в частном пользовании. Но выход нашли. Тщательно изучили и запомнили каждый метр береговой полосы, а в лесных массивах стебельки травинки связывали друг с другом. И так на протяжении многих сотен метров, местами по два-три ряда. Получалась совсем неплохая контрольная полоса!

Работа была тяжелой, но окрыляла надежда, что результаты наших поисков, наш опыт пригодятся, и не только нам сейчас, но и будущим пограничникам, лягут в основу уставов и наставлений.

Петроградское направление, в особенности на его лобовом, белоостровском участке, было наиболее напряженным. До города менее сорока километров, а до его оживленных пригородов — Левашова и Парголова — неполных двадцать. И все лесными массивами. Не заметил вовремя или не задержал нарушителя, значит, вовсе его упустил. В Петрограде уже не найдешь!

Вражеские агенты — шпионы и диверсанты — прорывались через границу группами по несколько человек, хорошо обученные и вооруженные. Перестрелки с ними были довольно частым явлением. Били мы, попадало и нам. В одной такой схватке, в частности, получил ранение комендант участка Э. Орлов.

Вражеская агентура часто прикрывалась контрабандой. Наши законы были крайне мягкими, и она этим пользовалась. Лиц, пойманных с контрабандными товарами, если шпионских диверсионных связей установить не удавалось, всего лишь выдворяли из страны.

Широко использовалась беспечность некоторых наших хозяйственных руководителей и издательских работников. Государственные объединения издавали подробнейшие рекламные справочники со всеми данными: номенклатура продукции, характер оборудования, мощность предприятия, численность персонала. Даже адреса и номера телефонов руководящих работников указывались. Такие справочники продавались в киосках, и по ним легко можно было установить направленность экономических усилий страны и темпы развития той или иной отрасли хозяйства.

— Удобно очень,— заявляли задержанные.— Сколько бы труда надо было потратить, чтобы все это узнать! И риск большой, и накладисто тоже. Шпионажа не докажете — нелегального у меня ничего нет. Все в киоске приобрел. На память, может быть.

Знали мы, о какой памяти идет речь, понимали, но — все законно! Мы только отбирали эти «памятные» справочники и выдворяли из страны их владельцев — больше ничего!

Наши заботы и тревоги умножились в связи с английским ультиматумом в мае 1923 года, известным как «нота Керзона». Она грозила нам захватом или уничтожением наших судов и другими насильственными мерами. Мы еще не забыли коварства англичан, помнили их хватку. Много было напряженных дней и бессонных ночей. Очень много! На охрану границы выходили всей заставой сразу, на пять — семь суток. Захватывали с собой и телефонный аппарат, чтобы им не пользовались без нас и во вред нам. Больше ничего стоящего и не имели.

Днем тогда границу охраняли парными нарядами. Один поднимался на дерево и наблюдал. Другой отдыхал под деревом и доставлял товарищу еду. Потом менялись местами и обязанностями. Ночную охрану несли одиночными нарядами — так обеспечивался более широкий фронт охраны.

Усталость достигла предела, а комендант все давил и давил: «Все, все на границу! Отдых потом, после...»

В один из этих дней в Старый Белоостров на машине приехал П. А. Залуцкий, член ЦК партии, в дальнейшем видный троцкист. Комендант Орлов просил его хотя бы очень коротко информировать командиров-пограничников о возможном дальнейшем развертывании

событий в связи с «нотой Керзона». Залуцкий согласился, но узнав, что собралось всего человек десять, обиделся и выступать не стал:

— Это мне выступать перед десятком человек? Вы что, шутите? Я сюда на отдых приехал, в леса. Имею же я право на воскресный отдых.

Да, конечно, право на отдых он имел, и мы разбрелись по своим участкам...

Через полгода потрясающий удар — не стало Владимира Ильича Ленина, нашего Ильича, как мы все его с любовью называли. Он долго и тяжело болел, и со все возрастающей тревогой мы ждали бюллетеней о состоянии его здоровья. Ждали их и боялись...

До полуночи я был на границе. Стояли сильнейшие морозы, теплой одежды мы еще не имели, и в такие холода от командира требовалось показать бойцам личный пример выносливости. Устал я, продрог и пошел на заставу. В это время пограничник Исаков, — потому и сохранилась в памяти фамилия этого молодого рабочего сестрорецкого завода, что видел его в ту незабываемую ночь, — принимал телефонограмму. По тому, как он переспросил: «Что? Ленин?» — и по выпавшему из его рук карандашу я понял, что случилось непоправимое, хотя эти страшные слова и не были сказаны.

Сидели молча. Никакого митинга или беседы. Горе подавило всех, и не лезь тут в чужую душу!

В помещении происходило невиданное ранее. Уставшие, невыспавшиеся пограничники вставали сами, без команды, подходили к столику и брали в руки эту телефонограмму, которая так и осталась принятой не полностью, впивались в нее глазами, может быть, надеясь на ошибку... Поняв, что все так, что нет больше нашего Ильича, молча уходили в морозную ночь...

Пятиминутными непрерывными гудками страна провожала в последний путь своего вождя, учителя и друга. И, может быть, прежде всего — друга, умного, ласкового и сурового. Обнажив головы, стояли мы, пограничники, на обходах. Со станции Белоостров слышались глухие гудки наших паровозов. Более близкая к нам по расстоянию финляндская станция Раямяки молчала. Там был другой мир! И раньше я это знал и понимал, но сейчас ощутил как-то особенно сильно и с глубокой болью. И на всю жизнь запомнил это молчание.

Может быть, еще никогда раньше смерть человека не вызывала столько слез и горя. Но эти траурные дни были и великой школой, и мы вышли из нее более зрелыми. Мы познали в себе силу, силу и ответственность...

Через два месяца, в апреле 1924 года, меня внезапно отозвали с заставы и направили на курсы транспортного отдела ОГПУ на Фарфоровский пост.

Я недоумевал, почему послали именно меня? Особенных замечаний от командования не имел, по подготовленности и военной службе даже превосходил многих других. Потом махнул рукой: начальству виднее! Тем более, что на курсах оказалось не так и плохо: кормят весьма прилично, деньги платят, и город рядом. Живи-поживай!

Но скоро эта безмятежная жизнь кончилась, и произошел крутой поворот.

2

Начальник курсов или толком ничего не знал или говорить не хотел, только взволнованно буркнул: «К Мессингу езжайте, быстро! Поняли?» Мессинг — полномочный представитель ОГПУ по всей огромной северо-западной области страны, член коллегии и один из организаторов ВЧК. Я знал только, что зовут его Станиславом Адамовичем. Требовательный, говорили, и суровый. Впрочем, его личность меня интересовала куда меньше, чем вопрос — на что я ему понадобился?

На заставе как будто все было в порядке. Ну, случился однажды прорыв вооруженной группы через границу на моем участке. Но это когда еще было, и разве только у меня одного такое случалось? У Матвеева на четырнадцатом тоже прорывались, и у Акимова на одиннадцатом какой прорыв был! Из рук выпустили. И ничего. Ругали, конечно, не без этого. Должность у начальника заставы такая, что на него, как на бедного Макара, все шишки падают. Полигонная, можно сказать, должность: как бы плохо ни стреляли, но снаряды, осколки и пули не минуют полигона. Так и начальник заставы тех лет — все по нему, прямо или косвенно...

Меня тоже крыли, но после того было стоящее задержание, начальник отряда Август Петрович Паэгле

месячным окладом из контрабандных фондов наградили.

На курсах учился плохо? Верно, было дело, я всю жизнь собак боялся и водить их отказался, но неужели из-за этого?..

Как ни вспоминал, ничего не вспомнил, за что бы мне такого ранга выволочку давать, но раз начальство вызывает, значит, где-то маху дал...

Пропуск был заказан, меня ждали, и кто-то провел в кабинет Мессинга. Он оказался тучным, хмурым, с бритой головой. Позади большого письменного стола, за которым он сидел, тянулась ширма — кровать там за ней, наверное, или диван для короткого отдыха в долгие рабочие ночи.

По-уставному представился.

— Садитесь. И расскажите о себе все, что помните.

— С чего начинать?

— Давайте с начала, как принято.

Мессинг слушал внимательно, не перебивая, и, видно, хорошо он меня изучил и знал лучше, чем я сам себя. Если забуду или утаю мелкий грешок, — напомнит. Знал он и мою учебу на курсах, и мое отношение к собакам, и самовольные выезды в город. Знал он и мою заставу и меня на границе. Возможно, для того на курсы и отозвали, чтобы без меня проверить, какие я следы на границе оставил?

Беседа затянулась, дружественная и строго деловая, умного и сильного наставника с еще серым, хотя и старательным учеником. Общий итог разговора, высказанный Мессингом, гласил:

— Мы вас изучали. Вы неплохой начальник заставы, но можете и потому обязаны делать больше. Вполсилы у нас не работают...

Вполсилы?! Боже мой, неужели эти непрерывные поиски, бессонные ночи, волнения и тревоги — работа только вполсилы? Я хотел что-то возразить Мессингу, может быть, рассказать о нашей работе, но мешки под глазами этого еще не старого человека, кушетка позади его письменного стола удержали меня. Нет, такому человеку об усталости и тревогах нечего рассказывать!

И Мессинг продолжал:

— Вам надо связаться с финскими контрабандистами и организовать завоз в Ленинград контрабандных товаров. В дальнейшем другое задание будет... Только

не торопитесь и без моего разрешения ничего не предпринимайте. Но нельзя упускать весенний лесосплав, когда финские сплавщики, среди которых попадаются контрабандисты и даже агенты врага, будут за бревнами на наш берег переходить.

Тут бы и сказать Мессингу, что сама идея связаться с контрабандистами мне противна, неприемлема, но я так не сказал. Он подавил меня своей уверенностью, своей непреклонностью, и я ответил кратко — пытаюсь.

Потом один за другим в кабинет зашли Э. П. Салынь, заместитель Мессинга, немногословный и выдержанный латыш, и Шаров, начальник контрразведывательного отдела, порывистый, нервный и резкий, как я в этом после не раз убеждался.

Мессинг показал на меня:

— Пограничник все знает. Дайте ему номер того телефона, и в нужное время он позвонит. И о пропуске договоритесь, минуя бюро пропусков и общие коридоры.

Первое задание Мессинга было и странное и до смешного простое: последним вечерним поездом выехать в Сестрорецк и там, никем не замеченным, проникнуть в кабинет начальника пограничного отряда, оповещенного о моем приезде. Может быть, Мессинг хотел проверить, способен ли я хоть на такое?

Столь простые приемы я уже знал — жизнь научила и, конечно, Шидловский на курсах. Он, бывший начальник уголовной полиции Петербурга, читал нам захватывающе интересные лекции, особенно по таким вопросам, как словесный портрет, приемы наружного наблюдения, определение квалификации преступника по приемам злодеяний, опознание трупа и по ряду других.

В штабе отряда никаких трудностей не предвиделось. Комната дежурного на первом этаже, слева от входа, и через освещенное, обычно не занавешенное окно видно, там ли дежурный или отлучился для проверки внутреннего караула, а кабинет начальника отряда был первым на втором этаже. Значит, встреча со знакомыми грозила только при посадке в поезд, в вагоне или в пути со станции к штабу отряда.

Прежде чем идти на поезд, я снял фуражку и завернул ее в газету, воротник гимнастерки вывернул

и, таким образом, оказался в распространенной одежде молодых мужчин тех лет.

В темном углу вокзала подождал отправления поезда и сел в вагон уже на ходу. В плохо освещенном вагоне забрался на верхнюю полку и лежал до самого Сестрорецка. Мучила совесть — почему я прямо не сказал Мессингу, что от этой противной задачи отказываюсь? Струсил? Нет, не в трусости тут дело.

Моя юность, как и юность моих сверстников, по времени совпала с наиболее суровым, спартанским периодом нашей революции. Жизнь понималась упрощенно, и мы — все, наверное, — ненавидели роскошь, не понимали различия между элементарным благополучием и награбленным богатством, искренне презирали обладателей украшений в виде серег, колец, губной помады, уже не говоря о людях, присваивающих общественное добро.

А тут мне контрабанду навязывают! Дудки! Буду тянуть, волынить, и Мессинг от меня сам откажется. Да, и все будет точно так, как он говорил. Он же сказал: «Не торопитесь и без моего ведома ничего не решайте». Пускай ждет!

Хорошо еще, что он строго-настрого приказал о моем особом задании никому не рассказывать. «Начальнику отряда, — сказал он, — что необходимо, мы сами расскажем». Уж очень я уважал нашего начальника Августа Петровича, и невыносимо стыдно было бы признаться ему, что я вовсе не намерен выполнять задания Мессинга и буду волынить...

3

А. П. Паэгле, несмотря на поздний час, оказался на месте, дружески принял меня и сказал, что о моем особом задании информирован и что именно он меня на эту работу рекомендовал. Добавил еще, что верит мне, верит в мои силы. Попробуй, скажи тут о своем намерении не выполнять задания, только тянуть время и волынить!

Приказ о моем возвращении на заставу был отдан еще днем, и, простившись, я сразу же пешком туда направился. Что мне, спортсмену, неполные десять километров. Я любил спорт, и по некоторым его видам —

по прыжкам с места, например, или по бегу на восемьсот метров — приближался к союзным достижениям, мечтал об институте физической культуры.

Конец пути я шел по дозорной тропе по самому берегу и заметил, что по реке плывут бревна. Значит, лесосплав начался. Одно бревно остановил и посмотрел — клеймо финское. Обходя небольшой заливчик, образовавшийся вследствие весеннего паводка, я в кустарнике столкнулся с финским сплавщиком, с багром на плече идущим к реке из леса, как бы из нашего тыла. Финских бревен в этом заливчике не было, следовательно, он нарушил конвенцию, допускающую переход сплавщиков на территорию сопредельной страны только за приставшими к берегу бревнами. Его следовало задержать, но я не сделал этого. Заметив на глазу сплавщика бельмо, я узнал его: Косой, необычайно смелый контрабандист, проходивший по местному розыску. Помнил обязывающее требование Мессинга — «Не упускать лесосплава» и другое, не менее обязывающее — «Без моего ведома ничего не решайте».

В этих указаниях, столь ясных в кабинете, было непримиримое противоречие, значение которого я только тут, на берегу, понял и нередко ощущал в дальнейшем, особенно когда менялись обстоятельства. С какой радостью иной раз сказал бы: «Повремените, господа, пока я со своим начальником посоветуюсь!» Но реальная жизнь таких возможностей не предоставляет, и часто один у тебя советник — собственная совесть. И тут она подсказала решение — возможность исключительная, прими ответственность на себя! А там будь что будет!

С этим контрабандистом мы быстро договорились о завозе в Ленинград контрабандных товаров — как только я в городе покупателей найду и аванс получу для верности. Он же ассортимент предложил и сигнал для вызова его на встречу.

Отпустив его, я почти бегом направился на заставу. Наскоро ее принял, — да и что там принимать, ведь это же была моя застава, — назначил наряд на сутки и сразу же — на станцию. Очень торопился с докладом к Мессингу о таком необычайном, как мне показалось, успехе.

На телефонный звонок ответил Салынь. Он, впрочем, всегда по тому номеру отвечал, даже ночью. Меня

встретили и через какой-то двор повели в здание. Этим путем я после всегда пользовался, и получалось так, что в самом здании встречал только тех людей, к которым имел дело.

Мессинга не оказалось, и меня принял Э. П. Салынь. Тут же был и Шаров. Докладывать о таких делах не приходилось, и я начал, по-моему мнению, как нельзя лучше, с главного:

— По контрабандному делу я еще в пути с Косым договорился...

Только я высказал эти слова, как на меня набросился Шаров. Косого, по-видимому, он хорошо знал, может, плохое во мне заподозрил, и я получил головомойку экстракласса. Шаров посмотрел на меня неподвижными остывшими глазами, как удав на кролика, и пошло. И сопляк я, самонадеянно проваливший все дело, и нарушитель прямых указаний Станислава Адамовича о недопустимости каких бы то ни было решений без его санкций. Все в этом же направлении и с такой же резкостью. Салынь сидел, молчал, и нельзя было понять, то ли свою порцию проклятий на мою голову готовит, то ли не разделяет столь бурного проявления чувств. Скорее последнее.

В самом разгаре головомойки вошел Мессинг.

— Что это за балаган вы тут устроили?

— Вот этот сопляк... — начал было Шаров, но Мессинг — почему-то нервный и злой — резко его осадил:

— Прекратить! Дайте мне разобраться.

Мессинг был немногословным и суровым человеком, но он как-то по-особенному располагал к себе, внушал доверие, с ним было и трудно и легко. Трудно потому, что надо было все знать, за все отвечать, а легко потому, что я искренне верил — Мессинг понимает тебя и в трудную минуту!

Тут он взял стул, придвинул его ко мне, присел напротив и сказал мягко, но обязывающе:

— Не волнуйтесь и спокойно расскажите все как было.

Я начал с признания, что не по душе мне это контрабандное дело. Вчера не отказался прямо, струсил и не до конца понял. Теперь решил — не буду я заниматься этим грязным делом — не умею, не могу и не хочу...

— А как все случилось? Как встретились с Косым?

Я объяснил, что встреча с Косым была случайностью

ны, — какими подвигами, уж не знаю, — заслужила все возможные по тем правилам четыре Георгия. После революции — ротмистр белой армии, каратель, эмигрантка. Патриотизм улетучился, и она превратилась в шпионку — садисткой она и раньше была, — террористку, наслаждающуюся страданиями народа. Теперь ей и наяву мерещились веревки, виселицы, кровь и торжественный въезд в столицу монарха на белом коне.

Мессинг предупредил: чрезвычайно опасная, умная и коварная. Стреляет при первом же возникновении сомнений, на местности ориентируется хорошо, не боится ни пешех переходов, ни водных преград. Обезвредить бы ее следовало, но пока она нужна нам как ширма. Ей верят в Париже, а здесь чекисты ее запутали, и она идет по ложному, подставленному чекистами пути. И именно такая она нужна нам. Строго придерживайтесь принятого и уже известного белым образом поведения — жаден на деньги, молчаливый и упрямый, угодливый перед финскими должностными лицами. На нашей территории, — спасая свою шкуру, — опять преобразайтесь в молчаливого и в известных рамках властного хозяина «окна».

И откуда только эта зверюга взялась на мою голову! Но хорошо, что она не первая через мое «окно» пробивалась. Перебрасывая разных пустышек, — а такие тоже были, — я, что называется, уже руку набил, накопил какой-то опыт и умение.

Сам бы я, конечно, не справился — ситуации возникали самые неожиданные и слишком много их было. Помогал Мессинг, учил и направлял меня так верно, что временами казалось, будто ему заранее известен ход событий.

Контрабандное ремесло вскоре заглохло, но «соседа», как и рассчитывал Мессинг, меня по этому следу нашли, предложили работу, грозили. Однако с ними я недолго имел дело. По достижении договоренности о том, что мое «окно» предназначается только для обслуживания русских монархистов и англичан, финны как бы исчезли. Вообще я встречался с безымянными лицами, отлично владевшими финским языком, всегда в штатской одежде.

Впрочем, было одно исключение, когда два господина в штатской одежде просили, — да, именно просили — узнать, не задержан ли нашими пограничниками

гражданин финляндской республики, указав его фамилию и бросающиеся в глаза внешние приметы. Я, конечно, обещал это выяснить и первым же поездом выехал к Мессингу. Навели справки, и оказалось, что такой человек задержан, находится под арестом в Сестрорецке по обвинению в шпионаже. Тут же Мессинг поручил Шарову написать ответ для передачи финнам. Переводя этот ответ на финский язык, я обнаружил в нем такие подробности о задержанном, которых я, начальник заставы, в штабе отряда обычным путем узнать никак бы не мог, и я отказался от такого текста:

— Что же вы делаете, товарищ начальник! Вы же меня угробите. Где бы я...

— Я угроблю? — вскипел Шаров, и не миновать бы мне очередной головомойки, но зашел Мессинг и, узнав, в чем дело, осадил Шарова:

— Будем надеяться, что финны сами знают место рождения и семейные неполадки своих агентов. Им нужен только ответ — задержан или нет?

Такой ответ финны и получили: «Внешне похожего увидел в Сестрорецке, арестован. Более подробно узнать побоялся».

Мессинг вникал во все подробности моей работы, взвешивал и решал:

— Вас устраивает станция Песчаная?

— Не совсем — близко очень, всего в пяти километрах, и туда к утреннему поезду приходят «бидонщики» с молоком для города. Они местные жители, меня в лицо знают, и мои появления там, не на моем участке, в сопровождении незнакомых лиц, вызовут любопытство, пойдут разговоры и пересуды...

— Если эта станция вам не подходит, то немедленно прекратите посещения ее. А какие там еще станции?

— Левашово есть и Парголово, но они далеко от меня, километрах в пятнадцати, если не больше...

— А если на лошади?

— На заставах нет лошадей.

— Ни на одной заставе нет лошадей?

— Нет, лошадей нет.

Нынешним людям, особенно пограничникам, трудно представить себе, что было время, когда на заставах не то что машин — лошадей не было. Начальник отряда имел выездную пару и фаэтон и несколько пар заморен-

ных обозных кляч для обслуживания хозяйства. У коменданта участка была верховая лошадь и одна обозная для развоза продуктов по заставам.

Но Мессинг лошадей нашел, и не одну — такое бы в глаза бросилось, — а сразу трем заставам — Каллиловской, самой отдаленной, Майниловской и моей. . . . Еще повозка хорошая попалась, по моим потребностям, — одноосная финская «душегубка», на ход легкая и, главное, — только для одного пассажира, а это куда лучше, чем иметь дело с несколькими лицами, из которых один беседу ведет, вопросами атакует, а остальные за глазами следят — не промелькнет ли что потаенное.

По моей просьбе перевели на другой участок моего помощника Короткова, прекрасного человека, настоящего пограничника.

— Уберите, — просил я, — умный он, смелый, и разве такой поверит столь идиотскому расположению ночного наряда, какой я назначаю? Мне же надо создать неохраняемое пространство в пределах «окна», а он все ночи по границе ходит, проверяет и наставляет. Не могу я Короткова обманывать, не умею и не хочу...

— Ну что ж, — согласился Мессинг, — подберем вам помощника по вкусу.

И нашли такого. Возможно, человек он был и неплохой, не на своем месте только. Любил поспать, поиграть в шахматы и посидеть в помещении — избегая темных промозглых ночей и зимних холодов. Словом, не пограничник по укладу жизни, а мне — божий дар!

Трудно было с пограничниками — много их было, сильных и смелых, приходилось ловчить и обманывать, но только это не спасло бы. Нужно было их доверие, а доверия миражами не заслужишь! Надо было владеть знаниями, учить людей, делить с ними и радости и горе, работать, как и они, только еще больше и лучше.

В начале лета через мое «окно» пошли люди. Многих позабыл, но некоторых помню. Одного — вследствие его поразительной беспомощности. Представился — капитан первого ранга Российского военно-морского флота, а мог бы еще добавить — белоэмигрант, постоянно проживающий в Финляндии. Но он так не сказал, а лишь уточнил — непримиримый враг Советов.

Моряк должен бы море знать, но этот плавать не умел и боялся воды. Приходилось его на финском берегу раздевать, обвязывать веревкой и через речку пере-

тягивать, как бревно. Обратный путь таким же образом — раздену, прицеплю к веревке и тяну. Переходил часто, но глубоко не проникал, не дальше Ленинграда, поскольку в следующую ночь возвращался.

Пустышки, впрочем, попадались и позже. Один приходился племянником белому барону Врангелю. Ему устроили «побег» и как будто сложными путями на меня навели, предупредив меня: такой болван и трус, что нам и в тюрьме не нужен. Пусть за граница его кормит. Рекомендовали нагнать страху, чтобы ему было что вспомнить в старости. Я немного перестарался, и в конце пути этот господин на ногах уже не держался, только ползал.

На очередной встрече Мессинг говорил, что этот врангелев племянник в письме из Парижа сообщил, что спасся только чудом, и меня похвалил — очень надежный и сильный проводник.

Другой был музыкант, брат или племянник белоэмигранта Бунакова, постоянно проживавший в Финляндии. Его я пугать не стал — музыканты народ впечатлительный.

Бедная ты Россия! Каких только врагов у тебя не было!

И вот — встреча с этой бешеной особой. Мы посмотрели прямо в зрачки друг другу — одного поля ягоды! Был и пароль:

— Какая из этих дорог ведет к хутору Медный Завод?

— Туда далеко, и все лесом... но вы пройдите по этой, и вас догонят.

Ехали молча, пока она не спросила:

— Вас не интересует, кого вы везете?

— Сами скажите, если хотите.

— Шульц-Стегинская, поняли?

— Понял, и что ж тут не понять, госпожа.

Называли ее, как я позже убедился, еще и Захарченко и Вознесенская, а в нашей внутренней среде — более кратко и выразительно.

Полагая, что фамилия не произвела на меня ожидаемого эффекта, она из правого кармана пальто пистолет вынула, играла им, подбрасывала его так, чтобы я непременно увидел под левой перчаткой выпуклые контуры маленького дамского пистолета и уяснил бы себе: «Стреляю с обеих рук». Понимал я — если что

и заподозрила, то здесь, на открытой и оживленной дорожке, стрелять не будет, потерпит до въезда в лес, поближе к границе. Подгоняя лошадь, оцениваю мои и ее возможности, если схватка внезапно возникнет здесь, в подводе. Ручки у нее маленькие, шейка тонкая, и мне, двадцатитрехлетнему сильному мужчине, справиться с нею — раз плюнуть. Конечно, если опасность замечу вовремя...

Хотя все шло благополучно, я ни на минуту не забывал о броненосном оружии «госпожи», шагая впереди нее от оставленной в лесу повозки к линии границы. Не очень-то приятно иметь у себя за спиной такую вооруженную особу.

На берегу пограничной реки, узнав, что уровень воды до пояса, она быстро сняла обувь, верхнюю одежду и подбросила мне — несите!

Когда глубина достигла полуметра, я повернул в сторону, шагов пятьдесят прошел против течения и только после этого пересек речку и вышел на финский берег.

— Почему вы меня так долго по холодной воде водили?

— Опыта не имеете, госпожа. След может остаться, а следов на обоих берегах оставлять нельзя.

Одеваясь, предупредила:

— Вернусь обратно дней через десять, с мужем.

— Значит, пешком пойдем? Повозка двухместная.

— Найдите другую.

— Другой повозки нет и не будет.

Не поверила моим словам и обратно действительно пришла в сопровождении мужчины, который и в самом деле откомендовался — Стесинский. Ничего не только опасного, но и стоящего внимания я в нем не заметил. На вид чахоточный, из типажа «вечных студентов». Впрочем, сильные женщины рыцарем своего сердца редко выбирают сильных мужчин. Мимоходом отметил, что и Шульц его деловых качеств высоко не оценивала. При переходе через речку ему только верхнюю одежду доверила, а саквояж, как и при переходе в Финляндию, несла сама.

До Левашова, километров шестнадцать, шли лесом, почти не разговаривая. Мужчина оказался неважным ходок, и я его не торопил. Чем медленнее идем, тем меньше времени останется для опасных мне разговоров

в ожидании поезда, опасных и тревожных, особенно с двумя такими собеседниками. Но ничего, обошлось.

Через мое «окно» эта дама проходила довольно часто, но в дальнейшем только одна. Со всеми было трудно, а с ней — вдвойне. Очень опасны были многочасовые остановки с ней в лесу и ее проверки, всегда внезапные и каждый раз коварные по-новому. Они особенно утомляли.

— Вам подарок от наших друзей, — сказала она однажды и подала мне портсигар, большой и красивый, из рыжей кожи, отделанный золотом. — Нравится?

— Красивый, — говорю. — Дорогой, наверное, — и возвращаю.

— Он вам в подарок.

— Ненадолго подарочек...

— Почему ненадолго, не поняла?

— Потому что, — говорю, — меня ненадолго хватит, если такие вещи носить буду. Понимать надо.

— Простите, не учли наши друзья ваших особых условий.

Учили, и еще как учили! Если наброшусь на такую приманку, значит, не купленный ими холоп я, а ничего не опасющийся чекист в холопской роли.

Как-то зимой в пути со станции опрокинулись мои маленькие старинные сани. Вообще-то ничего особенного не случилось, поднялись и поехали дальше, потом в лесу часа два в санях сидели, ожидая наступления темноты. Она, как обычно, атаковала меня вопросами — не проговорюсь ли? Пешком по тыловым тропам пробрались к контрольной лыжне, с большим количеством пеших следов, по ней еще шагов сто, и там, где росли невысокие кусты можжевельника и не было троп в сторону нашего тыла, направились к границе — наступая след в след и в центр кустиков. Она шла аккуратно и лишнего следа не оставляла. И вдруг на самой границе — новая неожиданность:

— В Финляндию не перехожу. Вы опрокинули санки, и мой пистолет из кармана выпал. Поедем искать его.

Понимал я, что не такая она дура, чтобы пистолетами разбрасываться, и сама бы она назад не поехала. Еще одна проверка, не больше. От поездки обратно решительно отказался — пограничная зона не для прогулок! Она продолжала настаивать, грозила, — и сдалась

только после моего заявления о том, что считаю ее провокатором, сейчас же убегу к финнам и доложу им, как она себя ведет.

Спустя какое-то время Мессинг мне сообщил, что в письме из Парижа эта дама писала: «Основательно проверила «окно». Все там хорошо, оно в руках осторожного и верного человека».

К личности этой дамы я еще вернусь.

5

К лету 1925 года мое положение резко осложнилось.

Участились переходы через мое «окно» Радкевича, чрезвычайно опасного врага, шпиона и диверсанта крупного масштаба. В те годы ему было менее сорока лет. Очень сильный, смелый и нахальный человек. В прошлом гвардейский офицер, белогвардеец и белоэмигрант, по моей прикидке третий муж Шульц-Степсинской. С таким дурака не поваляешь, не отвлечешь его призраками выдуманной опасности. В моей памяти он остался как один из самых опасных врагов, с которыми мне приходилось иметь дело. Намного опасней, чем он выведен в романе Л. В. Никулина «Мертвая зыбь» или в телефильме С. Н. Колосова «Операция „Трест“». Впрочем, я встречал его не тогда, когда он с гитарой развлекал свою непослушную, капризную и скучающую от безделья неверную даму сердца, а в лесах, с пистолетом. Отсюда, наверное, и разные образы и оценки.

Радкевич любил выпить и даже границу часто переходил «под мухой». Это было и на руку мне, но и против меня тоже. В таком состоянии его настороженность ослабевала, но росла шумливость и порывистость. И как угадаешь, что взбретет в голову полупьяному неуравновешенному человеку?

Надвигались и другие опасности. Комендант участка А. Кольцов, самым тщательным образом оберегавший мою безопасность в нашей собственной среде, говорил:

— Бомов, мой помощник, что-то заподозрил и на твою заставу просится. У поезда, говорил, тебя видели, в Ленинград без разрешения выезжаешь.

— Что вы ему сказали?

— Грубо оборвал. Предложил ему заниматься своими делами, не вмешиваться в мой дела. В Ленинград, к зубному врачу, ты всегда с моего разрешения выезжал. Самолюбив он, обиделся и пока будет молчать.

— Молчать будет, но слезку усиливает. Хочет сам накрыть.

— Трудно будет с ним, это верно...

Ко всему прочему я еще малярией заболел, с ежедневными приступами. Пришлось доложить С. А. Мессингу — не могу больше, силы на исходе.

— С Радкевичем вы справились и обязаны справиться. О вашей болезни мы знаем, Паэгле сообщил, но ничего сделать пока не можем...

— Но есть же у вас другие «окна»?

— Что? Откуда вы такие вещи знаете?

— По разговорам этих господ знаю, и без них понимаю. Если я по два раза кого-либо только «туда» перебрасываю или по два-три раза только «оттуда» принимаю, то ясно — проходят они и по другим каналам.

— Логично, но пока у нас другого «окна» нет. Намекали создать, но пока нет. Вам придется держаться, любой ценой держаться! Не работайте на заставе, возложите все на помощника, и какое значение застава имеет в сравнении с той работой, которую вы делаете! Делайте только это дело, обеспечьте работу «окна» и все остальное время отдыхайте. Мы же запретили всякие поверки вашей заставы, ну и пользуйтесь этим обстоятельством.

Хорошие и умные люди, понимающие старшие товарищи, но как доказать им, что нет у меня никакого «остального времени», как доказать им, что «окно» не на мне держится, а на доверии ко мне, и я должен его поддерживать своей активной работой на заставе.

Не стал спорить и доказывать, ответил солдатское — слушаюсь и, глотая по 10—12 порошков хинина, продолжал тянуть эту невероятно тяжелую лямку.

С Бомовым Мессинг решил быстро и правильно — не трогать его. Он уже в годах, местный житель, имеет свою усадьбу и из Старого Белоострова никуда не поедет. В случае увольнения он, охотник и рыболов, будет располагать еще большим временем и возможностями для слезки. Подписку о неразглашении Станислав Адамович тоже отклонил — нельзя вводить в дело

новых лиц, не имеющих к нему отношения, — и приказал: командировать Бомова на Каллиловскую заставу без права выезда и держать его там столько суток, сколько потребуется.

И Бомов сидел в Каллиловских лесах часто и иногда — долго. Никаких осложнений там не ожидалось, их сочиняли Кольцов и Паэгле, чтобы Бомова с пути убрать. Ему стало тяжелее, мне легче не стало. Но выигрывало дело, и это главное.

Порошки хинина помогли. Приступы прекратились, только на время ослабили слух и зрение.

Вскоре я попал в очень опасную и тягостную ситуацию, и только благодаря справедливости и объективности С. А. Мессинга и А. Х. Артузова она кончилась для меня благополучно. Тогда я и познакомился с Артуром Христиановичем Артузовым и навсегда запомнил. И не по его бороде, памятной всем, знавшим его, а запомнил по человечности и душевной чистоте.

Дело было в том, что один из наших видных секретных сотрудников при переходе из Финляндии допустил как будто небольшую, но грозившую общим провалом ошибку, и я немедленно доложил об этом Мессингу. Тогда — единственный раз — Станислав Адамович решения не принял, велел вернуться на заставу и ждать вызова. Через пару дней Паэгле по телефону приказал мне выехать в урочище Медный Завод для отбора недостающих бревен на постройку нового здания заставы. Прибыв туда, я понял, что меня ждет проверка. На обочине шоссе стояла большая легковая машина, и в кустах сидели три человека — Мессинг, Шаров и один с бородой — Артузов, как мне сказали, все в кожаных пальто и с маузерами. Понимал я, что тот, виновник дела, пользуется несравненно большим доверием и что мой голос — если наши показания не совпадают, — будет только жалким писком. Произошло худшее — виновник обвинял меня.

В таких обстоятельствах свидетелей не бывает и истинность устанавливается только добропорядочностью проверяющих, их равным отношением к проверяемым, независимо от их прежних заслуг или служебного ранга и, конечно, — логикой. С. А. Мессинг и А. Х. Артузов так и подошли к делу, оправдали меня, но решительно отклонили мое требование не посылать этого человека больше через мое «окно».

— Когда нужно, мы его пошлем, и вы делайте вид, что ничего не случилось. Ясно?

Приказ есть приказ, и я подчинился. Правда, у моего «окна» этот человек появился еще только раз — туда и обратно.

В тот раз в кабинете Мессинга, кроме обычных Салыня и Шарова, был еще кто-то из москвичей — Пилляр или Стырне, точно уже не помню. Разговаривал со мной только Мессинг. Остальные молчали, и было заметно, что обо всем уже договорено и мне остается только выслушать решение.

— Как прошел Радкевич и баба эта?

— Радкевич еще вчера прошел, а эта женщина сегодня, около полуночи. Он, как обычно, был «под мухой», но не сильно пьян и не шумел. Она жаловалась, что вода высокая и холодная, разделась, и ее одежду пришлось через речку перенести мне. Саквояжа опять не доверила — сама в руке держала. В ее поведении ничего особенного не заметил. Была, возможно, более спокойная, чем обычно...

— А знаете, что и она, и Радкевич имели специальное задание тщательно еще раз проверить ваше «окно»? Говорите, ничего особенного не заметили?

— Нет, ничего не заметил. Правда, и времени для беседы оставалось не больше часа.

— Сильно устали?

— Не особенно, но все же две ночи опять...

— И еще впереди по крайней мере три бессонные ночи. А теперь послушайте внимательно. О вашей работе знает Феликс Эдмундович и высоко ее оценивает. Потому вам и доверяется задание чрезвычайной важности: сегодня переправьте в Финляндию вашего старого знакомого, Якушева. Вернется он обратно завтра, и в следующую ночь к нам переходит человек, который по нынешним условиям в сто раз важнее Савинкова. На какую бы станцию, по-вашему мнению, лучше всего его доставить? Нам, — кивок головы в направлении москвича, — рекомендуют Песчаную.

Выбор станции мне не понравился, и я высказал со мнение в целесообразности менять станцию. Люди, «гости» наши, знают Левашово и Парголово, и дорога

туда очень хорошая, глухая лесная вдоль Выборгского шоссе...

— Ну что ж, Парголово так Парголово, — и с Месингом все согласились. — Этого господина — фамилии его я вам не назову — в пути следования никто не должен видеть, он не может исчезнуть в пути, не может быть убит. Как самая крайняя мера — разрешаем вам нанести ему ножевые раны, но не смертельные. Никакие случайности не могут иметь места! Никакие! Вся охрана по пути вашего следования и на станции Парголово будет снята, а за все остальное ответственность несете только вы, и подчеркиваю, — если он будет убит кем бы то ни было или сбежит, вас постигнет самая суровая кара. Не исключено возвращение этого господина в Финляндию, и поэтому чрезвычайно важно, чтобы он вашей настоящей роли не понял. Если все сделаете, как наметили, то вас ждет высокая награда. Вы все хорошо уяснили?

А что ж тут уяснять? И так все ясно. Хочешь кары — ошибись. Не хочешь — не делай ошибок! И я ответил уверенно — все будет в порядке!

Показали мне двух чекистов, из Москвы, должно быть:

— Посмотрите внимательно, чтобы после узнать. Только этим товарищам, и больше никому, вы имеете право передать того господина из Финляндии в тамбуре последнего вагона первого утреннего поезда на станции Парголово. Билет купите вы. Запомнили?

— Да, запомнил.

Переброска Якушева в Финляндию и через сутки оттуда к нам не требовала больших усилий. Две бессонные ночи, и только.

Место для приема того особо важного господина я наметил отличнейшее. Дно реки ровное, высота воды только у нашего берега превышала полтора метра, повозку можно было подать почти к самой реке. Случайности исключались. Бомов сидел в Каллиловских лесах в ожидании запрограммированных командованием — Паэгле и Кольцовым — происшествий, а расположение охраны границы исключало появление пограничников в зоне моих действий. Помощнику я дал строжайшие указания: «Обстановка во многом неясная, напряженная. Сидите у телефона, никуда не отлучаясь. В случае тревоги позвоните Кольцову. Я буду у него».

Конечно, и так бы он никуда не отлучался, поел бы и свалился на боковую. Но справедливости ради надо было и ему выделить долю этих утомительных ночных волнений и тревог.

М.

6

С наступлением темноты подал лошадей почти к самой реке и вскоре уловил силуэты нескольких человек, появившихся со стороны разрушенной таможни. После обычного ознакомления — те ли они и тот ли я, еще несколько заданных на финском языке вопросов:

— Все ли готово?

— Все.

— Охрана как?

— По флангам рассовал. Здесь свободно.

— Лошадь?

— Тут, в кустах на берегу. Давайте быстрее — время не терпит.

На какой-то миг все умолкло, потом до боли заостренный слух уловил осторожные, почти бесшумные шаги человека к берегу и легкие, еле уловимые всплески воды. По ним, хотя человека еще не видно было, заключил — пошел, идет! Не Радкевич, совсем не Радкевич!

У нашего берега течение образовало неширокую, метра в три промоину, в которой вода доходила до плеч среднего человека. Опасаясь, как бы этот господин не струсил, назад бы не повернул, а то, чего доброго, еще упадет и утонет, — я в одежде, скинув только шинель, бросился к нему навстречу, обнял его и затащил на наш берег. Хотя он и голенький был — завернутую в пальто одежду над головой держал, — но тяжелый, мускулистый, черт. Но ничего, осилил я и в душе радовался: «Мой ты теперь, мой!»

Тут бы нам и выехать побыстрее и подальше, но внезапно финны меня к себе затребовали, — на несколько слов, как они сказали. Ничего исключительного в таком требовании не было, и у меня не было убедительных оснований отказать, но понимал — сейчас этого делать нельзя. Если моя игра разгадана, то им не стоит большого труда прикончить меня на том берегу и пустить по течению. А в это время «гость»

с другим, знающим дорогу ездовым, переправленным через реку где-то рядом, уедет, используя мою лошадь и открытую на всю глубину границу. Значит, сегодня переходить границу я не имел права и отказался — мокрый, мол, холодно и время не терпит.

Финны продолжали настанвать, и я не знаю, чем бы это кончилось, но выручил «гость». Узнав от меня, в чем дело и почему не выезжаем, он что-то сказал финнам на непонятном мне языке, и те умолкли.

Садясь в повозку, я вынул маузер из кобуры, взвел его и положил на колени. Так я делал всегда, чтобы наглядно продемонстрировать опасность обстановки и мою боевую готовность. «Гость» тоже стал вытаскивать пистолет из внутреннего кармана, но тут я сердитым шипением остановил его:

— Не смейте! Сидите тихо, здесь я решаю.

Послушался, и это обрадовало. Значит, предупрежден о моем поведении. Всегда важно знать, какими данными о тебе враг располагает. Я был отлично вооружен — маузер на коленях, «Вальтер» на груди под шинелью и в голенище нож. Но оружие не понадобилось. Никто к нам не подходил, не останавливал, и гость тоже враждебных намерений не обнаруживал, только зло и остро высмеивал состояние наших дорог и обещал кому-то в Лондоне, помнится, Мак-Манусу, рассказать об этом. Я только слегка поддерживал этот разговор. В моей роли я дорогами не занимался, и — как не раз предупреждал Станислав Адамович — нельзя переигрывать!

На подходе к мосту через Черную речку остановил лошадь, привязал к дереву и медленно, молча пошел вперед. На вопрос гостя: «В чем дело?», заданный тоже неторопливо и как бы нехотя, ответил:

— Мост тут. Проверю, нет ли пограничников. А вы сидите!

Знал я, что у моста никого не может быть, но я его всегда таким же образом проверял, и об этом знали Шульц и Радкевич и в разговоре с этим господином о пути они не могли упустить такой немаловажной детали. Да еще Мессинг напоминал — все должно быть точно так, как всегда!

Но никогда прежде я так сильно не уставал. Вначале переправил в Финляндию проверяющего «окно»

Радкевича, за ним с таким же заданием последовала Шульц, после Якушев туда и обратно, а теперь еще и этот господин. А это все ночи, одна за другой. Да еще на мне были немалочисленные обязанности начальника заставы. Вот я и вознамерился немножко облегчить себе жизнь: постою, думаю, в кустах несколько минут, вернусь и скажу: «Проверил, ничего опасного нету». Так и поступил бы, наверное, но вспомнился урок, года четыре назад полученный в лыжном отряде Антикайнена в белом тылу, когда, командуя разведвзводом, я из-за невнимательности подвел весь отряд под прицельный огонь сильной, до шестидесяти человек, засады белофиннов. К счастью, никто не пострадал, но позор для меня был великий. Полученный тогда урок вспомнился мне теперь. «Что, повторения тебе захотелось? Одного раза мало?» — выругал я себя и вышел на мост, проверил все, даже под мост заглянул, — и это спасло от беды, может быть непоправимой. Отлучился я на четыре-пять минут, но, к моему ужасу, за эти минуты «гость» исчез. Медленно — торопливость могла бы быть еще одной ошибкой — я осматривал кустарники возле подводы и ругал себя: «Болван, разиня, такого зверя выпустил! И на черта этот мост тебе сдался...» Но тут, и тоже со стороны моста, появился этот мой «гость». Каким милым он мне показался в тот миг! Я был готов его обнять, расцеловать, как лучшего друга после долгой разлуки, но проявление радости было бы тоже ошибкой, и я ограничился скудным ворчанием: «Вам, господин, надо соблюдать мои требования». Ясно было — гость прошел по моему следу и проверил, что я на мосту делаю. Но почему я этого не предвидел и не уловил его шагов? Хорош пограничник с претензиями на звание чекиста!

Мы выехали еще до полуночи, пути неполных два часа. Следовательно, чтобы наш приезд на станцию с прибытием первого утреннего поезда согласовать, нужно было несколько часов провести в лесу. Боялся я этих остановок, боялся, как бы маленькими ошибками, неоправданной торопливостью или медлительностью, особенным вниманием к сказанному собеседником слову, даже улыбкой не к месту, — не провалить дело. Сапер, говорят, ошибается только раз. Солдат тайного фронта таким правом не наделен. Обычные мои собеседники — многоопытные профессионалы — на-

блюдательны, и попробуй расшифруй паутину их наблюдений и выводов.

Впрочем, на этот раз опасности не уловил. Я снял с себя мокрую одежду, выжал из нее воду. Гость меня вопросами не атаковал и за мои действия как будто не следил, развлекал меня со вкусом рассказанными анекдотами из советского быта.

На станцию приехали минут за десять до прихода поезда. У коновязи, полукругом опоясывающей лесной островок, вроде скверика, остановил лошадь и пошел за билетом. Рассчитывал, что за ту пару минут, пока меня не будет, гость не исчезнет, не успеет скрыться в поселке за площадью. Так и вышло. Он только отошел в сторону от лошади и затаился в кустах.

Подошел поезд, и в тамбуре последнего вагона я из рук в руки передал этого господина тем двум чекистам в штатской одежде, с которыми был познакомлен. Дело было сделано!

При прощальном рукопожатии «гость» ловко и незаметно для посторонних всунул в мою руку какую-то жесткую бумажку. Денег я от моих пассажиров никогда не брал — они должны были осесть на мое имя в финляндском банке, а о «чаевых» даже представления не имел. Вот я и подумал, что гость мне какую-то записку передал, важную, может быть, и срочную. После отправления поезда я эту «записку» развернул и был немало озадачен, обнаружив вместо нее три червонца — тридцать рублей, без каких-либо записей и проколов. Что бы это значило?

По телефону из комнаты уполномоченного — в те годы и такие были, — я сообщил Салыню семь слов, мало что говорящих непосвященному: «Груз сдал, упаковка целая, печать не повреждена», и эти слова означали: «гость» не сбежал и не убит в пути, ножом я его не колол и, последнее, — моей настоящей роли он не разгадал. За сдачу груза Салынь меня поблагодарил, а насчет червонцев, о которых я ему тоже доложил, сказал просто: «На чай он их тебе дал, понял?» Тут же намеками дал понять, что после первого успеха движение этого груза в обратном направлении становится еще более вероятным.

Обратно я ехал удовлетворенным и торопился. Надо было успеть до утренней проверки границы дозорами осмотреть место ночного перехода и если следы оста-

лись — стереть. Усталость, наверное, была на грани возможного, и когда напряжение спало, я вдруг ослаб и случилось такое, чего я себе никогда не позволял — уснул сидя в повозке и проснулся только когда местный крестьянин, у которого наша лошадь стояла, меня растолкал:

— Вставай, начальник, приехали!

В ответ я бормотал что-то о крепкой ночной выпивке. Наши отношения были хорошие, дружеские, и он, как старший по возрасту, не раз меня поучал и наставлял. И на этот раз тоже:

— Примечал, как ты по ночам на лошади выезжаешь. Положим, это не мое дело, но я подумал, что к бабам ты либо к девкам... когда же ими и увлекаться, как не в твои годы? Пьянок не одобряю. Не жалеете вы себя, молодые, не бережете...

Как хорошо, что застава не имела своей конюшни! Тогда бы я такими поучениями не отделался...

7

Спустя несколько дней я снова, — как оказалось, в последний раз, — был в кабинете Мессинга. И опять у него многолюдно — неизменные Салынь, Шаров, Симонайтис, заменивший заболевшего начальника отряда А. П. Паэгле, из Москвы Пилляр, вспоминается, и еще несколько чекистов в штатской одежде, тоже москвичи. Приняли приветливо, с настораживающей мягкостью, и стало ясно — все обсуждено и решено, и мне остается выслушать мою задачу.

Мессинг начал с того, что Феликс Эдмундович, — в чекистской среде Дзержинского по фамилии обычно не называли, — благодарит меня именем революции и что решен вопрос о награждении меня орденом Красного Знамени, высшей правительственной наградой в те годы. Я был взволнован столь высокой оценкой моих усилий, благодарен, но чувство настороженности не исчезло. Почему тут так много чекистов, почему здесь Симонайтис?

Далее Мессинг сказал, что последний гость, которого я доставил — это Сидней Джордж Рейли, руководитель восточноевропейского отдела Интеллидженс сервис, старый и опаснейший враг новой России, доверенное

лицо Уинстона Черчилля. Он располагает всеми тайнами реакционных сил Западной Европы против нашей страны, и все эти тайны Рейли должен нам раскрыть. Важно только, чтобы англичане не мешали нам довести расследование до конца и чтобы они не узнали, что эти тайны известны нам. Гибель Рейли явится для англичан тяжелой утратой, и чтобы подсластить им эту горькую пилюлю, показать им, что известные Рейли государственные тайны не стали нашим достоянием, решено на границе, в пределах видимости с финской стороны, точно в то время и там, где финны ждут возвращения Рейли, разыграть сцену его убийства нашими пограничниками. Если англичане узнают, что Рейли убит и тайны ушли в могилу, они успокоятся. И тут же Мессинг меня спросил, где, по-моему мнению, лучше всего эту сцену разыграть?

— Против того места, где Рейли перешел к нам и где должен вернуться в Финляндию. Там, метрах в пятидесяти — ста от самой границы, есть небольшая открытая поляна. Финны увидят вспышки выстрелов, услышат голоса, но из-за дальности расстояния выйти на выручку Рейли не осмелятся.

Мессинг одобрил это место и сказал, что руководителем операции назначается Шаров.

После меня познакомили с одним из москвичей, высоким, как Рейли, и худощавым, как тот, только чуть помоложе.

— Вот этого товарища вывезете сегодня. На границе, напоминаю вам еще раз, — говорил Мессинг, — все должно делаться так, чтобы финны не могли принять эту сцену ни за что иное, как только за убийство Рейли. Вы это хорошо поняли?

Ответил, что хорошо понял, хотя понял и другое — раз операцией будет руководить Шаров, так он все и организует, за все отвечает, а для выполнения моей задачи — стрелять из маузера поверх голов группы Шарова, матерно ругаться и кричать — особого понимания не понадобится. Понимал и целесообразность этой меры и не сомневался в успешном ее проведении, но беспокойство не исчезло — это еще не все, не все...

Далее Мессинг, как и обычно, просто и прямо объяснил: финны не поверят в убийство Рейли, и вся эта затея потеряет смысл, если вы останетесь на месте. Я прошу вас спокойно, с пониманием отнестись к моим

словам. Чтобы все это выглядело правдоподобно, нужен ваш арест, фиктивный, конечно. Вам надо пойти и на это, понимаете — надо!

Значит, дурное предчувствие меня не обмануло, и эту подслащенную пилюлю первым я проглатываю. Было тяжело, но я глубоко верил в Станислава Адамовича, как-то понимал и такую необходимость и, подумав, махнул рукой — сажайте! Просил только — не показывайте меня арестованным моим подчиненным и товарищам по службе. Мессинг ничего не сказал. Не хотел высказать этой тягостной необходимости и обмануть не хотел. Все остальные торопливо, в один голос заверили: «Ну, конечно, зачем же такое». Понимал я — обманывают. Фиктивный арест делается для широкого показа и не может быть тайным. Ну и пусть покажут! Выдержу и это.

«Убийство Рейли» разыграли хорошо, хотя Шаров почему-то место засады перенес метров на сто от ранее намеченного. Покричали мы тут, поругались на трех языках — на русском, английском и финском, постреляли поверх голов друг друга. Потом «Рейли» слег на обочине, замер, а мне связали руки. На выстрелы прибежал председатель сельского Совета, молодой коммунист, толковый человек и хороший товарищ: «Не нужна ли помощь населения?»

Шаров поблагодарил его, похвалил, но от помощи отказался: «Не требуется. Вот этого мерзавца, — показывая рукой на меня, — мы захватили, а того, на обочине — прикончили. Только вы уж об этом никому ни слова». Не на шутку напуганный председатель удалился с завидной резвостью, а Шаров ликовал: «Логически рассуждая, он еще до утра по всему поселку развонит!» Я его веселья не разделял и втихомолку поругивал эту самую логику — тоже мне наука!

Подали машину, вместительный «бьюик». Разворачиваясь, машина сильными фарами осветила меня со связанными руками и «покойника» на обочине. Думаю, что финны, ожидавшие Рейли именно в этом месте, увидели нашу группу, меня, «покойника» на дороге и, конечно, слышали стрельбу, крики и ругань.

«Покойника» за руки и за ноги подняли и втиснули в машину, но он был длинный, и его ноги остались висеть на подножке. Меня тоже в машину, за воротник, и довольно энергично.

Остановились в Старом Белоострове, в управлении пограничной комендатуры, и там меня повели на второй этаж, легкими толчками ускоряя шаг. «Покойник» с торчащими на подножке ногами остался в машине в окружении выбежавших из красного уголка любопытных.

В комендатуре, якобы для участия в срочном совещании, были собраны начальники застав, мои соседи и друзья до нынешнего дня, личный состав комендатуры, включая Бомова и его сотрудников. Меня, в роли пойманного предателя, выставили перед ними, бегло допросили, больше кричали и ругали. Трудно было мне в тот вечер, и показалось, что более тяжкого и унижительного не бывает. Как хотел я обнять этих дорогих мне людей и сказать им: «Не верьте, товарищи! Честен я перед страной, и для вас был и остаюсь верным другом». Но так говорить нельзя было, и я плакал, просил пощады и на себя всякие пакости наговаривал.

Может быть, кто еще помнит этот вечер 25 сентября 1925 года. Я его не забываю...

В Ленинграде меня поместили в гостиницу «Европейская» со строгим требованием из комнаты не выходить. «Кормить и поить будем в номере», — объяснил Шаров. Номер был удобный, с ванной, на столе достаточно еды и питья вдоволь. В последнюю неделю я очень мало спал — часа два-три в сутки, и прошедший день был очень тяжелым. Но хотя ночь была уже на исходе, мне не спалось и к еде я не прикоснулся. Только в эти тихие предрассветные часы, когда заботы последних дней миновали, я начал понимать, что вместе с ними миновала и вся прожитая жизнь, что у меня вовсе нет прошлого, знакомых, товарищей. Некому руку пожать, поздравить с праздником или успехом. А если кто и вспомнит — то с проклятием. Значит, мне надо отказаться от моего прошлого и начинать все сначала. Но где исходная точка новой жизни, каков ее облик?

Рано утром позвонил Салынь и сообщил, что ко мне идет сотрудник с поручением от Мессинга и все мне расскажет. Другим двери не открывать. Тот вскоре пришел, и, кажется, я его немного знал — из старших сотрудников управления. От имени Станислава Адамовича сообщил следующее:

— Есть предположение, что из Финляндии про-
рвался ваш старый знакомый Радкевич. Белые ищут
Рейли, но понимают, что найти его трудно — он в моги-
ле или в тюремной больнице, и потому они ищут вас.
Если вы на свободе, значит, все нити к судьбе Рейли
порваны. По этой причине из комнаты не выходить,
никому дверей не открывать. Ночным поездом поедете
в Москву.

Перед уходом он спросил меня:

— Что передать Станиславу Адамовичу?

— Привет передайте и скажите, что все понял.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

С моим фиктивным арестом заканчивается мое уча-
стие в чекистской операции «Трест». Одновременно
исчезает начальник 13-й заставы Сестрорецкого погра-
ничного отряда Тойво Вякя, и вскоре в глухой черно-
морской бухте Дюрсо появляется новый начальник за-
ставы Иван Михайлович Петров.

Я был награжден орденом Красного Знамени, и его
порядковый номер, еще до нумерации РСФСР — 1990;
был представлен В. Р. Менжинскому; много внимания
уделил мне незабываемый А. Х. Артузов, со мной бесе-
довали В. А. Стырне, Р. А. Пилляр, начальник ГУПВО
З. Б. Кацнельсон и член коллегии ОГПУ Медведь. Еще
долгие годы, по существу до смены поколений, неко-
торые из перечисленных лиц уделяли мне внимание
и, проезжая через Москву, я изредка бывал у них. Они
меня информировали о поведении Рейли в Москве до
его ареста, о дальнейшей судьбе Захарченко-Шульц,
Радкевича и о поездке монархиста Шульгина по стра-
не под негласной опекой ОГПУ.

В процессе проверки партийных документов, — ка-
жется, это было в 1934 году, — возник вопрос: почему
я, финн, имею русскую фамилию? Выручили все те же
чекисты. Они удостоверили, что перемена фамилии вы-
звана служебными обстоятельствами и новая фамилия
узаконена. Еще и любезность добавили: «Человек
очень преданный и очень храбрый».

В последний раз я слышал об А. Х. Артузове осенью
1936 года от командарма I ранга И. П. Уборевича. Пос-
ле полевых учений четвертого корпуса в разговоре

с полковником Шаховым и со мной он рассказывал, что именно Артузов достал полные данные об изобретенном и введенном в строй немцами «чудо-танке» из серии «Т».

— Не понимают немцы требований будущей войны, — говорил Уборевич. — Не таким должен быть танк. Танк будущего — это наш танк, и появится он скоро...

И у нас появились такие танки. Немецко-фашистские войска познали их силу. Но Артузов и Уборевич этого не увидели. Их мы не уберегли...

Шли годы, и операция «Трест» пребывала в забвении, пока роман-хроника Л. В. Никулина «Мертвая зыбь» не оживил былое. Книга эта, несмотря на огромный общий тираж, давно стала библиографической редкостью. Хорошо и убедительно, с большим художественным вкусом она была экранизирована С. Н. Колосовым в многосерийном телефильме «Операция «Трест», и этот фильм уже почти десять лет хорошо принимается теле- и кинозрителями.

С Л. В. Никулиным у меня вскоре сложились хорошие доверительные отношения, и в одной из бесед я упрекнул Льва Вениаминовича в нарушении им масштабыности в отношении личности А. А. Якушева. Он, против моих опасений, не обиделся и просил обрисовать ему «моего» Якушева. Вот примерно содержание этой нашей беседы:

— Якушев, — утверждал я, — личность выдающаяся, но трагическая, втянутый в борьбу больших общественных сил, он, образно говоря, оказался между молотом и наковальней...

— Но ему доверяли?

— Доверяли, хотя это понятие не всюду однозначное. Больше тайны ему доверяли после того, как его возвращение в белую среду стало абсолютно невозможным; после того, как он по-настоящему осознал силу и возможности таких чекистов, как Артузов, Стырне, Пилляр, и понял, что он не один, что есть еще Потапов, Ланговой, Власов, Берг и не только они...

— Вы хорошо знали его?

— Ну как вам сказать... Знакомство не близкое, но и не шапочное. Он несколько раз проходил через мое «окно» еще в начале двадцать четвертого года, и я считал его опасным и умным врагом. А настоящее мое знакомство с ним состоялось в кабинете Мессинга.

Станислав Адамович был не один, у самых дверей кто-то сидел, почти закрывшись газетой. Мессинг просил рассказать, что за человек прошел ночью через мое «окно» из Финляндии. Едва я успел ответить, как слышу, кто-то за моей спиной складывает газету и у стола появляется этот мой ночной «гость» из Финляндии — Якушев! Было вначале неловко, потом посмеялись, пошутили. После этого Якушев переходил границу еще раз, туда и обратно, перед переходом Сиднея Рейли.

— А как вы его оцениваете политически?

— Боюсь ошибиться, но мое мнение такое: Якушев прежде всего был патриотом России, но не думаю, чтобы он был сторонником Советов, особенно в начальный период. Но, умный человек, он понимал, что Советы вызваны к жизни самой историей, что вне Советов не может быть единой и сильной России, а только закабаление ее более могущественными в те годы западными державами на долгие времена. Он имел выбор — либо Россия, но тогда и Советы, либо без Советов, но тогда и без Родины. И Якушев избрал Россию.

Потом я спросил у Льва Вениаминовича — не кажется ли ему, что в книге «Мертвая зыбь» не начало операции? Он улыбнулся:

— Да, действительно, в ней нет начала операции, а только начало романа. Я писал параллельно два романа — «Мертвую зыбь» и другой, о более раннем периоде, о заговоре профессора Таганцева, или Петроградской боевой организации — «ПВО», как они сами себя именовали. В том, пока незаконченном романе, начало прямых связей внутренней контрреволюции с белогвардейской эмиграцией, в частности с Врангелем через его посланца, террориста Лебедева. Выход этой, по существу первой книги задерживается. Не хватает еще многих данных, и как бы нужны мне были люди, знавшие это дело!

Тут мы условились, что я попытаюсь найти таких людей и сколько сумею — подберу ему нужные справки. И люди нашлись, как и справки, и Лев Вениаминович упорно работал над этой книгой, несмотря на тяжелую болезнь. 22 февраля 1967 года он писал мне: «Хотел бы с вами повидаться». В ближайшие дни я выехать не смог, а 9 марта Никулина не стало. Пропал и почти законченный автором роман. При капитальном ремонте квартиры рукописные листы разобщенными

попали в мешки с большим количеством других бумаг, и кто теперь разберется в них...

Чекистская операция «Трест», несомненно, была крупнейшей оборонительной акцией органов нашей государственной безопасности в первые годы существования Советского Союза, и акцией результативной. Чекистам удалось ликвидировать белое подполье в стране, разгромить белые шпионские и террористические гнезда, овладеть их связями с активной белогвардейщиной за рубежом и, используя эти связи, глубоко заглянуть в святое святых — тайны Интеллидженс сервис и в планы генеральных штабов ряда западных стран, направленных против нашей страны.

Специальный корреспондент «Известий» в Лондоне М. Стуруа так оценивает обстановку тех лет: «Имелся разветвленный заговор империалистических держав против молодого советского государства... нити этого заговора тянулись за океан, опутывали Западную Европу и Балканы, свертывались клубком в кулуарах Версаля и расправлялись взрывной пружиной на улицах Москвы и Петрограда».

А преступления С. Дж. Рейли против нашей страны действительно были огромны: организация покушения на жизнь В. И. Ленина — Рейли; попытка подкупа охраны Кремля для пропуска в него контрреволюционных банд — Рейли; организация мятежа эсеров в Ярославле и Муроме — Рейли; активнейший участник «заговора послов» — Рейли; организатор политической и финансовой помощи в Западной Европе контрреволюционеру Савинкову — Рейли; активнейший участник в организации новой «всеобщей интервенции» и личный доверенный ее главного вдохновителя Уинстона Черчилля — Рейли.

Рейли стремился к нам, чтобы на месте изучить возможности сильного, как он полагал, белого подполья, непосредственно возглавить его и, по обстоятельствам, — возвыситься на этой русской смуте. Чекисты тоже хотели встречи с ним, чтобы овладеть новейшими тайными планами реакционного мира против нашей страны, известными Рейли, завербовать его и вернуть в Англию нашим агентом. Красивый план, в нем ощущается почерк Артузова и его соратников. И они не ошиблись. Все шло по плану. Рейли, спасая свою шкуру, выдал чекистам все известные ему тайны и охотно

пошел на вербовку. И он на нас работал бы, не вырвал-ся бы из рук чекистов, но судьба решила иначе.

Фиаско С. Дж. Рейли было унижительнейшим поражением всей могущественной разведки Великобритании, равного которому она не знала за всю многовековую историю. И кто нанес этот не джентльменский удар? Те дилетанты, равных которым, по мнению Герберта Уэллса, мир не знал со времен раннего мусульманства. Прискорбный случай!

Реакционные круги Запада высоко оценивали умение и способности С. Дж. Рейли. Еще десяток лет назад Р. Брюсса-Локкарт, сын почтенного джентльмена Р. Локкарта, бывшего английского посла в России и одного из главных организаторов антисоветских заговоров, решением нашего трибунала от 28 ноября 1918 года объявленного врагом трудящегося народа, — свою книгу о Сиднее Джордже Рейли именовал «Ас среди шпионов». Не без гордости автор этой книги приводил слова покойного Флеминга о том, что выдуманный им шпион Джеймс Бонд — ничто по сравнению с реальным Рейли.

Попытка Захарченко-Шульц-Стесинской-Вознесенской взорвать или поджечь малое здание ОГПУ на Лубянской площади была только мистификацией, и только поэтому появилось в «Известиях» сообщение об этом. При бегстве в Польшу она была смертельно ранена и скончалась, не приходя в сознание.

Радкевичу удалось бросить гранату в бюро пропусков в здание ОГПУ. Это случилось в субботний вечер, когда посетителей уже не было, и никто не пострадал.

Радкевич и его спутник Мономахов скрылись, но были настигнуты в Подмосковье. При этом Радкевич застрелился. Судьбы Мономахова не помню.

Мелкими группами или в одиночку были уничтожены и остальные белоэмигрантские «боевики» — одни в Карелии, другие в Ленинградской области.

В операции «Трест» я был исполнителем и, тешу себя уверенностью — точным. Конечно, были немалые трудности, но до конца моих дней останусь благодарным судьбе за эту серьезную школу жизни. Не легко, с болью, давалась и новая жизнь, особенно в первые годы, когда так живы были образы былого, а новые привязанности еще не сложились.

Впрочем, по ломаной линии жизнь лучше познается...

Между документально проверенной действительностью и исторической правдой большая разница.

Лион Фейхтвангер

1

Незаметно пролетело время, и вот мы, выпускники Высшей пограничной школы, разъезжались по окраинам страны. Откуда кто на учебу прибывал—туда и направляли. Семиреченские, к примеру, опять на Тянь-Шань возвращались, а уссурийские или приамурские — на Дальний Восток. Многие на север поехали. Я в некотором роде старого места не имел, но бесхозным не оставили. На завод какой-то, в Забайкалье, направить собирались. Название того завода сразу толком не разобрал, а потом и вовсе забыл. В сущности, никакого значения оно и не имело. Узнаю, думалось, когда проездные выпишут и скажут:

— Ну, товарищ, пошевеливайся!

Служба на заводе привлекала меня. Я не удержался и похвастался:

— На завод меня... Туда на постоянно...

— На какой завод, Ваня?

— Забыл я его название. В Забайкалье он...

— Нерчинский?

— Точно! Так этот завод называется.

Хочот тут поднялся страшный. Одни смеялись над моей неосведомленностью, а другие, как обычно, за компанию. Оказалось, что Нерчинского завода нет и не бывало. Пока еще только место так называется. Там тайга одна, глухомань и ничего более. Советы мне давали самые ценные. В особенности, чтобы второпях мимо того «завода» не проскочить:

— Следи, Ваня, и головой работай!

Провожая меня на поезд, товарищи шутили:

© «Карелия», 1973

— Не иначе, Ваня, как «рука» у тебя есть. Без «руки» ты бы такую благодать не схапал...

Поездом добрался до Сретенска на Шилке. Дальше поезда, не ходили и автомашины тоже. Своих машин мы выпускали мало, всего несколько сотен в год, как бы примериваясь, по плечу ли нам и такое производство. И, хотя шла оживленная внешняя торговля, наши золотые запасы и ограниченные экспортные возможности на приобретение автомобилей мы не разбазаривали. Другие мы машины покупали, такие, которые потом для нас будут выпускать всяческие машины, в том числе и автомобили. Умную мы вели экономическую политику. Может быть, и жесткую, но зрелую и дальновидную.

Пройдут годы, и потомки, наверное, нас кое за что осуждать будут. Свой путь они изберут неторопливо и многих топей минуют. О нас скажут, возможно, как мы сами нередко говорим: «Не понимали этого наши предки». «Не учитывали они того...» Или: «Где уж им было, при таком уровне науки и техники...»

Может быть, произойдет именно так или, может быть, совсем не так, но в одном уверен: за политику индустриализации похвалят. Тут нельзя не похвалить!

Автомашин в том краю тогда не было, и для переездов пользовались «обывательскими» подводами за наличные деньги. Командированным выдавались «подорожные». Старый это был порядок, но свои преимущества имел — отчетности меньше. Выпишут в финансовом отделе положенные копейки на каждый километр колесного пути, и остальное уже — твое дело. Хоть пешком топай! За подорожные деньги отчет не требовался. Доверчивые были финансовые работники и наивные. Раз человек на месте и службу несет, рассуждали они, стало быть, он прибыл. Ныне нипочем бы не поверили, и объяснение такое есть, весомое:

— Я тебя, мил товарищ, в дело не пришью.

И верно! Видано ли, чтоб живого человека в дело пришивали?

Расстояние было порядочное. Триста верст, говорили. Может быть и больше. Кто эти версты тут измерял?

Коней предлагали многие. Частники, конечно. Были

они изворотливые, нэповской выучки. А кони пугали своим видом. Никакого конского габарита в этих маленьких мохнатых зверьках. Только и виднелись за передком повозки поднятые крючком хвосты и несоразмерно большая дуга коренного. Путники, следовавшие в те края за свой счет, довольно шумно сговаривались с владельцами лошадей, отстаивая каждый рубль. С нами, военными, вопрос решался проще. Частники, занимающиеся извозом, до точности знали, сколько командирам подорожных выписывают. Эту цену они и назначали, более высокую, чем платили все остальные. И знали они — уплатим!

— Бог ты мой, но когда же я на них доберусь...

— Добрые кони, паря, — успокаивал ездовой. — За трое суток добегут.

Лошади действительно оказались превосходными. Корейной пошел ходкой рысью прямо с места, а пристяжные поднялись на галоп. В галопе, положим, никакой нужды не было. Пospели бы и рысью. Для вида он тут, для форсу.

Так эти кони потом и бежали, час за часом. Остановки лишь изредка — для кормления. Дорога старинная была, и ее по-прежнему каторжным трактом называли. По ней шли первые декабристы и русские женщины, воспетые Некрасовым, по ней шли Чернышевский, Михайлов и Феликс Кон. По ней шли тысячи на Зерентуй, на Кадаю...

Сохранилась не одна только дорога. Встречались полуразвалившиеся станционного типа строения, рядом с ними ограда и навес. Первые, по-видимому, для начальства и охраны. Ограда и навес — каторжанам. Невеликие господа — потерпят...

В дорожные думы врезался голос ездowego, неугомонного песенника, тянувшего какой-то утомительный, лишь ему понятный мотив без слов.

— Хоть бы пластинку поменял. Воешь всю дорогу.

— Я, паря, не вою. Я пою. Другую песню не можно, потому я слова забываю. Этой песне всякие слова подходят. Когда еду, всегда ее пою...

На исходе третьих суток показался и мой завод. Сотни две деревянных домов у подножия сопки, высокой и голой, с крестом на макушке.

— Вот, паря, он и есть завод, — пояснил ездовой. — Серебро тут добывали и людей сюда заводили, арестан-

тов. От тех, должно, это слово здесь и пошло. Давно это было, уж запомнил когда. При Катерине, кажись...

Уже, минуло пять лет, как Нерчинский край законодательно вошел в состав РСФСР, но он во многом оставался обособленным, остро чувствовалось прошлое края, сказывались остатки «буферного» строя и тяжелое наследие войны.

Существовали Советы, и они являлись органами власти. Но, наряду с ними, действовали комитеты бывших партизан, опирающиеся на партизанские группы, взводы или сотни, вооруженные винтовками, шашками, гранатами и неконтролируемым количеством боеприпасов.

Такие партизанские комитеты не были враждебны власти и партии, но, плохо и неправильно руководимые, они ограничивали фронт деятельности и права местных Советов.

Партийные организации малочисленны. На несколько селений один или два коммуниста, их героическая работа вызывала у нас, военных, особую признательность и уважение.

В крае только-только еще налаживалась пограничная охрана. Заставы по 10—12 всадников располагались одна от другой в 60—80 километрах. С некоторыми фланговыми заставами, помнится, не было телефонной связи. Горные речки, впадающие в Аргунь, в ледоход прерывали всякое сообщение с этими заставами на неопределенно долгое время. К осеннему ледоставу нам выделили голубиную станцию связи. Но ничего из этого не вышло. Коршуны или другие хищники уничтожали голубей на подъеме, и скоро от нашей станции остались только скучающий ее начальник и пустая кибитка на колесах.

Немногочисленные пограничные заставы с необычайным мужеством отстаивали государственные интересы нашей страны и обеспечивали безопасность жителей пограничной зоны. Условия были тяжелые, таежные. И суровой была борьба одиночных или парных пограничных нарядов с вооруженными контрабандистами и диверсионными группами. Побеждали пограничники, но и мы несли потери. Только в мою бытность

на одном третьем участке в боях погибло более десяти пограничников.

Служебная нагрузка была предельной. Считалось удачей, если для пограничников удавалось выкроить непрерывный семичасовой отдых раз в пять — семь суток. В остальное время отдыхали только днем, по паре часов в два-три приема.

Такая служебная нагрузка стала нормой жизни. Мы привыкли к ней, и даже перспектива ее увеличения никого не пугала.

Начальник политического отдела округа Грушко, приветливый, умный, несколькими к месту сказанными словами поощрял нас на новые усилия.

.. За Аргунью наш сосед — огромный Китай. Не более враждебный, чем, допустим, Финляндия тех лет или Польша. Более таинственный только и настораживающий. За броским, напоказ, доброжелательством скрывалось стремление нанести хотя бы комариный укус, если большой удар не удался.

При провале, конечно же, подкупающе ласковая улыбка и неизменные три слова:

— Моя не знае.

Протестуй тут и толкуй о недопустимости засылки в наши тылы диверсионных групп и организации тайного уноса золота! Что бы ты ни сказал, в ответ получишь все те же слова:

— Моя не знае.

Не о народе я говорю. Трудолюбивый и покорный, он сторонился общественных событий и безропотно переносил тяготы суровой и несправедливой жизни. На лучшее надеялся и, кто знает, может, верил в это лучшее? Тут ли, при жизни еще, или уже там, вдали...

Центральная власть в Китае была иллюзорной. Настоящими хозяевами огромных областей оставались феодальные владыки, и между ними шли непрерывные войны. Один ли против другого выступал или несколько против одного — зависело от коммерческой прибыльности самой войны. Войска были дешевые. Солдат на собственных харчах стоил в месяц примерно три нынешних рубля. Но эти деньги из собственного кармана феодала-военачальника. В боях могли быть потери, и поэтому стороны избегали сражений. Больше маневрировали и запугивали. По ночам в стан врага кошек кидали, окрашенных фосфором. Такие огненные шари-

ки, от страха и боли с невиданной скоростью скакавшие по бивуаку, поднимали панику и обращали противника в бегство.

Несмотря на весь свой фанатический антисоветизм, феодальные владыки на большие конфликты с нами не шли. Коммерческое благоразумие, можно полагать, подсказывало невыгодность таких акций.

Но гоминдановская власть, достигнув пограничной зоны, размахнулась куда как широко. Начала она с разгрома профессиональных организаций советских рабочих и служащих на Китайско-Восточной железной дороге — совместно управляемом коммерческом предприятии — и в дальнейшем навязывала стычки и бои на всем протяжении советско-китайской границы, вошедшие в историю под названием «конфликт на КВЖД».

В отражении этой авантюры в первую очередь участвовали мы, пограничники, и, возможно, на своих плечах мы вынесли главную тяжесть, но решающий удар нанесла гоминдановцам славная Отдельная Дальневосточная армия под командованием легендарного Блюхера. После этого, к зиме 1930 года, в Забайкалье установились условия относительного мира.

Отдельным командирам был разрешен выезд в Москву, куда нас приглашали рабочие коллективы. Я, в частности, ездил на завод «Борец». Руководство ОГПУ наградило всех нас, делегатов, именными часами, и мы радовались товарному знаку этих часов: «Гострест, точмех, Москва».

За эти же тревожные годы в Забайкалье немало было сделано по усилению пограничной охраны. Наши задачи стали еще более сложными и ответственными.

Пекинский Русско-Китайский трактат 1860 года предусматривал упрощенные правила перехода через границу и допускал беспошлинную меновую торговлю. Можно полагать, что такие правила соответствовали духу своей эпохи и отвечали интересам обоих государств. Однако теперь все изменилось. Аргунь стала границей между двумя мирами.

Китайская реакция наступала, и теперь старые упрощенные правила перехода через границу стали оружием этой реакции. В двадцатые годы в районе Трехречья, в непосредственной близости от нашей границы, сложился целый автономный район, населенный

белыми казаками Унгерна, Калмыкова и Семенова. И мало ли еще всяких беглых селилось здесь! Не все в этой белой среде сохранили воззрения периода гражданской войны. Непоследовательно, робко, но новое росло и там. Однако главари этого района имели устойчивые связи с белыми центрами в Харбине и Шапхае, китайские власти поощряли их контакты с японской военщиной. Здесь вынашивались против нас свирепые и подлые планы диверсий.

Закрывать бы эту границу надо было и прервать связи нашего населения с Китаем. Но не закроешь ее! Мы, пограничники, такими правами не наделены. И Хабаровск не закроет, и Москва тоже: это же традиции! По обеим сторонам границы население смешанное, и люди десятилетиями общались.

Мы нервничали, спорили, ругались. С руководящими товарищами нередко возникали разговоры примерно в таком духе:

— Ну, как у вас тут взаимоотношения с Китаем?

— Требуют охотников. До оскорблений доходит: «Моя говорит давай охотников, а твоя все равно как дурак, ничего не понимае...»

— Больное это место у них. Доход от охоты — бизнес местной администрации. А казаки как?

— Охотно идут. Хотя часть пушнины и отбирают китайские начальники, но казакам тоже остается.

— Ну, пусть идут. Пропускайте.

— Непонятно. Мы должны пропускать казаков в это белогвардейское гнездо?

— Не о гнезде речь. Не передергивайте! Я говорю — на охоту пропускать, организовано, по требованию китайской администрации...

— Но есть и такие, которые ходят в Китай, как в школу антисоветизма. И, как из школы, возвращаются с конспектами в виде антисоветских листовок и воззваний...

— Таких не пускать. Не давать таким пропусков...

— До чего же все просто! Войди в каждого, как дух святой, и отдели неверных от верных и добрым голубком оберегай избранных своих...

Но можно ведь и обидеть кого то напрасным подозрением, можно и антисоветчика не разглядеть. Да и вообще наши люди, перейдя границу, будут находиться в стане врага всю долгую зиму. И может случиться, что

казак уйдет туда нашим, а вернется «с мозгами набекрень»...

Давили на нас и местные представители Наркомвнешторга:

— Жаловаться будем. О пушнине не думаете, товарищи.

Думали мы и о пушнине; не раз втолковывали нам, что для выполнения пятилетки нужна активная торговля, на мировой рынок надо выбрасывать все, вплоть до мелочей. И это даст стране заводы, станки, редкие металлы, кабель и еще валюту для оплаты иностранных специалистов. А пушнина вовсе не мелочь!

И все же у нас была своя, только нам доверенная задача: охрана неприкосновенности границ, обеспечение революционного порядка в приграничной зоне.

По малозаметным признакам мы улавливали усиление вражеской активности. Диверсии на наших тыловых объектах и контрабандный увоз золота в Китай оставались, но главное острие теперь было нацелено на станции и поселки. Это грозило расширением фронта борьбы.

Кое-что мы уже знали. Кое о чем догадывались, но многое оставалось в тени.

2

Земля уже сухая была, по-весеннему голая, и, легко подпрыгивая, мяч покотился далеко в аут. Следя, куда его черти понесли, игроки заметили трех всадников, устало продвигающихся к воротам. Всадники тут не редкость и уставшие кони не в диковинку. Но эти вселили настороженность. В предвкушении отдыха и корма кони к воротам идут бодро. Даже самые уставшие голову высоко держат и трензелями позванивают. И грязных коней к ночлегу не приводят. За километр или два, где водоемы встречаются, всадники остановку делают. Все у коня почистят — ноги и между ними, копыта, подковы проверят и стрелки. Подруги отпустят, стремяна приберут, чтобы коня не беспокоили, мундштуки снимут и трензеля. Дальше, до самого ночлега, — только шагом на поводу, чтобы сердце успокоилось и дыхание до нормы довести. И себя всадник не забудет, своего внешнего вида.

Не так тут было. Кони изнуренные и грязные, и шли они, пошатываясь, как и всадники, еле передвигая ноги. Настороженность перешла в тревогу: что случилось? В чем дело? Игра расстроилась, и за мячом уже никто не следил. Командиры подбежали к воротам и остановились у коней. Женщины сиротливо сгрудились на дальнем краю площадки. Жалели они, что игра прервалась и пропал тот чудесный час, когда перед началом ночной части рабочих суток на площадке собирались все командиры, члены семей и свободные от службы пограничники. Не так уж много веселья видали наши жены в таежных поселках, чтобы недооценивать эти очень милые часы.

Молодые они, старшей не минуло двадцати пяти, но многие тревоги уже испытали. И знали они: к тем воротам их сейчас не пустят и никто не скажет, что случилось. И муж ничего не скажет, разве только по телефону позвонит:

— Не жди меня сегодня. И завтра тоже. Скоро я. Словом, жди письма...

Так годами. И правило такое выработалось: о служебном говорят только на службе!

Немало тревог выпадало на долю наших женщин, и держались они мужественно, проявляя находчивость и смекалку. Возвращается муж после внезапной долгой разлуки, и к ночи, когда обо всем поговорено, жена таинственно мурлычет и шепчет:

— Знала я, где ты был. С самого начала знала. Все до точности. В тайге ты был. У трех хребтов...

— Господи! Кто тебе такое наплел?

— Ничего не наплел! Все верно узнала. Сама. Хочешь, расскажу, как узнала? Только ты слово дай, что ругать людей не будешь. Обманула я их, опутала. Ну, дай слово!

Слово такое давать можно. Ничего в нем нету особенного. Это ж мое слово, и я ему хозяин. Даю его, когда она так пристает, и обратно отберу, когда надобность в такой моей доброте минует.

— Обещаю. Валяй!

— Пошла я к Осипову, писарю. Такой дурехой прикинулась, до ужаста: «Почта еще не ушла? Муж позвонил, чтоб белье ему послала. Я еще успею? Мигом я». Посмотрел он на меня удивленно и говорит: «Не может такого быть, чтобы он позвонил! Нету туда телефона

и почта не ходит». Смекнул потом, что проговорился, и начал вилить и изворачиваться. Но мне больше ничего и не требовалось. Ты вниз по реке поехал, и раз ты там, где нет телефона и куда почту не возят, значит — в тайге. Понял теперь? Запомни только, ты слово дал...

Тут бы и сказать ей, что тому слову я хозяин и сейчас его обратно беру. Только не напугаешь ее такой угрозой. Знает она, никому муж ничего не скажет. И он понимает, не будет тут ни ругани, ни разговора.

Может, такая слабость на него тут внезапно обрушилась? А может, и другое вовсе? Вспомнил ее одиночество и волнения в долгие дни и ночи: вернется ли муж сегодня, и вернется ли вообще?

Наконец лошади подошли к воротам. Высокий буланый опустился на колени и повалился на правый бок. Силился поднять голову. Убедиться ли, что добежал, все в точности выполнил? Или на прощание уже с нежаркими лучами весеннего, последнего солнца? Сил уже не хватило у буланого. Голова не поднималась, и конь успокоился, вытянув шею. Свое он добежал...

Другие два еще стояли, медленно и тяжело покачиваясь. Из ноздрей низко опущенных голов вытекали тонкие красноватые струйки. И тут тоже все...

Пограничники, уставшие и замученные, даже постаревшие, как бы опасаясь, что их до конца не выслушают, упустят важное или не как надо поймут, перебивая один другого, твердили:

— Не хотели мы такого, товарищ начальник. Не хотели! За конями следили. Жалели мы коней. Сколько сами рядом с ними пробежали... Но эти два креста на конверте, товарищ начальник...

Никто пограничников не обвинял. Знали, без последней смертельной нужды конник такого не делает. Может, по незнанию кто себе и позволит. Поговорка даже была: «Самые лихие конники — это пехотинцы». Но коннику конь — товарищ, и кто ж друга погубит!

Подошел Чесноков, комендант участка. Фельдшера позвал, ветеринарного:

— Скажите, чтобы вывели. За конюшни, где про-

шлогодняя солома. Незачем им тут... И этого убрать, буланого...

Состояние пограничников было тяжелое. Девяносто километров через сопки, горные речки и бурелом и все такой скоростью. Каминского вызвали, старого лекпома. Еще на русско-японской санитаром был. Фельдшером прошел империалистическую и гражданскую. Врачом партизанил и служил на золотых приисках. Наконец, попал в пограничники лекпомом. Постарел бывалый медик, и подспела пора на отдых. Уже и приказ об увольнении пришел, и Каминский, ожидая преемника, сколько уж раз свои баночки и бутылочки проверял, чтоб сразу все сдать новому. Тот почему-то в пути задерживался, и Каминский ходил и поругивался: «Вот молодежь стала! В пути осмеливается задерживаться...»

— Товарищ Каминский! Обследуйте, пожалуйста, этих пограничников. Быстро только, пожалуйста.

— Что на них глядеть. Видывал! Спирту дайте по стакану, и нехай спят! Ничего им больше не треба.

Наметан глаз у Каминского, и солдатские хвори он с ходу угадывал. Для уставших людей лечение знал вернейшее: всем по стаканчику перазведенного и — спать. И всем это лечение на пользу шло.

Командиру нелегко поставить на конверте два креста. Знает он, что это значит. Но случается, делает и это. И тогда надтреснутым голосом, в крик командует:

— Гнать! Понимаете, гнать!

Время было суровое. Стычки и схватки с врагами возникали довольно часто и внезапно. Побеждал в них тот, кто прибывал на место с большими силами. Еще Наполеон учил: «Правда на стороне более многочисленных батальонов». Нам не до батальонов! Всадников бы несколько. Звено или отделение, но чтоб в ту самую нужную минуту...

Два креста на конверте поставил и Павел Иванов, начальник отдаленной заставы. Замечательный был конник, выпускник Тверской кавалерийской школы, и тогда он иного решения принять не мог. Он пересылал донесение начальника нашей левофланговой заставы Дробина:

«По сообщению двух казаков из Дакталги, там в ночь на 1 Мая совершен какой-то переворот. Такие же перевороты совершены еще в двух поселках по нижне-

му течению Газимура. В Дакталге и Аркие убито не менее двадцати человек советского актива и районный уполномоченный ОГПУ. Сформирован повстанческий полк, названный Первым. Полком командует и убийствами руководит известный вам Астафьев Игнатий, но он не один.

С ним немало неизвестных казаков из других каких-то мест. На конях все, с оружием. Конный разъезд ближайшей группы содействия пограничной охране обстрелян из большого числа винтовок на тропе на Газимур. Положение очень сложное. Усиливаю оборону заставы и веду разведку. Дробин».

Нас уже мало чем можно было удивить. Но такое — впервые. И, главное, не могли понять, что там случилось, на Газимуре? Знали мы, Дробин не паникер и сообщение этих казаков он точно передал. Но верны ли эти сообщения, и в какой степени они верны?

Налет какой-то неизвестной ватаги? Но откуда она взялась? Мятеж кулачества? Но почему они начали с убийств, ведь этим они явно сократят массовую базу повстанчества?

А что ж тогда? Что?

Далеко очень туда, и не наша там зона. Потому так мало о ней знали. Понимали, конечно, — мы ближайшая реальная сила и с нас спросят!

Зашел Чесноков, бледный и подчеркнуто спокойный. Маска у него такая. Потому и знали — взволнован он, взвинчен. Со штабом отряда, видно, ему связаться не удалось. С начальника связи, можно полагать, он за неисправности на линии хорошую стружку снял.

— Справку на Астафьева Игнатия, срочно! Численность населения на левобережье! Дороги и тропы на Газимур и оттуда в глубину и на Шилку. Переправы. Буду на линии...

Астафьева я немного знал. Обязан был таких знать. Численность населения — это тоже меня касалось. Остальное — дело Воровского, следующего за Чесноковым по старшинству. Ничего он в дорогах и переправах не соображал, но докладывал всегда удачно. Получались у него доклады, особенно устные.

Игнатий Астафьев малое время партизанил против японцев. До помощника командира полка продвинулся, пока не разобрались в нем и не выгнали. Казачишка так себе. Пороху не изобретет. Но вес в станице имел

немалый. И приобрел его немногословием, ведь не сразу же понимают окружающие, что такая молчаливость от пустоты.

Станичные дела, самые нужные и вовсе ненужные тоже, всегда на сходках решали. Так было заведено с давних пор. Все шло чинно и благородно, пока почетные старики свое веское мнение высказывали, а остальные только присутствовали и учились управлению станичными делами. Не то теперь стало. Одни старики поумирали, другие в бегах оказались, а которые и разума лишились с преклонными годами. Вот и пошло. У иного казака и седины на голове почти не видать, а туда же, в станичные дела его тянет, вмешивается. Ну, конечно же, ничего путного у таких не получалось. Вопрос о сенокосах ставился, к примеру, или насчет бугая. Но тут всякие мелкие обиды вспыхивали. Кто-то на соседскую невестку маслено посмотрел, а другого вовсе снохачом величали. Галдеж поднимался и такая перепалка, что мало кто уже и помнил, какой вопрос решался и кто и что предлагал.

Астафьев сидел и молчал. В споры не вмешивался и изучал, какая тут сторона главнейшая будет. Когда же эта главная сторона стоймя вставала и было видно, ошибки не будет, брал слово он:

— Что ж это вы, казаки, как дети малые! Тут же все так ясно, а вы за чубы хватаетесь.

После этого он в нескольких словах высказывал то общее, что вырабатывалось в ходе перепалки и ждало только, чтобы его предложили как решение. Так Астафьев оказывался и ведущим, и во главе большинства. Одобряли его старики, хвалили:

— Умного человека сразу видать. Мало и сказал и все — к делу.

— Не пустобрех, как некоторые иные...

— Что и говорить.

Слухи еще были о нем темные, нехорошие. Но он жил далеко от нас, и мы его тщательно не изучали. Таким я знал Астафьева. Но начальству так не доложишь. Ему кратко давай, суть одну, как сухую воблу:

— Не Астафьев там руководит. Или ошибка в донесении, или он подставное лицо. Главарь, скорее всего, из тех, приезжих...

— Согласен. Не Астафьев. Населения сколько?

— Строевых казаков менее двухсот. Стариков и под-

ростков до ста человек. Приезжих не более двух десятков. Перебили два-три десятка и этим...

— Без беллетристики — полк или не полк?

— Полк по названию только. Казаков двести в нем наберется ли.

— Допустим. Ну пусть триста. Но это предел. Дороги как, переправы?

Этот вопрос уже не мне — Воровскому. Знаменитость он был в своем роде. Такие в те годы еще изредка попадались. Говорили, за таких между соседними командирами всегда спор шел. Скажет один: «Берите у меня Воровского». Другой тут же отвечает: «Нет уж, не буду обижать вас. Владейте!»

Недолюбливал я его и замечал — не нравился он и Чеснокову. Но тут ничего не поделаешь! Право выбора себе начальников или соседей никому не дано. Да и свои качества не всякий с ходу покажет. Постепенно все и незаметно, как теща.

Блестяще доложил Воровский и тут:

— Ледоход по всему бассейну начался вечером тридцатого и в ночь на Первое мая. Ни одного брода в такое время через Газимур нет и не будет ранее, чем пройдет лед. На это надо дней семь — десять...

— Что это вы? Прискакали же казаки из заречной Дакталги на заставу, а другие обстреляли группу содействия. Значит, переправа возможна.

— Нет, не так. Мятеж, или что уж там произошло, был приурочен к началу ледохода, чтобы тот район от нас изолировать. С тыла враг не боялся. Там наших сил нет. Сколько-то казаков заранее было оставлено на правом берегу для борьбы с нашими разъездами и для охраны переправ. Они-то и обстреляли разъезд группы содействия пограничной охране.

— Логично. Допустим, что именно все так и было. Отсюда следует, что руководители этой ватаги понимают приемы малой войны...

— Убийствами актива они большую ошибку допустили. Тот сучок подрубили, на котором бы им...

— Не торопитесь с выводами. Мы еще ничего не знаем, ничего!

Все решалось быстро, бегом забегали, и уже через час я поплыл на бате¹ вниз по Аргуни. Задание стро-

¹ На лодке, выдолбленной из бревна (*местн.*)

гое: за ночь достичь фланговой заставы за 135 километров. Направить туда же половину пограничников соседней заставы и до приезда Воровского, назначенного командиром оперативной группы, возглавить оборону заставы и организовать все виды разведки. В дальнейшем я — помощник Воровского по разведке.

Патронов в бат напихали порядочно, ружейных гранат и медикаментов. К концу, вижу, еще и лекпома Каминского на берег тащат: «Бери, — говорят, — тебе приказано брать его. Тот, новый-то, в пути».

— На черта он мне, дряхлый старик! Ни шестом, ни лопатой он бат толкать не будет, а весу в нем сколько!

— Надо брать! Нельзя без него. С батом сам упрaviшься.

Начальству не откажешь. Кое-как нашли место Каминскому. На самое дно бата его посадили, и мне тут же команда — пошел!

Каминский мог бы и не ехать. Приказ об увольнении уже пришел. Отказался бы и все. Но, видно, по своей охоте поехал, хотя для вида ворчал и чертыхался:

— Скажи на милость, куда ты меня тащишь? На черта я тебе нужен?

Не скажешь старому человеку, что ни черту, ни мне он больше не нужен. Потому я Каминскому ничего и не ответил, промолчал. А он, видно, злой был и все мои больные места искал:

— С женою молодою хоть простился?

— Да, позвонил, чтобы не ждала пока и не волновалась.

— По телефону, значит... Вот какие времена наступили! И на коне ты исправно скачешь и все такое, а с женой по телефону... Чудно! Не казак ты, Михайлыч. Далеко не казак!

Ишь, чертов мерин! Под шестьдесят ему, давно вдовый, а мое больное место с ходу нащупал. Только с неделю, как я жену из Москвы привез, молодую. Женщины, известное дело, солдата портят. Ленив на выезды становится человек, все его домой тянет. И разве мы только, маленькие люди! Стенька Разин как изменился и только за одну ночь. А тут неделя...

Волновало другое, главное: что случилось на Газимуре? Если кулаки подняли мятеж, то почему Чесноков не придал значения словам Воровского о сужива-

нии массовой базы повстанчества такими убийствами? Тут же все так ясно! Не любят казаки кровопролития. Они устали от запаха крови. А если не мятеж кулацкий, то что же там?

Тревожило и время. Успею ли? Успеем ли мы вообще? Произошло это в ночь на 1 Мая. Дробин узнал утром пятого, и сегодня тоже еще пятое. Значит, не очень медленно мы действуем. Но банда опережает нас уже на пять суток. Много это, очень много!

Лед только пошел. Вода еще была высокая и течение быстрое. По фарватеру километров десять в час, если не больше. Шестом и лопатой я владел. Силою бог не обидел, и бат шел ходко, опережая скорость реки.

В Лубнию добрались в сумерках, часа за четыре. Там следили за рекой. Заметили нас, и начальник заставы Иванов подъехал к берегу.

— Новых данных нет. Я туда сразу же Черниговского направил, помощника. Половину людей ему дал. Пост на тропе в Чирень выставил...

— Понял, Паша! Хорошо. Завтра жди Воровского с конниками. Он будет командовать. Если что новое узнаю — дам знать.

С Павлом Ивановым меня связывала многолетняя служба. Молодой он совсем был тогда. Года на четыре моложе меня. Помню, когда мы его в партию принимали, его автобиография уместилась на пол-листе почтовой бумаги, хотя указал он все: родословие свое, школу второй ступени, Тверскую кавалерийскую школу и службу в армии. После, в финскую кампанию, мы встретились с Пашей в поезде. Учились потом — я на «Выстреле», он на третьем курсе Академии имени Фрунзе. Первой 1941, после парада, праздновали у него в академическом общежитии, с семьями. А после он выехал на рекогносцировку оборонительных рубежей в Особом Белорусском и там обрывается его след. Не одного его. Многих тогда...

Но это было потом, в сорок первом, а сегодня:

— Ну бывай, Паша!

— Бывай!

Чтоб сэкономить время, я направил бат по протоке, но тут же был остановлен окликом из кустов. Вышел оттуда человек. Казак, должно быть, не по сезону под охотника снаряженный.

— Куда вы, начальник? Вниз? Туда нельзя! Повстанцы туда поскакали.

— Много там этих... повстанцев?

— Много, начальник! Тьма-тьмушая. Восемь полков конных, сказывали.

— Сами эти полки видали?

— Не так, чтобы всех сам. Сказывали, которые...

Врет он и напугать хочет. Это ясно. От них он, от этой банды, чтобы посеять неуверенность и панику. Прием не новый. Но что с этим казаком делать? В бат его взять не могу. Тут и места нету, и небезопасен такой пассажир. Но решать как-то надо.

— Хорошо, что встретились! На заставу езжайте. К Иванову там, начальнику. Скажите, что я вас послал, Петров. И чтоб накормил вас, и утром, когда почту пошлет, вместе с пограничниками к Чеснокову направил. Ждет он вас, Чесноков.

Не понравилось мое решение Каминскому, и когда бат отошел от берега, он свое недовольство высказал:

— Дурень ты, хоть и начальник ныне. На заставу тот не поедет...

— Почему не поедет? Накормят же его там и все такое.

— Очень ему твой корм нужен! От них он, от этой банды. Понял теперь?

— Откуда вы это знаете?

— Поживи с мое, и ты узнаешь! Видывал я таких. Эсеры тут были. Еще в партизанах, бывало, когда на японцев выступали, они партизанам на ухо нашептывали: «Не дюже, ребята, нажимайте, чтоб больших потерь не понести. Силы для борьбы с большевиками берегите». Теперь понял?

— Опять не очень чтоб.

— Молод потому. Спросил бы, кто знает! Убить его надо было!

— Как на Газимуре?

— Сразу и так! По-умному можно было и без свидетелей. Дал бы ему по башке и уплыл бы! А ты ему: «К Иванову... накормят там». Нужен ему твой Иванов!

К станции приплыли около полуночи. Ни огонька, ни людского голоса. Затемнение, видно, Дробин ввел и выходить из дворов запретил. Хорошо, что китайский Имо-хэ на другом берегу отдельными огнями просве-

чивался. По нему и ориентировались. Иначе бы мимо проскочили.

Причалить к берегу я боялся. За рекою в такое время наблюдение установлено, и наверняка хотя бы один «дегтярев» на рогатках для ночной стрельбы направлен в нашу сторону. Вообще-то полагалось вначале остановить окликом и уж потом стрелять, если человек не послушается. Но это в мирное время. А теперь эти действия могут переставить местами, и пойдешь потом докажи, что не в таком порядке тебя продырявили...

Решаю встать на якорь и понаблюдать. Каминского предупредил:

— Сиди тихо и не дыши!

Порядочно мы ожидали. С час или больше. Шорох потом уловили, шуршание гальки под ногами коней. Поскрипывание седел послышалось и легкое позванивание трензелей. Наши кони, пограничники! Казачьи седла не скрипят, и уздечки они снимают. В недоуздках коней водят, без трензелей. Под седлами Дробин коней держит. Готовность высокая!

Когда пограничники, напоив коней, удалились, мы подняли нос бата на берег и пошли вслед за ними.

За ночь все решили. Еще и на сон пара часов осталась. Условились так: Дробин отвечает за оборону поселка и охранение его дальних подступов. Он же, к моему приезду, подберет несколько казаков, имеющих родственные или какие-либо другие устойчивые связи с жителями левобережья Газимура. Они могут понадобиться нам. Я и Черниговский с пограничниками соседней заставы на рассвете выезжаем в Будюмкан, выясним там обстановку и возможности организации надежной разведки из казаков верховья. Посылка туда разведчиков из Урюпина через многоводный и опасный в такое время Газимур несомненно насторожила бы бандитское руководство.

От усталости и забот я забыл о Каминском. Да он меня и не интересовал. Доставил его на место, как было приказано, и будет с меня.

Когда заседлали коней, Каминский прибежал обиженный и злой:

— Это мне, начальник, нынче за вами пешком бегать? Или как еще изволите?

— Что это вы, Каминский?
— Удивляетесь, начальник? Стало быть, непонятливый стали. Или ты мне коня подал? Двухолку санитарную?

— Зачем вам конь? Вы же здесь остаетесь...

— Для какой такой радости я сюда таскался? Ты это понял, начальник?

— Тяжело, думал, вам будет. Годы...

— Подмоги твоей не просил. Был бы стар, не поехал бы! Кто меня насильовал-неволил? По своей охоте поехал, чтобы дело делать, а не тут сидеть. Хочешь командовать, так и людей понимать должен. Это самое первое...

Понял я мою тяжелую ошибку. Хорошего человека обидел, выкручивался, как умел:

— Главный же медпункт здесь будет! И вы тут начальник...

— Чудно у вас получается! Раненые меня сами тут шукать будут? Отродясь такого не видывал! Всегда санитары раненых выносили из боя или кто сам карабкался, а мы, фельдшера и врачи, забинтовывали и дальше направляли. На худой конец место винтовкой отмечали, штыком в землю, либо пикой, чтоб другие нашли и помогли... А у нас чудно получается, начальник мой...

— Нельзя вас туда брать, товарищ Каминский. Никак нельзя! — упорствовал я. — Раненых сюда посылать будем, и здешние разъезды тоже потери могут иметь. Тут вы им и поможете, а тяжелых, если будут, — в Покровку на бате...

— И тут учить меня?

— Нет, товарищ Каминский. Задание вам такое.

Отошел удовлетворенным. Победу он одержал. Почительную для меня.

Пока я за бандой гонялся, приехал Каминскому преемник. Уволили старика, и встретились мы с ним только через пару лет. На прииске это случилось, где он работал и фельдшером и врачом. Хорошо Каминский меня принял, по-дружески. К себе пригласил и большую бутылку на стол поставил, с белой головкой.

— Еще душа принимает, товарищ Каминский?

— Ты о моей душе забот не имей, Михалыч.

Выпили по одной, а может, и более. Сидели, заку-

сывали и старину вспоминали. Приложились еще, и, растрогавшись, прослезился старый медик:

— Ты зла на меня не имей, Михалыч. Злой я тогда был и сильно обижен. Только не понимаешь ты еще той обиды. Узнаешь ее, когда твой черед наступит в ветхость списываться. Все тогда узнаешь, Михалыч. Всю жизнь я казаков и солдат лечил и все ихние хвори знаю. А тут тебе говорят: «Иди, старик, уходи! Нам нового дали, молодого». Как невесте радуются: молодой. А что в этом молодом? Что он знает и что умеет?.. А смертей, Михалыч, много я видывал. От самых маньчжурских сопок до Пруссии, и они все за мной ходят. Берешь горсть земли, а она кровью пахнет. Много полегло людских голов, Михалыч. Может, еще по одной?

— Давай.

— Работаю сейчас исправно, и эту обиду забывать начал. И мне тут верят. От той веры люди больше и излечиваются. У меня же для больных почти ничего и нет, а народ валом валит. Казачки станичные и бабы с приисков. Не в район едут, а все хотят, чтобы я их лечил. Знаю я ихнюю беду, и у всех она тут одинаковая — непосильная работа, не женская. В студеной воде вместе с казаками час за часом невода тянут... Приходит такая и жалобу свою рассказывает. И я ее тоже допытываю, хотя все уж не хуже ее знаю. Для вида это делаю, чтоб веру внушить.

— Тут больно? — спрашиваю, и пальцем на самое больное место надавливаю.

— Ой, как больно, доктор!

— И тут?

— И тут.

Обследую ее кругом. Это и для вида, и чтоб самому убедиться. Порошки, какие есть, или капли выписываю. Всякие, лишь бы не вредные были. Скажу одной, чтобы до еды принимала, а другой — чтобы вечером, к ночи ближе. Кому восемь капель назначу, а другой пять или десять. Совет даю верный: в холодную воду не ходи покамест и ноги в тепле держи. Скажи своему казаку, чтоб от цепа на молотье тебя освободил. Не бабье это дело! Встречается потом на улице или которая и сама поблагодарить заходит:

— Полегчало, доктор. Как полегчало!

Вера, Михалыч, первое дело... И надо уметь внушить ее людям...

В Будюмкане казаков не застали. В ожидании нападения они оборону держали на подступах к станции. Некоторые в тайгу сбежали. Подальше от греха! Казáчки дома, да дети малые и немощные старики. Может, и они побаивались, но вида не подавали. Держались хорошо:

— На ихнюю вражью сторону велют переходить. А которые несогласные, тех тут и убивают. Казаки, которые робели, в тайге ховаются. Кроме строевых. Те, известное дело, оборону держат, либо на разъездах-патрулях...

— Вы как остались?

— Мы — бабы. И куда нам с детишками? Пускай хоть тут убивают, хоть что делают... Подаваться нам некуда. И не может того быть, чтоб они сюда прорвались. Не позволят этого наши казаки...

Подошел командир группы содействия пограничникам. Видный казак, боевой. Винтовка у него и шашка. Граната одна, японская.

— Оборона надежная. На рассвете показались ихние всадники. Мы их обстреляли с большого расстояния, и они назад ускакали. Наши посты потом заметили: в сторону Чирени подались. Три группы. По неполной сотне в каждой...

— Давно это было?

— Нет, недавно. Сразу после второго чаю.

— Что там случилось на Газимуре? От кого и как вы об этих событиях узнали?

— Вчера ночью, на пятое, сотский — исполнитель по-нынешнему — прибежал: «Беги, говорит, в Совет! Срочно!» В такой час в Совете никого не бывает. Сторож, один казак из Дакталги, и этот исполнитель, что меня вызвал. Кого-то тот казак шукал у нас и народ смущал. И меня пугать начал:

— Беги, говорит, и свою группу распускай! Пусть всякий сам спасается, как умеет. Сила на вас идет! Не совладать вам. Сколько казаков на том берегу погубили-перебили! О боже ж ты мой! Власть там теперь совсем другая...

Не стал я его слушать и в холодную посадил. Часового поставил. Там он и теперь. Дробину, начальнику заставы, сообщил и тревогу поднял. Разведку выслал. В пути банда обстреляла нашу разведку. Она потеряла

двух коней и заняла оборону. С тех пор там оборону и держим. В людях потерь не имели.

— Этим берегом можно добраться до Чирени?

— Трудно. Лесом только можно. Поселок — на том берегу.

— Ну что ж, держите оборону и станицу не бросайте! Надо и тут охрану иметь, и связных оставляйте. Словом, все у вас хорошо. Этого задержанного еще сегодня под конвоем направьте к Дробину.

К Чирени нам надо было пробиться непременно. Раз банда взяла курс туда, она может попытаться переправиться через реку и напасть на заставу. Или резню устроить в Чирени.

Путь оказался необычайно тяжелым. И только часа через четыре, покалечив ноги коням, прибыли к Чирени. Наш берег, покрытый лесом, был немного выше, и поселок хорошо просматривался. Был он невелик, всего одна улица вдоль реки. За поселком — довольно широкое поле или заболоченный луг. Печи топились, что видно по дыму из труб, но людей на улице не было. Оседланные кони тремя группами, по полсотне в каждой, стояли в закоулках. Бандитские, конечно. Сами бандиты или забавлялись в поселке или уже чинили суд и расправу, как на Газимуре.

Подошел Черниговский:

— Давайте обстреляем коней из «пушек». Нервы казаков проверим и, может быть, отгоним их от поселка?

— Давай! Быстро только.

Такая «орудийная» стрельба почти безвредна. Забава больше, но иногда и не лишенная эффективности. Делалось это так: винтовки с мортирами устанавливались в неглубокой ложине или на обратном скате, как пушки на огневой. За ними, по числу мортир, взрывали ручные гранаты, имитирующие выстрел из орудия. Одновременно с этим стреляли гранатометчики. Таким образом, обороняющийся улавливал «пушечные выстрелы» и тут же над головой взрывы ружейных гранат, легко принимаемые за шрапнель. Точность стрельбы была ничтожной, и потери от такого огня незначительные, больше случайные. Но пугать можно было. Шуткали, из пушек плят!

Здесь, в Чирени, переполох поднялся необычайный. Казаки этого «повстанческого полка» бросились к коно-

водам, сели на первых попавшихся коней и ускакали в сторону леса. Коноводы тут же погнались за ними. Многие кони, оставленные коноводами, без всадников скакали за «полком», а казаки, кони которых ушли или были захвачены другими, резво улепетывали последними.

— Ну и полк же! И порядки же у них! Коноводы-то что сделали...

— Бегут здорово. Тяжело будет таких догонять, но придется...

Обратный путь оказался еще более трудным. В топкое болото угодили, валунное, с глубокой и вязкой грязью между камнями.

Хорошо, что со мной был Черниговский. Молодой, но толковый командир, расчетливо смелый и в тайге разбирался. И товарищ что надо!..

После подавления мятежа мы навсегда потеряли Черниговского. Его даже и увольнять не стали, а изгнали. Кулацким сынком, говорили, он оказался. Может, и так. Но могло быть, что его родители уже после, во время его службы кулаками стали?

Легко и быстро мы в те годы налепливали ярлыки и кулаков, и кулацких сынков. Изредка вспоминали Черниговского. Добром, по-хорошему. Товарища мы в нем потеряли и верного друга.

Усталость одолевала, но было не до сна. Прошли уже сутки, и никаких положительных результатов не добыто. Тут сон не берет! И работы тоже много. У Дробина свои заботы — подобрать надежных казаков в разведчики. У меня и у Черниговского — разместить отряд на ночлег, кормление, водопой и перековка коней. И мало ли еще что. И главное — беседа с этим задержанным в Будюмкапе.

Товарищи, по-видимому, верно определили — враг! Злобный, неопытный только в таких делах. Труслив тоже и сильно напуган. Смотреть в глаза избегал, изворачивался и врал. Мы уже намечали использовать его для дезинформации и поэтому правды от него и не добивались. Лишь бы он поверил, что мы ему верим и проглотил бы нашу легенду. Ничего больше от него не требовалось.

— Так точно все было. Игнашка Астафьев и которые с ним. Все они только мутят.

— Что же вы, казаки, не остановили его? Арестовали бы.

— Остановить или арестовать Игнашку Астафьева? Он же не один был. С ним сила! — И после, заметив, что проговорился и сказал лишнее: — Я там и не был тогда. Уже неделя, как я на этом берегу Газимура. Собрали нас и послали. Патрулировать будете, сказали, пока лед пойдет...

— Как вы об этих убийствах узнали?

— Сказывали казаки. Узкие там места есть, и через реку можно переговариваться. Казаки подъезжали к реке и передавали.

— Что эти казаки вам говорили?

— Будто сходку там созвали. К вечеру того дня, когда лед поднялся. Всех казаков вызвали. Астафьев там, Игнашка, и с ним многие, даже незнакомые во все. С оружием они, трибунал избрали. А Игнашка и указывал, кого надо связать и убить. Так и делали. Не так, чтобы один кого хочешь убивал, а чтобы многие одного били Игнашка и которые с ним требовали: «Всему миру вредили, всем миром и карать». А того начальника из ОГПУ убивали все казаки. Тут следили, чтобы били все, хотя и не живого уже...

— И много так перебили?

— Не так что много. У нас до двадцати человек и восемь или десять в Аркие...

— Да, немного, значит. А трупы куда?

— В тайгу завезли и там с обрыва бросали, шакалам. А того начальника ОГПУ в мякиш поколотили-порезали, и что осталось, в лужу бросили. В грязную, за кладбищенской оградой. Такого не повезешь...

— Вы, стало быть, не убивали?

— Как можно! Разве б я...

— В Будюмкан вы зачем поехали?

— Предупредить! Сказать, чтоб ховались. Наши же на них пошли. Все с оружием. Разве тут будюмканцы устояли бы? И зачем, чтобы казаки на казаков боем шли? И наш начальник еще мне сказал, чтобы я в Будюмкане его знакомого нашел и тому бы сказал...

— Не поверили вам там, в Будюмкане?

— Не застал я того казака. Другим начал сказыва-

вать, а те не поверили. Еще и наши не поспели ко времени...

Ясно все. Противно и пора кончать.

— Не находим мы вашей тут вины. Сами не убивали и даже будюмканцев спасти намеревались. Или вы не все нам верно рассказывали?

— Все верно! До точности верно.

— Ну, тогда что ж, пообедайте и езжайте домой. Или вы куда еще намеревались?

— Куда там! Я домой. Если реки еще переезжать нельзя, в тайге у костра посижу.

— Да, лучше, наверное. Время такое тяжелое.

В столовой у окна посадили, чтобы двор ему был хорошо виден. Он должен сам все заметить, выглядеть! Вдоль ограды, против окон, пограничники канатную коновязь натягивали. Дробин и Черниговский ее на части шагами делили, по числу коней в эскадроне, и в разговоре часто упоминали эскадрон Второго полка ОГПУ.

Пообедав, казачишка выехал удовлетворенным. Не только скрыл от пограничников свою принадлежность к банде убийц, но еще и выследил подготовку к размещению целого красноармейского эскадрона. Это ли не успех!

И мы в обиде не остались. За участие в банде он свое получит, когда настанет время. Эскадрон же выдуманного кавполка, хотя и «липовый», запутает карты бандитского руководства и в течение нескольких дней будет волновать его не меньше, чем любой другой самый натуральный эскадрон.

Я и Черниговский решили заночевать у Дробина, убежденного холостяка. Все трое еле держались на ногах. Но уснуть не успели, прибежал дежурный:

— Воровский приехал и вызывает.

Подошли и, как положено, представились. Тот не в духе оказался или просто власть показать хотел:

— Много спите, товарищи, даже вечером в такое время.

— Сон одолел, вот и спим, — сказал я.

— Сон я отгоню. Утром выезжаем на Газимур, в Дакталгу.

— Завтра выезд невозможен. Мы уже все рассчитали на послезавтра. Нужен отдых коням и перековка. Вьюки только к вечеру завтра будут...

- Выступаем завтра в 6.00. Поняли?
- Это безумие...
- Вашего совета не спрашиваю, а приказываю: выступаем завтра в 6.00. Что вам не понятно?
- Люди тут намечены для разведки, и надо с ними как следует поработать...
- А до этого кто вам мешал с ними работать? Разведку тоже на себя беру. Ваше дело — выполнять мои приказания, пока я вам это доверяю...

В 6.00 так и поехали, подавленные и удрученные. Бьюков приготовить не успели и поехали без станковых пулеметов. Овес только в саквах, на день. Сена вовсе не брали. У бойцов «сухой паек» на один день и только по одному боекомплекту на экземпляр оружия. И это зная, что до Газимура полсотни километров, и вовсе не ведая, как и когда нам удастся реку преодолеть. Или, возможно, придется форсировать под огнем. И какие пятьдесят километров! По тайге, по болотам, по камням и через бурелом...

Дачники, одним словом!

Худшие опасения оправдались. Через Газимур в тот день переправиться не удалось. Ледоход заканчивался, но лед шел и был еще слишком грозным. Не имея фуража и продовольствия в запасе, Воровский приказал возвратиться.

Может быть, он и понял свою вину. Но признать ее не хотел и искал спасения для себя или хотя бы маленькой лазейки:

- Я заболел. Примите командование.
- Только на месте и только по письменному приказу.
- Погубить хотите? Не выйдет! Я и ваши дела знаю и покажу. У меня в Хабаровске «рука»...

Отозвали его, и он исчез за горизонтом. Приказа не было. Очевидно, «рука» у него все же где-то была...

Раньше нас в Дакталгу ворвался отряд из коммунистов и советских работников Газимуровского района. Этот отряд шел со стороны тыла и реку Газимур миновал. Мы, преодолев реку, пришли в Дакталгу на другой день. В дальнейшем активную борьбу с бандой проводили мы, пограничники. Местный актив выполнял обязанности караульных команд по охране населенных пунктов.

Первые сведения о событиях на Газимуре полностью и почти дословно подтвердились. Оставалось только тайной — в каких целях были совершены столь многочисленные убийства и особо изощренное, поистине сатанинское глумление над убитыми. Даже после пленения Игнатия Астафьева и всего его «штаба руководства» нам не удалось полностью проникнуть в эту тайну.

— Скажите, Астафьев, для чего вы так много людей убивали? Ваших же станичников?

— Я? Ни одного человека не убивал.

— По вашему же приказанию убивали!

— Приказывал и я. Но еще и трибунал у нас был, мной назначенный и утвержденный сходкой... Тут такая тактика наша была: ежели кто убивал, тот нашим будет! Сдаваться такому или там других властям выдавать не с руки. Свой грех знал...

— Убивали, значит, только для того, чтобы страхом наказания скрепить ватагу?

— Не, не только из-за этого. И другая причина была, важная. Пока у казака руки не в крови, он снами не пошел бы. Как бы иначе ватагу-то набрали? Но когда скажешь — на, бей, и он послушается, значит, наш. Никуда более не уйдет! Для того и убивали.

— Ну, а если бы кто-либо не стал бить и убивать?

— Такого бы тут же прикончили. Таких оставлять нельзя! Были и такие, да следили мы. У кого ружье, того слушаются...

— Кто вас, Астафьев, всему этому научил?

— Этого я вам не скажу.

— Может, скажете, Астафьев, для чего такое глумление над трупами?

— Это все одно. Надо было, чтобы нас боялись, страшились бы нашей кары. И чтоб за это и наказания ваших властей больше страшились. А покойнику что? Ему все одно...

— Какую цель, Астафьев, преследовали эти ваши преступные действия? К чему вы стремились?

— Большую ватагу «вольных казаков» хотели создать. Быструю, на хороших конях, с заводными. Погуляли бы мы по станицам и поселкам восточной части Забайкалья, страху бы нагнали, повеселились бы...

— Для чего это вам, Астафьев?

— Вольной жизни хотелось, как в старину бывало,

И еще говорили, чтоб к приходу японцев все разрушить...

— Кто вам так говорил?

— Уж этого я вам не скажу.

Ответа на этот вопрос Астафьев нам так и не дал. Правда, и времени для разговоров с ним мы имели мало. Часа два в станице и столько же на пароходе «Пахарь». Не исключено, что следственные органы Сретенска или краевые добились большей ясности. До нас доходили только слухи.

После пленения Игнатия Астафьева мятеж, было видно, стал затухать. Нашей группе поручили: как можно скорее выловить остатки этого «вольного казачества».

Большую часть времени мы находились в тайге. Нередко — глубокой. Стремались полностью изолировать остатки банды от населенных пунктов, дорог и речных переправ и, конечно, преследовали «вольных казаков» изо всех сил. Изредка бывали в Дакталге. Туда нам доставляли продовольствие и фураж. И там сосредоточивались все данные о банде, о планах и намерениях ее нового руководства, эти сведения получали через хорошо налаженную нами разведку.

В одно из таких наших посещений в станице появился незнакомый человек, пожилой уже и по одежде — не казак. У станичного совета привязал коня и степенно, нарочито медленно поднялся по ступенькам в помещение. Старик был высокий, широкой кости и слегка сутулый. Черты лица крупные, угловатые и как бы внезапно состарившиеся. К нам прибежал сотский — сельский исполнитель:

— Человек приехал, большой какой-то! Вас шукать велел. Старшего чтоб к нему...

Пошли я и Дробин.

— Моего сына тут убили, чекиста. Я его отец, и вот мой мандат, — и показал нам предписание районных властей, обязывающее всех должностных лиц оказывать ему содействие в перевозке трупа сына в родное село. Вспоминается, хотя полностью не уверен, — в поселок и прииск Усть-Қара.

— Где мой сын похоронен? Место знаете и покажете?

— Знаем мы место и покажем. Тут она, временная могила, совсем рядом.

— Могилу оборудовали? Как принято, украсили?

— Нет, отец. Ничего этого не сделано...

Старик помрачнел и вздрогнул, как от удара. Тяжелая обида проникла в его душу и обрушилась на нас:

— Не нашли время, значит, думать о могиле товарища. Недосуг... И кому он теперь, покойный...

— Нельзя так, отец. Тяжело вам, мы это понимаем. Но и нам нелегко. Другом нашим ваш сын был и братом. И не надо на нас обрушиваться. И у нас горя хватает... Труп вашего сына в гнилой яме, куда те изверги его сбросили. Никакой могилы там не соорудить. Вынести труп в другое место запрещено районными властями до вашего приезда, чтобы сами распорядились. Простынями укрыли и соломой. Земли немного... От мух хотя бы...

Понял старик наше объяснение. Чувство обиды уменьшилось, но не исчезло. Глухо и суховато сказал нам:

— Не к тому я. Негоже только, чтоб труп в гнилой яме валялся. Сын он мне. И другого так нехорошо... Проводите меня туда, к могиле. Путь покажите. Там покамест останусь. Один постою...

Не прошло и полчаса, как сообщили: «Старик труп откапывает. Один». Подошли мы и помогли вынести труп на сухую поляну.

«Его в мякиш» — говорил нам тот бандитский посылный. И он не врал и знал, что говорил. Не труп в обычном понимании мы извлекли из ямы. Бесформенное что-то и липкое...

— Домой я его не повезу такого. Не заслужила наша мамка этого, и незачем ей такое знать. — И тут же, обращаясь к нам: — Достаньте мне кровельного железа лист и дров. Чтоб дрова сухие были и толстые.

Привезли мы старику дрова, и железо содрали с крыши одного из активнейших убийц. Просил еще наковальню, молоток и топор. Доставили и отошли.

К вечеру запылал огромный костер...

До сих пор перед моими глазами — большая и отлогая сопка. На ее фоне желтое пламя огня и резкие острые, как иглы, зеленоватые блики над тем огнем. Около костра высокая и скорбная фигура человека с длинным багром...

К утру все было кончено. В две четвертные бутылки уместилось все, что оставалось от сына. Эти бутылки старик привьючил к седлу и тут же, не отдыхая, поднялся на коня:

— Домой это. Мамке нашей...

3

После событий на Газимуре прошло несколько месяцев.

Едем в управление. Так людно нас редко собирали. Разве только при смене руководства или для одновременного «озадачивания», как в тех краях именовали постановку новой задачи. Вообще это правильно, что так называли. После двух дней выступлений руководителей оперативных служб, политического отдела, строевого, хозяйственного, двух докторов — людского и конского — и особиста, мы уже были в таком замешательстве, что когда за конец супони брался старший начальник и начинал дотягивать, — мы уже ничего не соображали.

Путь дальний. За полтораста верст в лютый мороз, с туманом. За полсотни градусов перевалило или около этого. Верхами в такой мороз не поедешь. В кошеках мы, в тулупах. Три человека в кошеке и коней три. По числу людей.

— Узнаем, что это за новая метла объявилась.

Это мы так о новом начальнике. Сердитый, передавали, беда с ним. Это так уж сложилось, что слава о новом командире всегда впереди него движется. Верная там или неверная, но впереди непременно!

— Разные бывают метелочки. Есть, которые нороят мусор по углам ховать.

— Бросьте вы к черту! Еще и человека не видали, а уже — метелочка.

Это наш комендант участка так на меня и на Колю Васильева набросился. Чесноков Александр Николаевич. В свои двадцать девять лет бороду отрастил, густую и черную, как воронье крыло. Холил ее и на две стороны расчесывал. Не понравилась эта борода Коле Васильеву. Вообще он был неглупый и товарищ неплохой. Ленив только и не любил дело до конца довести и во всем досконально разбираться. Поймал его Чесно-

ков в таком деле и стружку с него снял. Обиделся тут Коля и грозил:

— Подберу я кличку этому бородатому. Вот смехота будет.

Ничего у Коли Васильева не вышло. Может, здесь его вины и не было. Приехала к нашему коменданту его жена, Мария Андреевна, молодая, красивая. С ее приездом у нашего начальника борода исчезла. Мгновенно и начисто, как не бывало.

Кличка — дело серьезное. Тут умеючи надо! Если вот казаки или казачки кличку налепят, тогда железно. Жизнь их научила, необходимость житейская. Был где-то на отрыве казачий пост Три там казака или шесть, звено полностью. Допустим, даже два звена, двенадцать казаков. Фамилий не больше, конечно. Меньше могло быть, если братья или там однофамильцы на один пост угодили.

Пошли потом от тех казаков дети. От тех детей опять свои дети, уже внуки, значит. И так двести лет! Казачий пост вырос в поселок или станицу в пятьсот или тысячу казаков, а фамилий не прибавилось. Как было три, шесть или даже двенадцать фамилий, так и осталось. Образуется тут такое множество однофамильцев, что без надежных кличек в людях не разобратся. Тут казаки и налепят друг другу клички, и они — на многие поколения. Пойдут потом от тех корней Иваны или Опуфрини, но все они «Белые цари» или «Живодеры», как кому досталось. Попадаются и обидные клички, но мирятся казаки. Не обижаются! И правильно! Иначе нельзя. Не назовешь же всех уважительно, например «Божьей коровкой».

Дальше уже уточняются как бы по росту. Только тут особенно доверять не надо. Малый, говорят, а он в сажень ростом. А другого, козьявку почти, Большим называют. Возрастное это. Большой — значит старший.

Мало нас было, командиров-пограничников, в Забайкалье в те годы. Встречались редко, в пути только. И в радости мололи языками. Не так чтоб злобно и не совсем всухомятку, чтобы язык от чрезмерной сухости не потрескался.

Но раз комендант не хочет, чтоб мололи — помолчим.

Новый начальник себя напоказ не выставлял. Не

было и традиционного «озадачивания». Директиву нам зачитал полномочного представителя ОГПУ по Дальневосточному краю Т. Д. Дерибаса, члена партии с 1913 года.

Не все в этой директиве было новым, но новое было: «Наши государственные границы и революционный правопорядок мы охраняем в интересах людей, человека». Значит, в первую очередь надо охранять самого человека. Не человека будущего, который появится в свое время без изъянов и с символом святости вокруг головы. О безопасности такого человека позаботится его эпоха. Нам надо охранять советского человека сегодняшнего дня, со всеми его слабостями и с его неимоверной созидательной силой. Не человека-мечту, а того Ивана или Онуфрия, с которыми встречаемся ежедневно, едва замечая их.

Всяческие наши ошибки и промахи враги, особенно закордонные, будут использовать для атаки нашего общественного строя, опутывая советских людей, менее опытных или попавших в беду, и подставляя их под удары наших же карательных органов.

Да, ясно все! За человека бороться надо. Охранять его надо от ошибок, одернуть, может быть, пока не поздно. Спасательный круг живому подавать надо. Мертвому он без надобности.

Надо, конечно, и наказывать. Но наказание — это списание добра с баланса, когда ответчик признан несостоятельным. Других это, может, и предупреждает, учит, но того человека и растраченного им добра нам почти не вернуть...

Наше положение становилось все более трудным. Понимали — советский человек вправе требовать от нас защиты. Понимали также, что прошлогодний бандитский налет на Газимуре — не единственный прием и не последняя попытка японской военщины и белой эмиграции.

Краевое управление предупреждало: зарубежные диверсионные группы намереваются нанести удары по машинно-тракторным станциям, колхозам и совхозам в нашем тылу, по складам горючего, материалов и зерна на пристанях по Шилке. Намечается организация новых мятежей.

Не все спокойно и благополучно было и в нашей внутренней жизни. И не могло быть! Решалась судьба

многочисленного и последнего эксплуататорского класса в стране.

Распадалось старое. Ломались устои жизни, сложившиеся еще в незапамятные времена, выдержавшие многие бури и казавшиеся вечными. Обломки старого, как бурелом, ложились на хилые ростки нового, за-слоняли их и давили.

Осенью убрали первый общий урожай. Слабым он удался: сев был запоздалый и никудышная, расхлябанная уборка. Свою «лепту» в уборочную внесли и торгующие организации Сретенского округа. Всегда в магазинах спирту полно было, и казаки, когда деньги заводились и не было срочных работ, выпивали. Не скажу, чтоб так уж часто, но бывало. А тут все лето в магазинах — пустота. Томились казаки и скучать начали. К уборочной спирту завезли небывало много. Пароход «Пахарь» доставил и еще на плотках подбрасывали. Празднуй, казак, гуляй!

Казаки только малость во вкус вошли, как объявили: «Спирт только на пушнину, на шкуры». Где казак-охотнику брать пушнину в уборочную пору? Она к новому году появится. Собаки были, и на собачьи шкуры спирт тоже продавали. И казаки истребляли собак.

С болью в сердце я наблюдал, как срываются уборочные работы, и, наконец, решил вмешаться. Предложил начальникам застав приглашать к себе самых именитых казаков и через них повлиять на остальных.

Ничего не получилось. Все в один голос докладывали:

— Вызвал я и поговорил.

— Ну и что?

— Обещали. Проверял с утра. Все в поле выехали. Иные там и ночевали. В поле тоже выезжал...

— Значит, помогли ваши разговоры?

— Какое там! В стельку лежат, пьяные. Поехали на поле — и спирт в запас...

С недельку так погуляли. Недолго как будто, но прогуляли много. Хлеба перестояли, зерно осыпалось, и урожай стал и того хуже. Пропала и зимняя охота. Без собаки не побелкуешь!

Все добро артельным стало. Общим называли, а обратили его в бесхозное. В кучу бросали неочищенные

от земли плуги, культиваторы и бороны, купленные еще дедами и переходившие от отца к сыну.

Проходит казак мимо такого нагромождения и глазами в той куче свой плуг ищет. Находит его, останавливается и вспоминает: за тем плугом он сотни верст по полям шагал, семью содержал и сыновей на царскую службу справлял. Лежит теперь этот плуг и ржавеет, и никому до этого дела нет. Постойт так казак малое время, думает свою думу. Махнет потом рукой и уходит шагом уставшего и во всем сомневающегося человека.

В отличие от россиянок, казачки без большого сожаления расставались с коровенками. Мало радости и было от забайкальских коров. Доится она, как коза, и только пять-шесть месяцев в году. Корми ее потом весь год и ухаживай. Правда, и уход за коровами был по их заслугам. Коровников не имелось и коровы всю зиму стояли под навесом вместе с конями. Подбросят им по утрам и к концу дня немного сена или соломы. К проруби на водопой сами за конями ходили, поскрипывая копытцами и скользя по скату. Тут не до молока!

Другое дело конь. Растет казачок, и хотя мал еще годами, но заботы о строевом коне волнуют родителей. Конь дорогой, и не всякий казак его с ходу купит. Много за него надо хлеба, беличьих шкур или бычков. Но конь нужен! Не пойти же казаку на царскую службу без коня, в пехоту, как мужику последнему. Не позволит себе казак такого, и обществу зазорно. Копит отец рубль за рублем и к сроку все справит, либо родня близкая подсобит. Может, и придется за эту подмогу батрачить у родного дяди от малолетства до самого призыва, но чтоб все было: конь, седло, шашка, шаровары и все другое до последнего ковочного гвоздя.

Так берет свое начало большая дружба казака с лучшим из животного мира — конем. И эта дружба выдержит все. Службу царскую, боевые походы, работу на полях и охотничьи поездки...

Не так нынче стало. Общие теперь кони. Обезличены хомуты и не чинят хомути. Потернулись у коней образы и раны. Сдали в теле, осунулись. Подойдет, бывало, казак к своему коню, посмотрит и убеждает:

— Ты, Рыжий, уж извиняй. Не по моей это воле...

Легче бы казаки разобрались во всем этом, если бы время дали. Ростки нового они скорее бы заметили и за свое бы признали. И новое росло. Многие небольшие артели начали проявлять экономическую активность, разумно вести общественное хозяйство. Но времени казакам не давали. Одни торопили вследствие близорукости, может быть, и честной. Другие запутывали казачков, кричали и нашептывали, чтобы они в это новое не вернули. А ростки нового были еще слабые и ярко в глаза не бросались.

Много в этот год приезжало в таежные поселки разных представителей и уполномоченных. Кто из округа, кто из края. Документы у них в порядке были, и разберись тут: откуда они и нужны ли они? Хорошо советские документы в Харбине подделывали и тут тоже, в Трехречье.

Другом, бывало, прикидывается, общих знакомых вспоминает. Родня почти, а сам — враг лютей.

— Смотри, казак, до чего дожили. До чего довели. — Хитро рассказывает и не так, чтоб многим вместе. Со всеми — только намеками. Неявственно что-то обещает, но желанное. Мог и грозить:

— Не болтай, друг, понял? Жди нашей команды и подмоги жди. Нынче мы сила! Ну и кары нашей жди, страшной, ежели что. Из-под земли достанем...

И казаки молчали или сообщали, когда уже было поздно. Может, в то желанное, что сулили, большой веры и не имели. Но кары страшились. Ясно было сказано: «Достанем и спросим. Не один я. Мы — сила!»

И, бывало, доставали...

В пограничную зону такие «представители» не сошлись. По тыловой полосе шлялись. Пропуска туда не требовалось, власти были менее опытные и тайга под боком. Исчезнет внезапно, если опасность учует, и узнай куда. Может, в Читку подался, в Хабаровск или тут, поблизости, в тайге ховается...

А коммунисты? Да, коммунисты были. В районном центре десяток членов партии и столько же коммунистов-одиночек по поселкам или по станицам. И все же это была огромная сила! На своих плечах эти коммунисты вынесли всю тяжесть по созданию колхозного строя и руководили, больше самоуком, общественными хозяйствами.

Какой меркой сейчас измерить этот титанический труд? Нет у нас сейчас такой мерки. Другое есть — чувство глубокой благодарности.

Все было ново, все сложно и все в движении.

Многое мы уже знали, но многое оставалось в тени. И не всегда мы знали, где истина, а где уже и умно подсунутая легенда опытного врага, чтобы обмануть, чтобы по ложному следу направить.

Подсунули нам раз анонимку. Из Газимура якобы, из района прошлых событий. В основном ее содержание помню. Погуливали, пишет автор, здесь агенты врага из Китая. Множество повстанческих ячеек создали, и к весеннему ледоходу намечается большой мятеж.

Не верили мы этой анонимке, но сидим и оцениваем. Чесноков руководит. Старший он тут, и у него большой опыт и кругозор:

— Мог ли автор анонимки знать, что эти люди из Китая?

— Сомнительно. По слухам разве. Но откуда такие слухи и где они рождаются?

— Дальше: могли ли эти люди «прогуливаться» по селам?

— Нет! Это исключено. В тайге бы они скрывались, по зимовьям. Туда бы и казаков приглашали. Податливых обработали бы, и если что, втихую бы уничтожили.

— Мог ли автор узнать, что создано «множество повстанческих ячеек»?

— Нет, не мог! Одну, допустим, в которую его самого привлекли. Но ни в коем случае не больше. Конспирацию враги знают.

Решено было информировать штаб отряда и окружной отдел, что мы не можем отвлекаться на эту анонимку. Так и написали: не верим!

Общее мнение было такое, что непосредственно по линии границы нам никакие осложнения не угрожают. Следовало опасаться прорыва вражеских групп в наши тылы, к складам зерна, горючего и тракторным паркам. Темным пятном оставались верховья Урова, недавно включенные в нашу зону.

— Что на Урове? Как там? — спрашивало меня начальство.

— Проехал только и мало что узнал. Ново для меня все, условия с большими своеобразиями. Пашни и сенокосные луга от поселков далеко, за десять и более километров. Там настоящие строения, дома, и оттуда тропы на Чирень и на Шилку. Пока не все я понял. Для чего-то они железо на подковы завезли. Казаки ж коней не куют. На войну только. Нескольких коней посмотрел. Чистые и холеные, хоть на императорский смотр...

— Настроение как?

— В том-то и дело! Никаких жалоб и претензий. Правда, мало я успел. С кем-то с глазу на глаз поговорить не удалось — табуном за мной ходили. Других дома не оказалось. Новую жизнь хвалят. Но врут они. Ничего нового они там не создали. И старое разваливается. Не нравится мне там. Потому и приехал, чтобы отряд информировать. И хотел бы еще там побывать. Тогда и исповедоваться проще было бы.

— Ладно, мотай! На трое суток, не больше. Приятель как там твой?

— Максим Петрович? Не застал. В Читку, говорят, подался. Для чего бы это? Партизанское удостоверение ему выдали. Значит, не из-за него. Разобраться бы и в этом деле надо.

— Ты с ним поговори!

— Это уж обязательно. Тяжелый он человек. Трудно с ним вести беседу. Но пока я ему доверяю...

Выехал еще до рассвета. По-местному это время первого чая. Между прочим, в те годы казаки не пользовались часами и в обыденной речи не употребляли даже этого слова. В сельском быту большая точность времени не требовалась, и его отрезки определялись так: первый чай, второй чай, обед, паужин и ужин. По мере надобности добавляли: поздно вечером, в полночь и на рассвете.

Хотя и выехал до рассвета, но не повезло. Где-то пониже мороз заковал Уров до дна, и вода вышла на лед. И над новым ее уровнем лед тоже образовался, и как бы двухэтажная река получилась. Лед слабый еще, и по такому через реку не проедешь.

Можно бы через прииск Кудеинский. Подальше только будет, и знакомые у меня там есть. На чай

пригласят. Но знаю я тот чай, приискательский! Под девяносто градусов...

Маленький был прииск и кустарный. Годовая программа меньше двухсот килограммов золота. Рабочих, соответственно, только несколько десятков. «Американка», деревянная эстакада для промывки песка, грабарка на конной тяге — вот и вся техника. Во всем остальном смекалка работающих, детей и внуков каторжан, и их мускулы.

Умение этих рабочих — старателей по-приисковому — вызывало истинное восхищение. С каким мастерством, например, они подводили воду на вершину «американки». Брали ее в горах и по деревянным желобам, используя только плахи, деревянные клинья и хомуты, подводили за километр и больше. Естественным замораживанием перекрывали не очень маленькие реки, чтобы отвести воду и разработать дно старого русла.

Решаю прииск миновать и пробираюсь через Лысую гору. Много тут гор и сопок. Опасные они и названия настораживающие. Винтовальная на Аргуни, Убиенная Малая и Убиенная Большая. А эта, Лысая на Урове, — из самых коварных. Оползневая. В зимнее время еще ничего. Оползни происходят чаще весной или летом. Правда, и сейчас трудно. От осенних оползней образовался уклон тропы в сторону обрыва. Искользко очень.

Коня послал вперед и сам иду за ним. Где тропа пошире или ровнее, он останавливается и меня ждет. Поощрения он требует — мягкого похлопывания по шее и голоса, конечно:

— Ну и молодец же ты, Горох!

Конь молодой. Пяти лет только и собственной выездки. Рыжий, высокий и хорошо сложенный. На вид тяжеловатый, но это обманчиво. Легкий он, быстрый и необычайно выносливый. Передние ноги в чулках и на лбу лысна. Словом, конь красавец и вдруг — Горох. С кличкой тут явно ошиблись, маху дали.

Лысая — не особенно высокая сопка. Метров пятьсот будет ли? Но мне несдобровать. Бойтся конь, трясется и покрывается испариной, в особенности там, где узкая тропинка прямо висит над обрывом. Но всаднику верит. Пока верит...

Спуск с горы еще трудней. На перевале остановил-

ся. Конь передохнул и успокоился. Пошли потом мало-помалу.левой рукой за трензеля придерживаю. Правую кладу на хrap. Слежу за глазами. Тревога в них и страх. Это уже опасно. Недалеко тут до потери веры в человека, а тогда погубит он и себя и меня.

— Спокойно, Горох! Спокойно, понял? Приседай на задние, на задние! Ты же умеешь... Ну так, конечно, так...

Прошли спуск. Стоим у подножия, успокаиваясь. Конь свою голову на мое плечо кладет. Осторожно и тихо. Не давит. Ждет он, чтобы я его по верхней губе пальцами пошлепал. Любит он такое, и я люблю. Знает, ему тут и кусок сахара положен. Впрочем, и на соль соглашается. И от кусочка колбасы тоже не отказывается. Московской только, копченой и сильно соленой. Вареных сортов не признает.

Дальше уже равнина почти и всего семьдесят километров. Одна только сопка перед поселком Ассимуни. А что мне и моему Гороху семьдесят километров и одна сопка!

Я и раньше встречался с Максимом Петровичем и немного знал его. Но те встречи были случайными, а эта беседа долгая и откровенная с обеих сторон. Тяжелым собеседником он оказался, озлобленным. Хорошо еще, что прямой. Жалоб не высказывал, но первоисточник его озлобленности был мне понятен.

Все забайкальские партизаны двадцатых годов получили от имени правительства особые «Партизанские билеты», предоставляющие их владельцам моральное удовлетворение и значительные материальные преимущества. Эти билеты вручались особо торжественно, на общих собраниях, начиная с наиболее заслуженных и старших по должности.

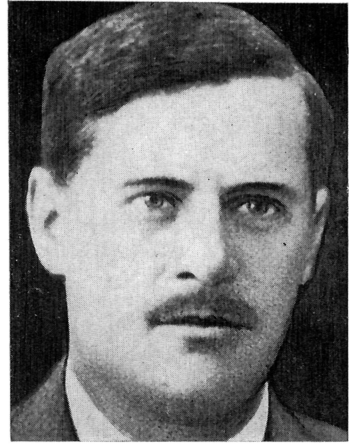
Максиму Петровичу, командиру партизанской сотни, такого билета не дали. Отказали ему в этом публично, на собрании:

— Мы, Максим Петрович, твои заслуги и твою лихость помним. С великой бы радостью тебе первому билет выдали, но не можем. Отказала тебе Советская власть. Говорит, что неактивен ты ныне стал.

— Так поступили с ним незрелые и близорукие люди. А может, и неверные.



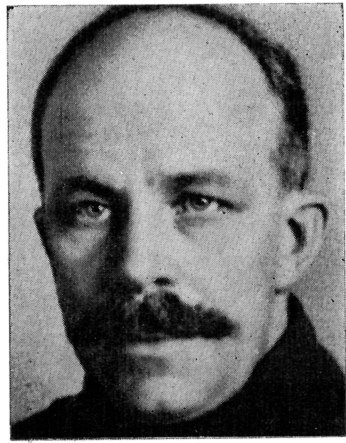
Г. Ровио



Э. Гюллинг



Ю. Сирола



Э. Рахья



К. Ниемеля, командир
Карельского добровольческого
отряда



И. Хейкконен



Руководящая группа лыжного отряда. Справа на-
лево: Т. Антикайнен, И. Хейкконен, С. Суси,
Э. Карьялайнен



Группа лыжников из отряда Т. Антикайнена



Группа командиров и курсантов военной школы, награжденных орденом Красного Знамени за участие в походе на Кимасозеро



Обелиск в Барышнаволоке



А. Анттила. 1955 г.



Э. Тойкка. 1969 г.



А. Валлин, Э. Тойкка, Т. Мякеля, И. М. Петров (Т. Вяля). 1967 г.



Финские социал-демократы



Дубровки с семьями



С. А. Мессинг



А. Х. Артузов



В. А. Стырне



Р. А. Пилляр



И. М. Петров со съемочной группой телефильма «Операция „Трест“». Крайний справа — артист И. Власов, исполняющий роль Т. Вяхя. 1967 г.



А. Самойленко



Группа пограничников в Забайкалье. Второй справа во втором ряду — И. М. Петров



И. М. Петров с женой Марьей Сергеевной. 1930 г.



На VII съезде писателей Карелии. 1975 г.



Кремлевский Дворец съездов. В перерыве торжественного заседания, посвященного шестидесятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. 1977 г.



Встреча И. М. Петрова с воинами-пограничниками Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа. 1980 г.

Долго волюнили с выдачей «Партизанского билета» Максиму Петровичу. И когда, наконец, решили этот билет ему выдать, районные власти сделали это как бы от себя. Не на собрании, как всем, а при случайной встрече:

— Мы тут, Максим Петрович, между собой обсудили и решили этот билет тебе выдать. Бери и владей.

Дело было сделано. Нанесли рану, и от нее остался рубец.

Сидим, говорим, курим и спорим:

— Нет, Михалыч! Казак я. Куда казаки, туда и я.

— Не то говоришь, Максим Петрович, не то! Разве казак не предупреждает других окликом «под ноги», заметив яму на дороге, острые камни или стекло?

— Но это ж, чтоб коней не покалечили, а ты хочешь...

— Хочу, чтобы казаков не калечили, чтоб им вовремя сказали: «Казаки, под ноги». И кто им это скажет, как не ты, партизанский сотник? Тебя знают и тебе верят...

— Сделано, кажись, все, чтоб мне не верили... и надо еще знать, где эта яма, чтобы не зря брехать...

Долго беседовали, до первых петухов. Не скрывал он своего недовольства в одном и сомнений в другом:

— Не я толкаю казаков на неверную стезю. Верный путь им покажу, если сам его увижу. Скажу ли тебе? Вряд ли... уж после, может, когда. Верю я, добра ты казакам желаешь, только цены того добра не угадываю...

Тут же, как бы мимоходом, и меня одернул:

— Ты, Михалыч, богато людям добра не сули! Не всему ты голова.

Пора прощаться.

— Ну что ж, Максим Петрович. Спасибо за откровенность!

— За что спасибо-то? Общую правду ищем...

Общую правду? Ну, конечно же! И где ей быть, как не тут, между трудовыми казаками и Советами. И эту правду я знал, вообще знал. Только в ту ночь она не давалась мне. Ни в чем я не сумел разубедить моего друга и чувствовал: может так случиться, что мы

и Советская власть потеряем его. Но сделать ничего не мог.

Не с одним Максимом Петровичем я побеседовал. В правлении колхоза и в поселковом Совете встречался с казаками. Только мало толку было. Как и в первый приезд, с глазу на глаз ни с кем не оставляли и за мной табуном ходили. Следили, должно быть. Но и это дало кое-что: ощущение надвигающейся беды усилилось. Сюда надо вернуться немедленно. И теперь уже на пару недель, не меньше. Надо побеседовать с десятками казаков и не жалеть ночей на беседы с Максимом Петровичем. Надо обследовать все зимовья, пади и долины, где они, засланные, могут быть, и все таежные тропы в Богдате и на Шилку через Газимур.

Я понимал, что начальство не будет удовлетворено и итогами моей второй поездки. Но мне ясно: зреет новый мятеж. Прямо об этом, разумеется, не говорю, а так, чтобы начальство само сделало вывод. Докладываю, что некоторые казаки строевых коней дома держат, подкармливают...

— Как объясняют?

— Разно! Врут только. То в тайгу выезжал и коня вернуть не успел, то жинка овса нагребла и пристала: «Приведи строевого! Пускай поест, а мы с детьми на него поглядим...» Казачка ж она...

— И это все?

— Почти. Заметил еще, что казаки меня еще больше остерегались, чем в первый приезд. Как ни ухищрялся, с глазу на глаз ни с кем не оставили.

— В пути что?

— Не останавливался. В темноте проезжал. Времени не имел.

— Друг твой как?

— Сложнее он, чем я думал, и более значительный. Если он враг, то — опасный.

— Думаешь, не враг?

— Знать бы! Пока не враг, думаю. Откровенный очень и прямой. Не встречал такого среди врагов. В оборотах речи у него есть слова, которые у казаков не уловишь. Откуда бы они? В городах часто бывает. Может быть, эти слова оттуда...

— Часто выезжает?

— За эту зиму уже два раза побывал в Чите. Это

тоже загадочно. Если бы враг был, не стал бы он высидеть и тихо бы сидел до своего часу...

— Не напугал ты его? Не сорвется он, как напуганный конь?

— Нет! Разговор был степенный, почти доверительный. И он не истеричка. Расчетливый человек и смелый. В поселке никаких постов не занимает, но всему он там голова, и без его участия и благословения ничего не произойдет.

— План наметил?

— Самый общий пока. Немедля вернуться туда недели на две. Все изучить там, а также побывать в Алашерах и Талакане. Самому проверить все зимовья, скирды в тайге, тропы в сторону Богдаты и на Газимур и Шилку. Не жалеть времени на беседы с людьми...

— Ладно, езжай! Десяти суток хватит?

— Мало, наверное. Дело покажет.

— Конь как?

— Досталось ему. На передние жалуется. Дорога очень жесткая была. Хороший массаж сделал. Может, придется перековать.

— Коновода берешь?

— Нет! Реки опасные стали. И скорость не та.

4

На следующий день я и выехал. Только не в верховья Урова, как наметили. Совсем в другую сторону меня направили — в Берню, на Чирень и Будюмкан. Должно, эта анонимка такой переполох в крае подняла! Донесение ночью пришло: «По заслуживающим доверия источникам...» — и дальше почти точно, как в той анонимке. И туда меня — персонально, без права выезда.

Бегу к Чеснокову:

— Напутали! Название сел путают. Мы ищем в Усть-Берне, вообще в верховьях Урова, и кое-что уже прощупывается там, а тут Берня сказано. Это ж черт знает где. И зона не наша. На анонимку клюнули...

— Не тарахти! Я тоже так вначале думал. Разобрался потом. Тут же название еще Чирень и Будюмкан. Они все в том краю.

— Может, и так. Может, там свое и на Урове свое. А если общее, то мы ближе к истине на Урове. Там и искать надо! Может, разрешат в Берню Васильева направить? Я бы начатое на Урове заканчивал...

— Говорил уже. Не прислушались. Приказали на Уров Васильева послать в случае надобности...

— Но на Урове я что-то уже делал! А в Берне мы равные. Оба там ни хрена не знаем...

— Говорил. Тебе ехать надо, и послушай мой совет: не торопись с выводами! Не считай с ходу, что руководство ошибается. На Урове мы тоже не очень далеко вышли. Все может быть, понял? Времени у тебя много. Проверь все хоть десять раз и уж потом напиши! Ты как, через Урюпино?

— Нет, далеко будет. Сегодня до Лубнини и там прямо по тропе на Чирень. Завтра к вечеру буду на месте.

— Нарочитых куда направлять? Где тебя искать?

— Пускай подождут в местном совете. Я их там сам найду.

Выехал, хотя ехать и не хотелось. Особенно смущало почти полное совпадение наименований населенных пунктов. Я в Усть-Берне искал и что-то уже нашел, а тут Берня сказано! Может, высокое начальство ввела в заблуждение карта? На карте есть только Берня, станица. Усть-Берня — поселок, и на карте его нет. Или для телеграфа название сократили? Пронизывала тревожная и обидная мысль: а если нас одурачивают? Ту анонимку, как приманку, подбросили и на крючок ловят? Неужели попались? Все внимание на Берню, а мятеж вспыхнет в Усть-Берне?..

Ехал быстро, и к вечеру следующего дня в Берне представился уполномоченным окружкома по посеву. Это хороший зонт. Объясняет продолжительное пребывание в селе и оправдывает назойливость. Уполномоченный обязан все знать! Пограничник даже в такой роли не в диковинку в те годы.

Хотелось иметь некоторую свободу действий, и чтоб за мной табуном не ходили, не следили, я иду на некоторый риск:

— Плохо, казаки, к севу готовитесь. Даже железа не завезли.

— Это, позвольте, товарищ уполномоченный, железа по какой надобности?

— Как по какой? Пахать-сеять на конях будете. Ковать коней надо?

— Отродясь коней к посеву не ковали. Они ж не только себя — друг друга шипами покалечат...

Переглядываются казаки, ухмыляются. Вышло, кажется. За несмышлениша приняли и следить не будут. Не опасен для них такой, даже если бы что и намечалось...

За неполные сутки осмотрел и пересчитал коней. Много сотен их под навесами. Худые все, заморыши. На таких казаки не выступают. Две пары в хорошем теле — выездные председателя Совета и председателя правления артели.

Накоротке побеседовал с несколькими казаками и уже к вечеру настроил донесение. Написал немного, но заносчиво: никто из посторонних сюда не приезжал, никаких повстанческих ячеек тут не создавал. Все это — брехня! И делать тут этим агентам нечего! Одна только и есть опасность — развал колхоза и провал всей посевной кампании. Добавил, что и мне тут делать нечего, на Уров просился, где осталась незавершенная работа.

Ответ получил через десять дней. Удивлялось руководство, как я решился на такие выводы и обобщения, ничего толком не изучив? И насчет колхоза хорошо указали, доходчиво: кто мешает мне помочь этому колхозу, раз я все его слабости так хорошо с ходу выявил? Сухо и жестко требовали работы, а не языкоблудия.

Не скажу, чтобы напрасно обидели. Могли бы написать и более наваристо. А ведь еще и Чесноков предупредил: не торопись, дорогой, с выводами!

Не отлеживался я в ожидании ответа и был сейчас куда более осведомлен. Встречался с десятками казаков, и мне помогал многочисленный актив станицы. По большой окружности были осмотрены все зимовья, шалаши, отдаленные поля, имеющие какие-либо постройки для жилья, и подступы к станице. По ночам патрулировали дороги и выставляли слухачей — не лают ли где собаки, не скрипят ли двери или калитки? Ничего не обнаруживалось. Всюду тишина.

Второе донесение послал более серьезное. Показал

объем проведенной работы и мой план действий на ближайшее время. Не скрывал, что никакой опасности здесь не вижу, но и на Уров тоже не просился. Кто бы меня теперь туда послал, ветрогона такого.

Но я в разрешении теперь и не нуждался. Кое-что надумал.

В станице я один, без надзора, и мои выезды в тайгу руководство не ограничивало. До Усть-Берни и обратно мне хватит трех суток. За такое малое время мое начальство сюда не успеет и местные товарищи искать не будут — мало ли почему в тайге задержался! И объяснение нашел первосортное, если бы даже в Усть-Берне со своими встретился: отдаленные зимовья проверял, в темноте сбился с направления и чуть было не погиб. Двое суток в тайге плутал и по следу случайного охотника добрался сюда. Если не поверят, так пускай проверяют. В тайге не такое случается!

Так все почти и получилось, по моей легенде. Сбился с направления и только в следующую ночь зашел к Максиму Петровичу.

— Нету Максима. С казаками в карты, должно, играет. — Это мне его жена, моложавая еще казачка, сказала.

Максим Петрович — и в карты в такой поздний час! Не верилось, но уточнять не стал.

Усталость одолела, и я уснул на покрытой попоной лавке у стены. Проснулся внезапно, как от удара. При тусклом свете коптилки различил силуэт Максима Петровича, с топором и брусом в руках, сидевшего у моих ног. Я не испугался, я его вообще не опасался. Если он и враг, то солидный и сонного у себя дома не ударит. Не позволит себе такое! Уставший я был очень и даже толком не проснулся.

— Что не спите, Максим Петрович?

— Сон что-то не идет. Топор вот проверяю. Обещал тут соседке-солдатке с утра кабана освежить... и поговорить бы надо, Михалыч...

— Может, утром поговорим, Максим Петрович?

И тут же, погружаясь в тяжелый сон, еле уловил:

— Можно и утром, Михалыч...

Недолго я спал, час или два, но проспал то, что мне давалось. Утром Максим Петрович меня избегал. С глазу на глаз не оставался. Днем, когда я отлучился в поселок, он вовсе исчез.

— Казаки приходили, и Максим с ними в тайгу подался... с мясом у нас худо. — Это опять его жена.

Врет, вижу, и еще не умеет. Не в мясе дело! Без свежины соседка бы Максима Петровича не отпустила. Да и сам он в достатке жил. Богатым его не назовешь, бедным — тоже. Доха его тут висела, тяжелая, праздничная, видать. Нету ее сейчас. В такой дохе он в тайгу не поехал. И кошевки нету. Так в тайгу не выезжают. Туда верхами, чтоб и по звериному следу пробиваться...

Теперь все стало ясным. Колебался Максим Петрович ночью, маялся. Какое-то решение ему принимать надо было, и он, может быть, понимания искал и поддержки. Что-то сказать хотел, а я ему: «Может, утром, Максим Петрович...»

Переболело у него, пока я отлеживался, и он другое решение принял. Какое, о чем?

В Берню вернулся тем же путем, впрямую только, за один хороший переход. О своей самовольной поездке никому не сообщил. О многом бы сказать надо было и многое на себя принять. На это многое меня не хватило...

Оставалось последнее — настойчиво добиваться перевода на Уров. И я начал писать просьбу за просьбой. Писал так много, что мне перестали отвечать. Надоел всем, видать, и особенно-то там во мне не нуждались.

Время шло, и когда до Первой оставалось несколько дней и в Берне все было спокойно, я самолично выехал на место постоянной службы. Доложу, думал, моему начальнику. Не может он меня не понять. Коня у него спрошу, если своего обезножу в такой езде. Попрошу пограничников и махну на Уров. Если там ничего не произойдет — по знакомой мне тропе вернусь в Берню и буду сидеть в станице хоть до второго пришествия. Кто знает, думалось мне, может, я еще и успею сказать: «Под ноги, товарищи казаки, под ноги!»

Ехал очень быстро. Гнал коня, как никогда себе не позволял. Не шадил и себя. Часто бежал рядом с конем, и все подъемы и спуски пешком. К утру проехал половину пути, километров семьдесят. Конь хотя немного и устал, но бежал еще охотно. Знал я его и верил. Одну остановку, думал, сделаю у Сахарной го-

ловки — так одно место там называлось, — накормлю коня и там уж безостановочно до места.

И тут Горох захромал на переднюю. Слегка вначале, а потом все больше и больше. Осмотрел ногу и сразу ничего не заметил. Подкова на месте, стрелка не помята, копыта и бабки холодные. Понял потом — лопатка, плечевые сухожилия. Боже мой, как допустил такое! Теперь уж только шагом. Я впереди и конь за мной. Как трудны эти километры для уставшего человека и обезноженного коня! Успокаиваю коня:

— Ничего, друг Горох, не робей! Не оставляю тебя я в тайге, понял? Мы еще повоюем, Горох, рубанем...

Только поздно вечером, около полуночи, я предстал перед моим начальником. Он был встревожен и озадачен:

— Почему ты здесь? Что случилось? Отряд на проходе с Хабаровском. Ждут твоих сообщений... уточнено уже — начало в ночь на 1 Мая! Это ж сегодня...

— Саша, — только в семейном кругу я так называл моего начальника и друга, — ни хрена там не будет. Поверь мне, Саша! Не такой же я идиот, чтобы за месяц не разобраться. Одурачили нас, приманку тогда подбросили и на крючок наши попали. На Уров мне надо, Саша...

— Уров взял на себя отряд...

— Врут они! Ничего там отряд не делал. Был я там...

— Ты оттуда сейчас? Не из Берни разве?

— Говорю... я там бывал. Туда верных людей посылал... Там все может быть. Дай мне поспать часа два и коня своего дай. Гороха я обезножил. И пограничников звена три мне дай. На верховья Урова поеду. Может, еще успею. Оттуда я один в Берню переберусь. Тропа там есть, я ее знаю...

Понял меня мой начальник и — поверил. Пожалел даже, наверное. Уж очень я был утомлен и издерган.

— Ладно, иди спи! Сделаем, как говоришь. Моего коня бери, и пограничников дам. Будем считать, что ты из Берни никуда не выезжал. В тайгу разве только... На худой конец, выдумаем легенду, выкрутимся...

— Не будет там ничего...

— Ладно, иди спи. Самойленко группу подготовит и тебе позвонит.

Хотел просить, чтобы Чесноков мне еще Сашу Самойленко дал, но не решился. Знал я, не даст он его, и я бы не дал. Нужен он тут, в особенности в такое тревожное время.

Красноармейцем поступил к нам этот рыжеватый ачинский сибиряк с мальчишескими веснушками. Настойчивостью и трудом за пару лет Самойленко вырос в деятельного и умелого оперативника-следственного с большой пробивной силой. Его любили все. Товарищи и старшие по службе верили в него, и в этом — основа любви к нему и дружбы. Товарища и брата в нем нашли наши женщины, и он был для всех и братом, и другом. Конечно, женщины его и эксплуатировали. Узнав, например, что Самойленко в районный центр собирается, довольно отдаленный, женщины тут как тут:

— Саша, милый, соски привези моему малышу, которые для молока, и таких...

— Знаю! Сам сосал.

— Мне резинки, Саша. Дамские проси. Знают они...

— Сам знаю. Второй год вожу...

В ту ночь, на Первое мая 1931 года, я уснул спокойно. Знал: раз подготовку людей и коней поручили Самойленко, значит, все будет и правильно и вовремя...

Года через три мы с ним встретились на западной границе. Я к себе его приглашал и обещал мигом оформить перевод, службу подходящую и продвижение. Не согласился Самойленко:

— Не настаивайте, прошу вас. Я ваш ученик и мыслю вашими категориями. Сейчас хочу свои силы попробовать в иной среде. Может, после когда-либо...

В сорок первом встречались довольно часто. Самойленко учился в Москве, и по воскресеньям приезжал ко мне в Кусково. Он забавно рассказывал, как его приняли в учебное заведение, доступное далеко не всем желающим.

— Вы же знаете, в образовании у меня довольно большой недобор и на том нужном языке я и плакать не умею. Понимал — отчислят, и по утрам искал в списке отчисленных свою фамилию...

— Ну, и как же?

— Не догадываетесь? Посмотрите на меня хорошенько! Ничего не замечаете?

— Ничего будто...

— Вот в том-то и дело! И все так! Только сопливые девчонки еще в школе эту мою благодать заметили, рыжим называли, а мои брови поросьячимп. В них-то вся сила и оказалась. Дошло?

— Признаться, не очень.

— Это ж так просто. Когда меня пригласили в приемную комиссию, ее председатель поднялся со стула, обошел вокруг меня, осмотрел со всех сторон и пришел в неопишуемый восторг.

— Принять! Без всяких оговорок принять...

— У него, видите ли, образование...

— Наплевать. Мы же школа, научим! Вы только посмотрите на цвет его волос и бровей! Во всей Германии нет ни одного мужчины так похожего на истинного немца, как этот старший лейтенант. А уши, обратите внимание, оттопырены как раз в норму...

Так меня приняли в школу, — и ничего. Не отстаю в учебе.

После войны я долго разыскивал Сашу Самойленко. Написал немало заявлений и писем, но мне не ответили. Нашли, что раз я никем не прихожусь разыскиваемому, как и он мне, значит, я просто любопытствующий, которых всегда хватает.

Чеснокову, — он уже давно был генералом, — ответили: погиб Самойленко осенью сорок первого в районе Старой Руссы.

Могли бы встретиться там, но не довелось.

Я только уснул, кажется, как продолжительный и резкий телефонный звонок поднял с постели.

— Что? Утро уже? Коня подали? Ты, Саша?

— Тревога, товарищ начальник. По заставам команда «к бою».

«К бою»? Не «в ружье» даже? Значит, что-то очень опасное и серьезное. Прибегаю. Мне близко — только через дорогу и маленький манеж. Чесноков меня опередил или, скорее всего, он тут ночь и провел за столом, у телефона.

— Сергиенко доложил из Нижней Вереи: в сторону Ильи замечена перестрелка из большого числа винтовок и были слышны взрывы ручных гранат. Телефон с Ильинским постом не работает. Сергиенко на лучших конях выехал на выручку. Ты займись с оперативной. Я буду у телефона.

— Коля, — кричу я Васильеву. — Подними группы

содействия на прииске, в Мальках и Закаменке. Следи, чтобы командиры групп непременно сидели у телефонов и дежурные тоже. Я занят с заставами.

Разрабатываем план. Без суетливости и молча.

В действие предполагаем включить четыре пограничных заставы. Крайняя — восточная — занимает не только свой участок, но и полностью участок соседней. Наличный состав освободившейся заставы поступает в распоряжение сформированного отряда.

То же самое осуществляют третья и четвертая заставы. Таким образом и набрался небольшой кавалерийский подвижной отряд. Скромный по числу всадников, но ведь это пограничники!

Всем скорость максимально допускаемая — один крест. Это означает, как можно быстрее, но сохранить коней.

Мучительно медленно проходит время, и напряженность все нарастает. В Илье только временный пост и малочисленный. И здание временное, стены не укреплены от пуль, нет окопов и скрытых выходов. Командует этим постом младший командир, срочной службы, не обстрелянный. Далеко нам до Ильи, часов шесть — восемь на лучших конях. Значит, мы Илье не поможем. Сергиенко ближе, часа два всего, если пожертвовать конями. Но и два часа — это 120 минут боя! И как погубить коней! Теперь надо и на это идти. Граница там открытая, и гибнут люди.

Вызывает Чесноков, всех бегом. Налаживается связь с Ильинским постом:

— Илья? Это Илья? Кто разговаривает? Назовите фамилию, имя и откуда родом?

— Понял! Узнал. Большая банда напала? Отбились и потерь не имеете? Молодцы! Обнимаю, благодарю!

— Куда ушла банда? В наш тыл или через границу в сторону Урова? Понял!

— Убитого оставили? Немедленно позвать местных казаков для опознания трупа... Были уже? Кто? Убитый Пичугин Максим Петрович из Усть-Берни? Да, понял, понимаю...

Чувствую, как краснею и горят уши. Все теперь так ясно, обидно и унижительно... Многого знает и мой начальник. Вида только не подает. Не знает он только, как я этого Пичугина упустил. И никогда не узнает,

потому что я ему этого не скажу. Не из-за страха. Хуже — из-за стыда.

Встать бы мне надо было в ту ночь! Рассказал бы он мне тогда или в разговоре я сам правду бы уловил. Или опасность хотя бы. А я ему: «Может, утром, Максим Петрович...»

И днем, когда он исчез, еще не поздно было. Приехать бы сюда надо было и настоять на аресте! На Урове переполох поднять и не наших, неверных выявлять в шумихе.

Правда, мало я тогда еще знал. Решимости было еще меньше...

Тут же меня назначили командиром сформированного отряда, и первый, самый общий приказ: «Немедленно выступать вверх по Урову. Насесть на след банды, неустанно преследовать и уничтожить. Не допускать истребления бандой советских людей и ее прорыва в Китай».

Провожая, мой начальник обнял меня:

— Действуй, дорогой, по обстоятельствам. Там тебе виднее. Первое донесение вышли из Ассимуни. В дальнейшем ежедневно — мне или в штаб отряда, куда ближе...

5

По выезде из станицы, на открытой поскотине — малый привал. Обычно это для проверки седловки и вьюков делается, а тут еще и особенное назначение — информация личного состава об обстановке.

На Ильинский пост напала неизвестная банда. Пост отбилась и потерь не имеет. Банда удалилась в сторону верховьев Урова. По-видимому, в ее составе часть местных казаков из уровских селений. Наша задача — преследовать банду и уничтожить ее, не допуская убийств советских людей. Фронт внутренний. Поэтому никому никакого доверия, но и никакого открытого недоверия. Всюду сдержанность и молчаливость. Переходы будут большие. Следите за потниками и вьюками, подковами...

Да, фронт внутренний, и даже такой информации в населенном пункте или в лесу давать нельзя было.

Могли подслушать, а в тайге еще и обстрелять с малых дистанций.

Переправа через Уров была трудным и опасным делом. Вода поднялась на метр и вышла на лед, образуя как бы вторую реку над льдом. О проезде через Лысую гору не могло быть и речи. По таким тропам конные группы не пройдут, и любой вражеский болван там бы всех перещелкал. Решаюсь на переправу бродом, группами — иного выхода не было. Реку преодолели благополучно. Тут же, за последними конями, лед поднялся и на Урове начался ледоход.

К наступлению темноты достигли Горячих ключей, еще одного из чудес Забайкалья. Горячие ключи — настоящее озеро на склоне высокой отлогой сопки. Вода в нем горячая, и, как говорили, в высшей степени целебная. Съезжаются сюда к лету больные. Много их, десятки или сотни наберется. Разные у них хвори людские: у кого туберкулез, кто желудком мается, на лому жалуется, или — женские. И все сюда, надолго. На все лето. Отроет лечащийся себе яму-ванну у берега, подходящую по размерам, и сидит в ней часами и днями, лишь изредка обновляя воду. И так все лето.

Кому-то польза от такого лечения. Иначе бы слава об этих водах не распространялась. А слава эта велика, и вера в целебные свойства этой воды непоколебима. Как-то в зимнюю пору на тропе встретил казака. Из Марьина он был, и мы немного знали друг друга. Слезли с коней и закурили:

— За водой поехал с двумя четвертями. Моей бабе бревном ногу переломило, и эта вода на примочки полезительна...

Около полуночи, с большими предосторожностями, с тыловой стороны вошли в поселок Ассимуни. Казаков дома не оказалось. Казачки одни, малые дети и старики. Казачки злые. Шипят как гадюки и повода для ссоры ищут.

— Сказано тебе — нету казаков! Под подолом не держим. Аль показать тебе надо?

— Благодарствую! Нужды в этом нет.

— Не хочешь? А может, я как раз тебе показать хочу. На, погляди! — И, нагибаясь, поднимает юбку.

Попов прибежал. Он помощником по политчасти был, и уже весь поселок облазил:

— Ты тут что-нибудь понимаешь? Казаков увели...

Пока я только одного Попова понимал. Ему политдонесение послать надо, и потому в нем такая резвость родилась.

— Повремени малость! Охрана выставлена, оборона организована, и коням нашли укрытие от пуль. Разведка тоже вышла в Талакан. Людей сейчас накормим и будем писать каждый свое. Ты политдонесение, а я — боевое и разведсводку.

Сели мы с ним у мерцающей коптилки. Сидим и курим. Ничего не пишем. Я на свой палец смотрю и Попову его показываю. Попов головой мотает. Значит, из пальца высасывать не хочет. На потолок потом показываю и на палец тоже. Он опять головой мотает. Значит, и комбинированно, с потолка и пальца, тоже не хочет. И я не хочу и не могу. Конечно, Попов лицо ответственное, но на худой конец, он может сослаться на мои ошибки. Мне сослаться не на кого. Обстановку изучать надо, а она как старая высохшая коза. Ничего не выдишь!

Но вот первое донесение от разведки из поселка Талакан. И там казаков дома не оказалось. Приехала туда мятежная группа, со взвод примерно, из Усть-Берни и Алашери. Подняли казаков по тревоге и увели. Несколько местных жителей встретили эту группу на конях, с винтовками и шашками. Видно, все сговорено было заранее. Насилий не было, колхоз не разгромлен и семенной фонд в сохранности.

Маловато этих сведений, и мы анализируем то, что знаем.

Выступили казаки четырех поселков: Ассимун, Талакана, Алашери и Усть-Берни. Строевых казаков в них от силы полтора. Добавим еще пару десятков стариков и подростков и, допустим, десяток главарей из Китая. Может быть, еще беглых столько же. Всего никак не больше двухсот человек.

Политические лозунги либо не выставлены, либо нам выявить их пока не удалось.

Вооружение достаточное. Винтовки у казаков остались еще со времен Дальневосточной республики, а патроны, по семь копеек за штуку, «Охотсоюз» доставлял в неограниченном количестве в любой поселок. Гранат тоже много. Хранились они в тайниках и доставлялись из Китая, как, возможно, и ручные пулеметы.

Лошади хорошие, в теле и выносливы.

Казаки — охотники, и тайгу знают до больших глубин, измеряемых сотнями километров.

Возникали недоуменные вопросы. Почему не было насилий? Почему не разгромлены колхозы?

Прямого ответа на эти вопросы мы не имели и пришли к выводу, что до нападения на Ильинский пост истреблять актив и громить колхозы мятежники боялись. Как бы мы об этом не узнали! Отложили на более позднее время.

Но нам ничего не известно, что произошло с ватагой после неудачи в Илье.

На Ильинский пограничный пост напали, по-видимому, вследствие ряда причин. Чтобы связать всех в банде страхом наказания за общее злодеяние. Успешным налетом на пограничный пост поднять «боевой дух» тех, которые колебались. Знали они, что в Илье малочисленный временный пост, но его разгром можно было бы выдать за разгром целой заставы, и это свидетельствовало бы о большом размахе повстанчества.

После неудачи в Илье положение осложнилось. Главари вынуждены будут принимать самые срочные меры к укреплению спаянности ватаги, и теперь надо опасаться убийства и бывших комбедовцев, даже из числа таких, которые по ошибке или из-за страха присоединились к банде.

— Значит...

— Нельзя давать им покоя. Надо...

— Ну и голова у тебя, дорогой! Только не по чину досталась. Я тоже именно об этом думал, товарищ Попов. Самое бесчеловечное сейчас — половинчатость и медлительность. Будем неотступно преследовать до последнего издыхания. Ни минуты покоя. Но и этого мало. Давай попробуем и слово. Напишем воззвание к казакам, в тайге налепим на деревьях и всюду на стенах общественных зданий!

Попов согласился, и мы сочинили примерно такое обращение:

«Товарищи казаки!

Кто вам говорил, что вы против Советской власти? Вранье это и чепуха. Какие же вы враги трудового народа? Ошиблись вы, и за эту ошибку мы вас наказы-

вать не будем. И за Илью не накажем. Ничего у вас там не вышло, и мы потерь не имеем. Вернитесь домой! Пахать и сеять пора. Коней сдавайте, где брали, и оружие нам сдавайте! Беритесь за посевные работы. Никакого наказания вам не будет.

Людей только не обижайте и не троньте общественного добра! За такие дела мы строго накажем.

Вернитесь домой, казаки! Побаловались и будет!»

Обсудили мы с Поповым наше творение и крупно подписали. Знай наших!

Я настолько гордился нашим обращением, что копию его приложил к боевому донесению. Через несколько дней получил новый боевой приказ и оценку моих боевых действий. Вообще-то все одобрили, но я был немало удивлен, узнав, что правом наказывать или амнистировать я вовсе не наделен. Оказывается, такое право принадлежит только самой что ни есть верховной власти. Особенно не ругали, больше добродушно ухмылялись...

— Попов! Ты это читал?

— Специально послали. Не поленились... А что им еще с нами, болванами, делать!

Хорошо мне с Поповым. Толковый человек и деловой! На вид только тихоня.

Напав на след врага, начали яростное преследование. Издали щекотали нервы пулеметами и при малейшей возможности бросались атаковать. Мятежники боя не принимали и, меня лошадей, уходили в глубь гайги. Заводные кони у них были, и в этом их преимущество. Хотя наши кони лучше казачьих, но они выбивались из сил. Потников сушить некогда было, и появились потери.

Попов предлагал дневку. Иначе коней погубим.

— Нет! Никакой дневки. Упустим — где потом найдем? Помет смотрел? Овсом уже не кормят!

— Вымотают, чтоб потом напасть...

— Нет, не до нападения им. Неудача в Илье и потеря командира выбили их из колеи. Банда какого-то выхода ищет или чего-то ждет. Что она может ждать? Либо прибытия новых больших сил, либо примирения с нами. На новые силы у них уверенности нет, но на примирение надеются. Потому они и избегают столкновения с нами, избегают появляться в населенных

пунктах, и за десяток дней уже не было ни одного акта насилия...

— Значит...

— Преследовать, товарищ Попов. Ни минуты им покоя!

Так мы и делали. Не пропали даром и наши обращения. Попов за ними следил и однажды сообщил:

— Воззвания все сняты. Не рвут их, а аккуратно снимают.

А вот и первая ласточка, казачище огромного роста с лихими усами. Встречал я его, когда он за пропуском на охоту в Китае приходил. Талаканский, не то Илларион, не то Илларионович. Хороший он хозяин, говорили, и охотник что надо. Плут только несусветный и рука у него с клеем. Прилипает к ней чужое добро.

— По этой бумажке я, значит. Из тайги сдаваться пришел. Коня под навес поставил колхозный. Подковы снял... шашка вот...

— Винтовка где? Патроны и гранаты?

— Не было у меня. Обещали, когда Илью возьмем.

— Вон отсюда! Иди откуда пришел! Сказано было — с оружием! Ну, пошел!

Вернулся через час. Винтовку принес, патроны и две гранаты. Японские, с фитильным шнуром для бросания.

— Извиняюсь, начальник. Ошибка вышла. За поскотиной ховал... Может, думаю, еще сбежать придется... Запал один затерялся. В земле, может...

— Убивал?

— Что вы, начальник, отродясь смертоубийством не занимался.

— Грабил? Чужое добро к руке прилипало? В суммах что?

— Наговорили, начальник, завидуют которые...

— Ну, тогда — пошел!

— Это позвольте, куда же мне теперича?

— Что, дом свой забыл? И чтоб с утра на работу!

Пошли потом десятки за десятками. И всем одинаково — оружие положи, коня сдай и с утра на работу. Никаких допросов или проверок — ничего!

Однажды в тайге к нам подъехала казачка из Ассимуни, молодая и бойкая:

— Казаки вернулись. Дома все, и коней вернули. Оружие при казаках. Сдавать его некому, и чтоб сло-

во им какое сказали... Самим им неловко и опасаются которые. Вот меня послали.

— Ты бы и приняла у них винтовки.

— Не можно, начальник, чтобы баба у казака оружие отбирала. Запутались они и виноватые, но так обижать казаков негоже...

— Ладно, убила. Сложить оружие в поселковом Совете. Записать, кто и что сдал. Приедем и проверим. И чтобы охрана была. С утра все на работу. Никакого им слова больше не будет! Поняла?

— Как не понять! Все поняла...

Попов, видать, не сразу меня понял.

— Поеду к ним, поговорю.

— На черта это! Все они великолепно понимают. Боятся, конечно. Но пусть и помучаются в неизвестности. И такое наше к ним пренебрежение тоже немалое наказание...

Долго и тщательно подготовленный мятеж провалился, не нанеся нам заметного вреда. Все казаки вернулись в свои поселки. Убито два человека. Пичугин Максим Петрович, главарь этой ватаги, был убит при нападении на Ильинский пост, и нелепо, от случайного выстрела, погиб молодой казак Закаменского поселка, активно помогавший нам.

Пять человек остались в тайге.

Казаки дружно приступили к полевым работам. Пограничников отозвали. С ними уехал и Попов. Меня оставили только с тремя бойцами, чтоб вернуть из тайги оставшихся там последних беглецов. Они не более других были преступны. Более пугливы только, из таких, которые боятся скрипа пароконной повозки. Задание самое простое: отыскать их и сказать, чтобы домой шли. Тут бы и мы пошли. Они к себе, и мы к себе.

За это задание я взялся с большой охотой, усматривая в нем практическое проявление той борьбы за человека в беде, о которой писал полпред Дерibas.

Чтобы этих беглецов не пугать форменной одеждой, мы под казаков снарядились и малозаметное оружие — автоматы «Томсон» — спрятали под малахаи. Такие автоматы в малом количестве нам достались от заморских купцов, в тяжелые годы вторгшихся в наши северо-восточные владения.

С неделю по тайге ходили, но беглецов не нашли. Пять человек в тайге, что иголка в сирде соломы! Может быть, далеко в глубь тайги подались.

В поселке Алашери, куда мы пришли за продуктами, нас ожидал приказ вернуться на место службы. Мы были без коней. Решили добираться по Урову.

Вода еще высокая и быстрая в такое время. За двадцатку купили старый бат — лодку, выдолбленную из бревна, — сооружение верткое и не в меру коварное. Но я в таком плавании себя считал знатоком и предупредил моих пограничников:

— Автоматы к поясу пристегните надежно, чтоб, когда будете пузыри пускать, не утопить в отдельности. На самое дно садитесь и за борта не держаться.

— Знаем, товарищ начальник!

Все шло хорошо. До самых Куденнских приисков проплыли быстро. Слышал я одним ухом, что там отводный канал готовили, чтобы отвести воду и разработать старое русло реки. Готов ли тот канал и откуда берет свое начало — не интересовался. Потом о нем и забыл вовсе. Тут вспомнил — посмотреть бы! Может, по тому каналу на бату и плавать нельзя? Может, на руках надо местами либо волоком? Только подумал об этом, как подхватило течением и понесло прямо на пешеходный мост, перекинутый через канал и одним своим концом низко висевший над водой.

Нос бата я успел направить под высокую часть моста, но сам кубарем вылетел в воду. Боли, конечно, не ощущал. Такие мосты из мягкой породы делаются и вода речная, известно, тоже мягкая. Холодная только очень. Плавал я хорошо, вскоре оказался под берегом. Не на берегу или у берега, а именно под берегом, в безопасности и в ловушке.

Вода подмыла откосы канала, и сверху к воде опустился слой чернозема, переплетенный корнями, и висел он отвесно, как ковер. Под такой «ковер» я и угодил. Воздух там был, и за корни держаться можно было. Только темно и вообще убежище мрачное.

Спустя некоторое время, с час, может быть, улавливаю людские голоса. Меня, наверное, ищут. Но они прошли другим берегом и моего попискивания не слышали. Выбираться надо было самому, пока окончательно не застыл, и пришлось ужом пролезать под этот чертов ковер. Все получалось хорошо. Автомат только

мешал, болтаясь между ног. Тоже мне техника, импортная уродина!

На поляне, в километре ниже по течению, застал моих пограничников и с ними несколько гражданских лиц с баграми. Без шлемов, мокрые и подавленные. Моему появлению обрадовались необычайно:

— Значит, вы не совсем утопли, товарищ начальник?

— И я так думаю. А бат где?

— Нету бата. Когда вас из него выбросило, мы бат остановить хотели, но он перевернулся и дальше пошел без нас. На Аргуни уж, наверное... А людей позвали, чтобы баграми шукать у кустов...

— На заставу бежать хотели, чтоб искали тоже... Но как там скажешь, что начальника почти у самого дома утопили...

Ближайшее селение — Кудеинский прииск. Но туда надо было бежать назад. До Мальков немного подальше, — но зато к дому! И мы, конечно, побежали в Мальки.

Повезло! Суббота оказалась, банный день. Крепко попарились и высушились. Ночью приехали в Усть-Уров. Здоровые, счастливые и хмельные. По такому поводу кто же от доброй чарки отвернется.

Операция завершается докладом об ее окончании. Такой доклад командование требовало и от меня. Но я чекистско-войсковыми операциями раньше не руководил самостоятельно и таких докладов не только не писал — я их никогда и не видывал! Составить такой доклад, следовательно, я не умел.

Мой начальник помог бы, но ему отпуск по графику дали. И я не хотел, чтобы он задерживался — за ним в отпуск моя очередь.

Сидел и писал этот отчет между множеством других дел, более важных уже хотя бы тем, что они были делами сегодняшнего дня, а события в верховье Урова — день вчерашний. Хотя мой доклад и приняли, но еще через пару лет уже другой начальник и более высокого ранга за этот доклад меня отхлестал:

— В архиве роюсь, нити ищу. Ваши писания мне тоже попались. Недоволен я вами, товарищ Петров, недоволен! Какой материал вы погубили! Изюминки в них нет, понимаете — и з ю м и н к и!

Писалось, действительно, тяжело. Саму сущность

как определить? Назвать бы кулацким мятежом, и был бы готов остов всей конструкции. Но не мог я так, даже ради той изюминки не мог.

Там, на Урове, все переплелось. Было кулацкое и, как всюду, в эсеровской упаковке. Троцкистское было, знакомое давно. Они, троцкисты, подносили антисоветские «идеи», выработанные более могущественными силами, лишь наклеив на них свой товарный знак. Это они силились показать советскую деревню, поддерживаемую могущественным пролетарским государством, как скопище рыбацких лодок, и потом внушали доверчивым людям:

— Из этих лодок нельзя построить морского корабля!

Броско получалось, образно. И — ложно!

Японское тоже было, шпионское и императорское.

Но все это лишь одна сторона событий, одна сила. Более подготовленная вначале и более активная, но — не единственная!

Была и другая сторона, другая сила, и в таком сложном переплетении я ее встретил впервые. Сила эта — пассивная вначале, а затем казаки все более активно сопротивлялись планам вражеского руководства. В какой-то мере казаки были застигнуты врасплох новым в селах и тем, что взамен нового сулили. Старое было еще дорогое, понятное, и казаки уступили уговорам. Они даже участвовали в нападении на Ильинский пограничный пост, хотя — это надо признать — особого усердия в схватке с пограничниками не проявляли.

Опомнились они потом, не допускали убийств и грабежей и мучительно искали путей возврата. Тут подошли мы, и наше преследование и наше «Обращение к казакам» завершили дело.

Как-то, позже уже, Попов говорил:

— Как все это сложно! Не просто революция и ее враги, не просто — «кто не с нами, тот против нас»... И откуда эта фраза?

Мятеж на Урове подготавливался давно, и еще тогда Максима Петровича намечали в подставные руководители. В подставные, не больше. Он обладал такими личными качествами, которых начисто были лишены организаторы антисоветских авантур — смелостью, волей и имел честное имя. Вначале удалось по-

ссорить его с органами власти и якобы от их имени нанести ему удар по самому уязвимому месту — по боевой славе этого партизанского сотника. Проживая по отдаленным зимовьям, эмиссары белых центров месяцами обрабатывали его посулами, уговорами и угрозой. Им же, используя связи в советских сферах, удалось направить наши усилия по ложному следу.

Справедливость требует сказать, что именно Максим Петрович не допустил убийств и грабежей в первый день выступления, какой при мятежах обычно бывает наиболее кровавым.

— Казак я и я с казаками. Обижать их не позволю. А что же получится, граждане хорошие, если казак на казака пойдет?

Может быть, подлинные организаторы в тот день особенно сильно на убийствах и не наставляли, не торопили:

— Пусть ватагу на Илью поведет. Тут его заменить некому. Но когда его руки в крови будут, нашим станет, или мы его к ногтю.

Так бы, конечно, и получилось. Дальнейшее падение прервала смерть, рикошетная пуля и граната пограничника. Ватага сталась без командира, и после неудачи в Илье «высокие представители» скрылись в притонах Харбина и Шанхая. Дело — полагали они — было сделано.

Изловить истинных руководителей мятежа нам не удалось. И все же главное было нами сделано. Мы встали между казаками и их врагами и не допустили истребления советских людей. Не воплотились в действительность зловещие планы врагов о подведении советских людей под удары наших же карательных органов. По событиям на Урове никого не вызывали, не допрашивали и не преследовали.

Об этих событиях писалось в журнале «Огонек» в 1933 году. Рассказ то был или очерк, сейчас уже не помню. Название память сохранила — «Ильинский пост».

Мы стоим за государство,
а государство предполагает границы.

В. И. Ленин

1

Ошибки вызывают досаду, и я досадовал на торопливость при выборе места для дальнейшей службы после окончания учебы в пехотной школе. В порядке успеваемости мне третьим по списку дали право выбора округа, и я, не вникая в подробности, избрал часть в родном Петроградском военном округе и, к великому разочарованию, угодил в Башкирскую пограничную дивизию. В лесах, значит, буду, на болотах и не увижу больше столь дорогих сердцу уличных праздников, которыми жизнь только дразнила, не будет строевых смотров, парадов, не будет локтевой связи с товарищами, веселых вечеров, некуда пойти в выходной день. Впрочем, как я потом убедился, этих выходных дней тоже не будет, как и выходных ночей. Но надо же самому выбрать такое!

Предшественника не застал. Перевели его или уволили. Численность армии тогда до 590 тысяч сократили, и потому командиров без основательной военной подготовки, которым к тому же за тридцать, увольняли в запас и заменяли нами, молодыми. Правда, не так уж молоды и мы были, лет по двадцать — двадцать три, лишь на год-два моложе красноармейцев, большинство из которых прослужило в армии многие годы. Но и не старые тоже. Вспоминается, что в нашем пограничном отряде только один из командного состава, ветфельдшер, был старше тридцати лет. Страна была молодая, и молодые ею руководили, и молодые ее оберегали.

Казарменного фонда и квартир, конечно, не было. Мне показали крестьянский домик, в котором мой предшественник жил, и рекомендовали:

← Хорошо в нем. До кордона недалеко бегать,

с километр от силы, и пикет как бы по пути, в том лесу. Тепло у хозяйки, корова у нее, куры и поварить жуть как умеет. Сама одинокая, в соку еще, но себя блюдет. С местными мужиками, хоть и вдовый человек, не балуется, а с квартирантами что? Под одной крышей, поди узнай!

Зашел в дом. Все верно — в комнате просторно, светло, хозяйка приветливая, пухлая и игривая, но я ее испугался. Может, она и в соку, но по годам ровесница моей мамы, если не старше. И я сбежал, поселился на кордоне вместе с красноармейцами.

Так в феврале 1923 года началась моя служба в пограничной охране страны.

Красноармейцы встретили неприветливо и хмуро. Не как в пехотной школе, где курсанты встречают командиров строевой стойкой, сколько бы раз в день они ни приходили, а прямых начальников, от командира роты или отдельно расположенного взвода, дежурный встречает докладом.

Кто-то поднялся, без знаков различия, хотя в армии они уже были введены, представился:

— Помощник командира взвода, а вы кем будете?

— Я новый командир вашего взвода.

— Очень приятно. Из канцелярии уже позвонили. Располагайтесь...

— Доложить по-уставному не желаете?

— А что тут докладывать? Раз у ротного были, должны сами все знать, да еще и спят которые...

Осмотрелся. «Казарма» — одна длинная и узкая комната, в прошлом служебное помещение таможенного кордона «между Великим княжеством Финляндским и метрополией». Нары вдоль стены, пирамида для винтовок, полка для котелков и кружек над плитой и одна табуретка. Словом, не богато.

Накурено, пол в окурках, воздух тяжелый. Внешний вид красноармейцев подчеркнуто лихой — воротнички расстегнуты, у многих шинель на одной пуговице, обувь грязная, неисправная, многие без обмоток. Осматривая оружие, котелки и кружки, улавливаю слова как бы никому не адресованные, но предназначенные для моего слуха:

— Эх, братцы, за что воевали? За что мешками кровь проливали?

Понимаю, к порядку бы призвать надо, знаю и дру-

гое — не время, еще не время. Красноармейцы служили долго, многие с восемнадцатого года, устали от службы, ждали увольнения, недоверчиво, если не враждебно, относились к вводимым в армии строгим уставным порядкам, вытесняющим былую вольницу.

Я пришел к ним как носитель этих новых уставных порядков, отсюда и встреча «по одежке...»

Постепенно развернулась беседа, что-то вроде уставной разведки — кто ты и какая тебе цена:

— В Питере, говорят, уже и козырянье ввели, как при царе. Верно или брешут?

— Не слыхал такого. Взаимные приветствия при встрече обязательны.

— Взаимные, говорите. Наверное, только так говорят, а требуют, чтобы бойцы честь отдавали?

— И этого не слыхал, но требуется, чтобы при появлении старших младшие вставали. И здесь это обязательно...

— А как это понимать, кто старше? Кто годами старше или кто больше годов служит?

В голосе улавливается любопытство — на какой ответ осмелится командир?

— Ни тот ни другой. Старшинство в армии определяется по занимаемой должности. Кто выше по должности — тот и старший.

— Я боец и, значит, должён каждого сопляка приветствовать, хотя тот и пороху не нюхал, но в начальники, сучий сын, вылез, а я с восемнадцатого воюю. Но раз я боец, значит, и младший всех. Я всех приветствовать должён, а меня никто?..

— Все вас обязаны приветствовать, как и вы всех военнослужащих. Ведь сказано ясно — приветствуют друг друга поднятием руки к головному убору.

— А если пустая голова?

— Таких в армии не держат.

— А вы, товарищ командир, пороху нюхали?

— Пороху? Это ж просто! Выстрели и понюхай запах гильзы или патронника. Или не приходилось?

Беседа не удалась, превратилась в нежелательную пикировку, но, к счастью, заглохла, и я углубился в изучение полученных от ротного письменных инструкций. Следя за красноармейцами, заметил, что при мне в помещении никто не закурил, и я, вынув папиросу, вышел на крыльцо. Настойчиво преследовал во-

прос, с чего же тут начинать. Понимал, не с окрика и жесткой требовательности. А с чего же? Ответ подсказал приглушенный солдатский разговор:

— Не стал тут курить, вышел.

— Придется и нам тут при нем выходить.

— Ненадолго это, новая метла всегда чисто метет, а там обкатаем.

— Посмотрим, что он вечером сделает. Может, на границу пойдет?

— Пойдет он, как же! А тот много ходил?

— Посмотрим. Ежели что — в темноте разыграем.

Разыграете? Ну уж нет! Я сюда надолго приехал, и вы мне верное начало работы подсказали — с границы начинать, все с границы!

По телефону доложил ротному о принятии взвода, договорился со старшиной о доставке продуктов на завтра, а остальное время, до наступления темноты, изучал приказы и наставления, приглядывался к красноармейцам. Не курят в помещении — и я с чувством упоения отметил эту первую победу, пусть и малую, но победу, и при этом без потерь.

Часов в десять вечера собрался на границу.

— Вы на квартиру, товарищ командир?

— Нет, тут моя квартира. Правый фланг посмотрю, наряд проверю.

— В сопровождающие кого берете, для охраны как бы?

— Вы что, по одному ходить боитесь и вас всегда охрана сопровождает?

— Мы что, мы — бойцы. Нам так положено, а вы...

— Список ночного наряда на вторую смену на столе. Вовремя направляйте. Если позвонят, доложите, что я на правом фланге и вернусь к утру.

Дозорная тропа проложена над береговым обрывом небольшой речки, одной из таких, о которых говорилось в служебном приказе:

«Государственная граница есть черта, отделяющая территорию Республики от соседних государств. Она определяется или естественными рубежами (морями, реками, озерами, горами), или обозначается искусственными знаками (столбами, канавами, земляным валом и т. д.)».

Впоследствии понятие «государственная граница»

обозначалось более точно и верно, но это первое ее определение навсегда осело в памяти. Возможно, вследствие его изумительный наивности и незрелости. Впрочем, эту незрелость я начал понимать намного позже.

Граница, тянувшаяся по извилистой реке, была совсем рядом — где в нескольких шагах, где в полусотне метров от тропы, по которой я шел, и, к моей великой радости, от одного конца обхода в другой почти строевым шагом передвигались выставленные с вечера часовые.

Новичку граница представляется по-разному, в зависимости от его психологического настроения, но всем, наверное, — загадочной и таинственной. И у всех, видимо, общая гордость: вот тут я стою, на самом переднем крае, я первый страж моей страны!

Я стоял и любовался бравым видом и твердым шагом моих часовых. Смело идут, всем видом предупреждая — смотри не лезь! Да, что и говорить. Мы не ночные сторожа, отпугивающие злодеев дробью трещотки.

Боже, как близко от границы я стоял и как далек был от знания приемов и методов ее охраны!

Пикета сразу не нашел. Его землянку затопило, и люди уже неделю назад перешли в старую ригу на самом краю правого фланга. Темно в ней, конечно, и хотя красноармейцы устроили что-то вроде очага и вокруг него сколотили нары, — размещение было невысшимое.

— Кому докладывали о таком расположении?

— Кому тут докладывать? Командира взвода уж неделю как нету, а новый когда еще придет и что за гусь будет!

— Я новый командир вашего взвода, тот самый гусь...

— Извините, это мы так, к слову...

— Ничего, соберите вещи и направляйтесь на кордон.

— А пост как, пикет?

— Найдем решение, идите.

Я продолжил обход, но вскоре был остановлен сотрудником пограничного особпункта, который бесшумно, по-рысьи подошел ко мне сзади.

— Новый командир взвода, никак? Сказывали, охрану проверяете?

— Позвольте, с кем я...

— Пропуск? Пожалуйста. Должен сказать, ходите вы смело, шумно...

— А чего бояться на своей земле?

— Что верно, то верно. Вы никого не боитесь, и вас никто не боится, потому что смело ходите, шумно. Но мне пора,— и он тихо, как привидение, исчез в кустарниках.

Не скажу, что сразу, тут же, после этих слов, во мне пограничник родился, но они меня преследовали, не давали покоя и смущали: «Смело ходите, шумно... Вы — никого, но и вас никто». И как ловко в кустарнике скрылся. Шмыгнул, и нету его...

Дежурный, он же часовой по охране кордона, доложил:

— Никто вас не спрашивал, тревоги не слышать было. Только где-то на левом фланге раздался выстрел. Соседи, должно, в Александровском. Спать, извините, в квартиру пойдете?

— Моя квартира здесь.

— Тогда «расход» вам в котелке, на плите стоит, а хлеб на подоконнике. Спать у той стены ложитесь. Мы там маленько место оставили, и лягать только с одного боку будут.

— Хорошо. Вечернюю смену и меня разбудите к десяти часам.

Удовлетворенно отметил — на полу окурков и спичек нет. Наверное, и раньше не было, только меня на рога взять хотели — может, сдамся? Знал я этот прием. Давно ли сам из таких?

Ежедневные, по ночам больше, обходы границы, сон и харч вместе с красноармейцами, строгая проверка состояния белья, одежды, обуви, причесок, организация регулярного мытья в бане — все это вскоре сблизило нас, хотя не исключались и недоразумения.

Как-то, по совету сотрудников погранпункта, я запретил движение на границу через поселок, начал выставлять наблюдателей, «слухачей», секреты, часовых там, где их нельзя было обнаружить с той стороны границы, разрешил движение по дозорной тропе только для проверки следа.

— Почему же мы, товарищ командир, нынче на пра-

вый фланг ходим почти что через левый? Это ж сколько солдатским ногам лишку махать!

— Не через левый фланг, а лесом и кустарниками в тыл, чтобы жители поселка не заметили, а уж после поворачивайте на правый участок. Разве так сложно?

— Выходит, мы и своим гражданам доверять не можем. Чудно!..

Да, без веры в народ и жить бы не стоило, но, веря в народ и в интересы народа, мы банки и сберкассы на замок закрываем, не показываем образцов ключей и мест их хранения. Веря в народ, мы и границу охраняем, но никому не говорим, как это делается; даже в случае, когда у населения помощи просим, стараемся ограничить знания каждого пределами, необходимыми только ему. Читал где-то: «Солдат должен знать свой маневр». Хорошо бы и тут— свой маневр, но не больше!

На границе сложились особые обстоятельства, и она — не замкнутый самодовлеющий микромир, а частица государства, острейшим образом реагирующая на его требования и нужды. На нашем участке половина маленького села из двух десятков домов отошла соседнему государству, и жители той половины, что за разрушенным мостом, превратились в подданных чужой страны. Но ведь еще совсем недавно люди жили единой семьей, ежедневно встречались, на одной земле трудились, вместе радовались рождению ребенка и провожали на погост усопших. Общая была радость, общее и горе. А тут — граница! Не подходи к ней, даже не узнать, не захворал ли земляк, и записку не передать.

Родства и привязанностей между людьми граница не стерла, а тут еще такие заманчивые условия сложились, одно искушение, можно сказать. У нас плохо с питанием, одеждой, с предметами первого пользования, а там, за мостом,— всего навалом. Как громко звучит в такой ситуации шепоток спекулянта, контрабандиста: «Жить не умеете. На денежном ящичке, можно сказать, без денег сидите!»

И как тут устоять крестьянской душе?

В одном из документов, переданных ротным командиром, говорилось:

«Контрабандный промысел... стал профессиональным занятием пограничных крестьян, являющихся в этом случае лишь сравнительно мелкими поставщи-

ками контрабандного товара для более солидных торговцев, контрабандистов-оптовиков».

По каждому поводу с лекцией выступать не будешь, ограничиваешься самым нужным:

— Границу доверили нам, пограничникам. Ни ваших, ни своих ног жалеть не буду, если интересы страны требуют напряжения. Человеку с большими ногами на границе делать нечего. Если не сумеете пробиться на охраняемый участок незамеченными, то вернитесь в кордон. Маячить там не будем.

Так из раза в раз, пока дело не стало налаживаться, пока, хотя и медленно, навыки караульной службы не стали вытесняться приемами охраны государственной границы.

Строевые командиры в те годы политических занятий еще не проводили. Это была забота политрука роты, раз в две недели навещавшего кордоны. В остальные дни изучались уставы и наставления, материальная часть оружия, тут же тактическая подготовка, особенно сложная из-за малочисленности людей и неосвоенности новых тактических приемов, выдвинутых переходом на «групповую тактику», подсказанную учебником С. С. Каменева «Огневая рота».

В редкие свободные вечерние часы политбоец, умеющий хорошо читать, знакомил слушателей с материалами газет, в меру собственных знаний разъяснял редкие слова, труднопонимаемые обороты речи и термины. Эти «громкие чтения» были одним из самых решающих каналов проникновения большевистской правды в малограмотную красноармейскую среду.

Случалось, чтения превращались в вольную беседу, которая в конечном счете сводилась к одному и тому же вопросу — к чему стремились, чего хотели и чего достигли...

Вскоре пришел ротный политрук и с ходу объявил: «За вами я пришел, товарищи бойцы. Дивизию отводят в тыл, а старослужащие, которые так много и славно воевали, отпускаются домой, на отдых».

Я покрякивал бы душой, утверждая, что это сообщение вызвало у красноармейцев одну только бурную, безоговорочную радость. Напомню: шел 1923-й, и было о чем задуматься солдату, который завтра станет крестьянином.

Надо отдать должное политруку: не пытался сузить

круг вопросов, не обрушивался на тех, кто высказывал сомнения, стоило ли проливать столько крови, чтобы в деревнях вернуться почти к тому же, с чего начали,— батрачеству. Он сидел на единственной табуретке, за тем, сколоченным из патронных ящиков, столом, слушал и делал какие-то заметки. А казарма шумела:

— Пять лет как воюю. И под Казанью был, на Перекопе, Булак-Балаховича пощупал и тут уже второй год. Устал, и раз мы буржуев побили, то и армии делать нечего. Пора по домам...

— По домам, говоришь? Богач ты, что ли, либо болван? Я не меньше твоего воевал, а ехать мне некуда. Еще в том годе сестренка писала: отцу лошадь дали и землю отрезали. Корова раньше была, и теперь от нее телка. Но вернуться не приглашала, и знаю почему. У родителей еще двое сыновей, под двадцать им. Жирно мужиков на одну лошадь! А ехать придется, покорми, мол, батя, пару ден, а там в батраки пойду. Весна на дворе, наймут, поди...

— У меня и того нету. Писал еще в тот голод, а письмо вернули, и было сказано, что померли все мои. Если бы в город податься...

— В городе бы еще жить можно, но не пропишут — по месту призыва всех. И в городе работы тоже нету. Я на заводе учеником был, но в настоящие мастера не вышел и значит — никто. Еще осенью, когда слух насчет увольнения прошел, я на завод писал, чтоб насчет работы... Не приезжай покамест, написали. Как местного тебя пропишут, но работы нету. Стоим почти, а если кого нанимать и будут, то только через биржу труда, а там конца очереди не видать...

— Точно, кроме как через ту биржу, не устроишься. Я в отпуске по болезни был и в Питере две недели на лесном складе работал. Бывший сослуживец, еще на польском раненный, хромой, там заворачивал, по знакомству и устроил доски с места на место таскать. Но когда узнали, что не через биржу на работу поступил, а по знакомству, так тут же меня уволили и того хромого тоже, чтоб порядков не нарушал. Узнал точно — только своих питерцев принимают, и только через биржу. А если ты не местный, то езжай куда хошь. Но платили за работу хорошо. На двухнедельный заработок я себе хромовые сапоги справил, почти новые...

— Ты хоть в сапогах пойдешь, а я в этих...

— В каких сапогах? Нету у меня тех сапогов. У старшины они остались. И не так, чтобы он силком взял или обманом. Толково все пояснил: «Тебе, говорит, еще служить да служить, а твоих хромовых в тех болотах на неделю хватит или на две, а после босый будешь. Если хочешь по-умному, так ты эти сапоги мне уступи, а тебе я такие ботинки найду, что им и износу не будет. А если когда нужно — я из обменного фонда всегда исправные выдам..». Договорились мы, и он еще в придачу мою старую шинель на эту обменял, исправную вовсе...

— Это который старшина? Нынешний или тот, которого перевели?

— Тот самый, уехал вскоре.

— Аккуратный был старшина, чище полкового ходил, кавалер!

Терпеливый политрук слушал не перебивая, а в заключение только и сказал: «Не велено мне вам легкой жизни обещать. И не будет ее у вас, ровесников века. Не знаю, как там впереди, но на вашу долю и войны еще хватит, и нужды, вдоволь и того и другого. Особо трудно будет начинать. От деревни вы куда как высоко поднялись, и вернуться в деревню с пустыми руками вам нельзя. Вам, сознательным борцам за Советскую власть, вести за собой эту деревню к новой жизни, а она будет! И нет нам пути к старому. Надо, чтобы крестьяне это знали, поняли. Вот вам и надо всех до своего уровня поднять и вместе двигаться все дальше...

Бедная была страна, время суровое, и суровыми были его нравы. Кому из увольняемых до места призыва более двухсот верст, тем проездные документы по железной дороге выписывали, а кому меньше — тем продовольственные аттестаты из расчета по двадцать пять километров пешего хода в день, и — топай.

Ротный политрук не ошибся. Красноармейцы, ровесники века, выдержали все: особую враждебность к ним со стороны кулацких элементов, шатания мелкобуржуазной стихии в годы коллективизации, стройки первых пятилеток — и кто же не встречал их на фронтах Великой Отечественной войны, а после войны — на решающих работах по восстановлению разрушенного!

Шел май 1923 года. На границе тревожно как никогда. То были дни, когда вся страна с гневом и возмущением узнала о предьявленной нам ноте английского правительства, известной под названием «нота Керзона».

Организационная структура пограничной охраны на лобовом, Петроградском, направлении в тот год — с конца марта 1923 года по апрель 1924 года — была экспериментальной, добровольческой, и штатных политрабработников в составе Сестрорецкого пограничного отделения не было. Начальник пограничного пункта, руководивший четырьмя-пятью кордонами, старый член партии Э. Орлов поднимал местное население в помощь пограничникам, разъезжал по кордонам и разъяснял:

— Ультиматум, товарищи, такой, что его никак принимать нельзя, и для уточнений или переговоров все пути отрезаны. Нам сказано — или принимаете в течение десяти суток, или мы оставляем за собой право на самые крайние меры. А требуют невозможного — отозвать из ряда стран наших полномочных представителей, или послов, как англичане их именуют, да еще извиниться за то, что они там оказались и не по английским, а по нашим, советским, нормам там работают. Требуют оставить без охраны наши северные моря, выплатить компенсацию за наказанных у нас английских шпионов и еще требуют, чтобы мы не по нашим законам, а по указке англичан решали наши внутренние дела.

Понимают они, что Советская страна таких требований не примет, и, по всему видно, дело идет к крупному конфликту. Волчьей стаей или одиночками агенты врага будут прорываться к нам, чтобы посеять панику, где можно — убивать и организовывать поджоги, аварии, крушения... Отсюда задача — все на границе, чтобы не допускать прорывов, и если уж прорвались — преследовать до полного уничтожения. Ясна ли задача, товарищи?

Еще бы не ясна: добровольцы-пограничники — участники множества боев за власть Советов, и англичан они знали. Хорошо помню разговоры тех дней, особенно слова Э. Орлова:

— Англичане культурные, богобоязненные, своих рук в чужой крови не пачкают. Даже захваченных на

Севере красноармейцев не расстреливали, передавали наемникам и еще советовали: «Не убивайте, культурная Англия не одобряет излишнего кровопролития. На них грязная одежда, и я прошу — продезинфицируйте ее, а людей пока к дереву привяжите. Я надеюсь, вы понимаете меня, господа?» И господа понимали. Раненых пленных голыми привязывали к деревьям, а остальное довершали голод и свирепые северные комары... В Зимнем дворце, при входе со стороны Адмиралтейства, в первом этаже есть музей, временный, наверное, не то революции, не то гражданской войны. Так вот там — хорошие экспонаты, впечатляющие. Обрубок сосны помню, в человеческий рост, с сучком и потертой корой на вершине и с парой десятков зарубок на стволе пониже. Зарубки — учет повешенных на этой сосне красноармейцев. С севера доставлен...

— Пулемет у англичан хороший был, — добавляет кто-то, — полутяжелый называли, «люис». Они эти пулеметы в приманку как бы в спешке бросали, совсем исправные, с магазинами и стреляными гильзами кругом. Но только не тронь — все заминировано...

— Хорошо, что вы англичан знаете, — итожит разговор Э. Орлов. — От них и тут всякой пакости ожидать можно, но скорее всего они тут белофиннов используют или белоэмигрантов. Много их там, по разным странам, более двух миллионов, говорят. И это не дети, бабы или старики, которых в любой стране больше, чем строевых мужчин, а большей частью солдаты и офицеры средних лет, обстрелянные и легковозбудимые. Такое количество солдат не всякая страна выставит. Кронштадтских мятежников там тоже еще немало осталось. Конечно, не все они наши враги. Многие с самого начала по легкомыслию в мятежниках оказались или из страха, за «компанию» сбежали. А там, на досуге, в ожидании даровой похлебки, опомнились, опьянение прошло. Но бывает, и с покаянной речью возвращаются держа камень за пазухой, или тайком пробираются, по явкам... Слушачей ставите? Но надо смотреть, нет ли световой сигнализации с той стороны или с нашей.

Еще многое Орлов тогда рассказывал, учил иставлял. Не забыл и о нашем телефоне:

— Работает?

— А как же, в исправности.

Хорошая вещь телефон, но возни с ним было немало. Пограничная дивизия, уходя, захватила и свои средства связи. И как оставишь — табельные! Орлов нашел старинный телефонный аппарат, стеной, фирмы Эриксона, но провода или кабеля не дал. Нету, говорит, найдите сами. Часть провода и все изоляторы мы сняли, можно сказать, похитили с бездействующей с военных лет линии связи Петроград — Выборг, а остальной провод пограничники, как бы между делом, сами изготовили, раскрутив двухжильную колючую проволоку. Хорошо с телефоном, но когда мы всем кордоном сразу на сутки или на неделю на границу выходить начали, пришлось и этот аппарат захватывать, чтобы нам во вред никто им не воспользовался, и тогда он превращался в обузу. Но ничего, таскали!

Мы делали все возможное и, даже не замечая этого, превращались в пограничников. Метр за метром изучали весь участок — нет ли следов нарушителей границы, порой рисковали жизнью, чтобы чужаки не оставляли следы безнаказанно.

Эти бессонные дни и недели, непрерывные поиски, ошибки, радость первых находок и тяжелая, но чем-то необъяснимо приятная усталость привили мне любовь к пограничной охране, этому нелегкому виду человеческой деятельности, профессии жестокого времени.

Однажды ночью мне выпало поближе познакомиться с начальником Сестрорецкого пограничного отделения Августом Петровичем Паэгле. До этого мы беседовали с ним лишь при моем переводе из командиров взвода пограничной дивизии в начальники кордона экспериментального пограничного отделения ОГПУ. В дальнейшем он во многом определил мою судьбу, да и в эту ночь был поучительный разговор:

— Как все случилось? Как допустили прорыв?

— Вначале мы уловили выстрелы и человеческие голоса...

— Кто это вы?

— Я и работник пограничного пункта.

— Кто был старшим?

— Я, как начальник кордона.

— Дальше?

— Мы бросились на звуки выстрелов и тут же заметили двух лиц, метрах в тридцати, они бежали в сторону границы...

— Дальше?

— Мы подали команду «стой», но они, не останавливаясь, забросали отход ручными гранатами и скрылись в кустарнике...

— Дальше?

— Мы продолжали преследование, но вскоре и стрелять стало невозможно, поскольку пули пошли бы через границу, а там уже толпились финские полицейские. Возможно, встречали...

— Как вы стояли, когда команду «стой» подали?

— Рядом стояли, бок о бок.

— Так и в секрете лежали?

— Да, так рядом и лежали.

— Кто вас так расположил, чья умная голова посоветовала?

— Как-то само по себе получилось.

— Плохо, когда само по себе. Думать надо. Если бы вы расположились хотя бы в десяти метрах один от другого, исход дела мог бы быть другим. Вы понимаете, что я имею в виду? Диверсанты шли двумя группами, по два человека в каждой, и дистанция между ними, поверьте моему опыту, была около ста шагов. Первую группу ваша засада не заметила, а при попытке задержать вторую вспыхнула перестрелка. Те два диверсанта были убиты, вы не зря стреляли, а первые два прорвались. Кстати, команду «стой» вы во весь голос подали?

— Да, громко, вместе и почти во весь голос.

— И это ошибка. Нельзя так! Останавливать надо решительно и быстро, но без шума, чтобы не предупредить тех, кто, возможно, идет следом.

Не наказал меня Паэгле за этот промах, но у меня было еще немало границ впереди.

Менее чем через год, к весне 1924 года, структура пограничной охраны основательно изменилась — пограничный округ, пограничный отряд, комендатура и заставы, — и на границу прибыли пограничники в зеленых фуражках.

На мой участок приехал А. П. Паэгле для уточнения места под постройку здания заставы, первого, наверное, в Союзе. Осматривая участок, он остановился на опушке леса, воткнул палку в землю у куста можжевельника — тут! Постоял еще немного и сказал: «По-латышски Паэгле — можжевельник».

За одно удачное задержание он наградил меня месячным окладом из контрабандных отчислений и сказал как обычно скупо: «Растем, кажется». Он же рекомендовал меня для участия в чекистской операции «Трест» и в ту ночь сказал на прощание: «Верю вам и в ваши силы верю».

По выходе романа-хроники Л. В. Никулина «Мертвая зыбь» я начал розыски А. П. Паэгле, но его в живых не застал. По счастливой случайности узнал адрес человека, близко знавшего Августа Петровича в последние годы его жизни, и между нами стала налаживаться переписка, но она быстро оборвалась. В одном из писем я просил сообщить некоторые подробности из жизни Августа Петровича, и это письмо осталось без ответа... Идут годы. Может быть, некому стало ответить.

Хотелось бы надеяться, что одной из пограничных застав в Прибалтике будет присвоено имя Августа Петровича Паэгле. Хорошо бы! По заслугам это, и даже символично. Паэгле — это можжевельник, полезное дерево, вечнозеленое, под цвет фуражки пограничников.

2

Черное море, в моем представлении теплое, тихое и ласковое, в эти октябрьские дни 1925 года показывало характер. Сильный напористый ветер из-за гор обрушивался на город, крутил в порту океанские суда, валил телефонные и телеграфные столбы, сбрасывал наземь крыши домов. Меня, редкого в такие дни пешехода, кидало из стороны в сторону или внезапным порывом гнало совсем в ненужном направлении. Ничего себе — теплое и ласковое Черное море!

Черноморского пограничного отряда не было, и морское побережье тогда охранялось наблюдателями множества малочисленных и маломощных пограничных застав, по существу пикетов, подчиненных четырем отдельным комендатурам. Был еще катерок, автономная единица с бензиновым двигателем и грозным названием — «Истребитель».

На одну из таких застав в глухой бухте Дюрсо угодил и я. Что какое-то время мне снова придется служить в глухих местах, я знал, но что существуют

на земле и такие заброшенные уголки, не мог себе представить. В глубокой бухте — единственное сооружение из местного камня, в нем совмещенная кухня-столовая, спальня для десятка пограничников и с тыловой стороны «квартира» начальника — одна комната в шесть-семь квадратных метров на все потребности жизни. Впереди — море, по сторонам и сзади — горы, непроходимый лес, с душераздирающим воем шакалов по ночам. За тем лесом — виноградники, и в семи километрах — совхоз Абрау-Дюрсо, широко известный своими превосходными шампанскими винами. Там же баня, хлебопекарня, парикмахерская.

Настроение было подавленное. Оказывается, необычайно трудно в зрелые уже годы начинать жизнь сначала. Прожитое — столь дорогое и теперь, издали, такое милое — ежеминутно давало о себе знать, а новые привязанности еще не сложились. Но было и другое: новые условия требовали и нового опыта. Знания и навыки, с таким трудом приобретенные под Ленинградом, здесь никакой ценности не имели. Тут всюду своя специфика с примесью неподготовленности и застоя. Во-первых, отсутствие каких бы то ни было технических средств. Застава не имела даже бинокля, и эта невооруженность притупила стремление к активному поиску, пограничная служба практически превращалась в разновидность караульной службы.

Мое непонимание новых условий доходило до курьеза. В папке многочисленных служебных бумаг мне попала выписка из приказа начальника управления пограничной охраны края, в котором все начальники застав обязывались к какому-то давно минувшему сроку научиться пользоваться применяемыми на флоте семафорной азбукой и флажками. Тут же и я взялся за это дело, но едва усвоил один сигнал «Не понял, повторите», как на другое утро дежурный по заставе прибежал с двумя флажками:

— Вас, товарищ начальник, командующий вызывает.

Прибежали мы и встали рядом — я и красноармеец с флажками, и он просигналил катеру, который в километре от берега покачивался на легкой волне.

— Начальник заставы у семафора, — доложил дежурный.

В ответ на катере взмахнули флажками, и дежурный пояснил: «Велено вам флажки взять, так что — пожалуйте!».

Флажки я взял, и на все сигналы с катера отвечал единственным сигналом, который усвоил: «Не понял, повторите». Это продолжалось довольно долго. Потом катер стал удаляться, и уже другими флажками что-то просигналил. Дежурный объяснил мне: «Вас благодарят за прекрасное усвоение семафорной азбуки».

Как-то при встрече командир катера, он же рулевой, рассказал, что ему было приказано передать еще пару сильных служебных слов, но он не знал сигналов такого содержания.

— Может, передать устно? — спрашивает.

— Благодарствую. Догадываюсь.

В начале 1926 года был сформирован 32-й Черноморский пограничный отряд, и служба по охране границы стала более зрелой, активной и поисковой. В это время и меня перевели на другую заставу, которая именовалась еще и портом, хотя никаких портовых сооружений там не было. Корабли ближневосточной линии — «Пестель», «Ильич» и «Ленин», плоскодонная «Феодосия» — в тихую воду раз в неделю заходили в бухту, останавливались в полукилометре от берега.

Порт без начальника немислим, как и начальник без подчиненных, и потому был начальник несуществующего порта и при нем один матрос.

Независимо от начальника порта существовало «Морагентство» с большим штатом и при нем уполномоченный таможенного надзора. Для доставки с кораблей на берег редких пассажиров-курортников и нескольких ящиков магазину «Главспирт» «Морагентство» содержало большой баркас с командой — четыре гребца, рулевой и, разумеется, старший матрос.

На вопрос, не велик ли штат для такого грузооборота, последовал ответ:

— Ну что вы! Штат с расчетом на рост дан, на рост страны, ее морских перевозок. Тут еще такое будет...

Конечно, мы надеялись на рост и верили в него. До довоенного, 1913 года, уровня производства не так уж много оставалось, еще несколько усилий, а там мы пошлагаем размахисто и широко. Так верило и этим жило большинство народа, но далеко не все в разоренной войнами стране...

Командование информировало, наставляло и требовало: «Примерно одна треть контрабандных товаров проникает в страну через черноморские порты и бухты. Выявляйте пути проникновения и закройте лазейки». Руководство нервничало, и иногда проскальзывало обидное раздражение: «Доложите, чего в вас не хватает — желания или сил?» Задача была не из легких, но перелом назревал, что, кроме наших усилий, объяснялось налаживанием производства товаров широкого потребления: парфюмерии, косметики, шелковых тканей и прочих необходимых вещей.

Предупреждали: в числе бездомных бродяг, неторопливо идущих весной обочинами дорог на север, в Новороссийск, а осенью обратно, в теплый город Батуми, скрываются и уголовщина, и остатки разгромленных бандитских шаяк, «зеленых». Встречались и такие, но в основном эти люди жили надеждами на лучшее, мечтали о постоянной работе, оседлой и благоустроенной жизни.

Бандитизм, еще распространенный на Кубани и в горных отрогах, иногда проникал и на побережье. Однажды взволнованный женский голос сообщил по телефону: «Приезжайте срочно. На тракте в километре от села, — и она это село назвала, — разгромлен автобус, лежит в кювете, и труп мужчины около него...» На этом разговор прервался.

Расстояние было порядочное, более двадцати километров, и пока седлали коней, я запросил оперативного дежурного:

— Кто вам сообщил, фамилия?

— Себя не назвала...

Разгромлен был рейсовый автобус, забраны ценная почта и личные вещи пассажиров, убит инкассатор. Бандиты, четыре человека, как выяснилось, на крутом подъеме остановили автобус и, после грабежа опрокинув его в кювет, скрылись в горах.

Заход в бухту кораблей восточной линии до Батуми в летнее время превращался в затейливый праздник, в котором все: местная молодежь и люди среднего возраста, отъезжающие и встречающие, а также редкие в те годы курортники — показывали все, на что были горазды. Кто играл на гитаре, кто ударялся вприсядку, кто декламировал, а молодые, лет под двадцать, одинокие курортные дамы «из лучших дво-

рянских семей», волею судьбы супруги вечно занятых в городах добывающих капитал нэпманов, обещающе, заманчиво улыбались.

По долгу службы я встречал мужей этих дам, отяжелевших от прожитых лет и жирной пищи, не мужей, а скорее отцов, что ли, или дедов этих молодых женщин и, признаюсь, не берусь судить, где тут приспособленчество, где распутство. В те годы не знал и теперь судить не решаюсь.

Гвоздем программы, интерес к которой не ослабевал, были рассказы бывалого моряка, рулевого из команды баркаса. Может, он в чем-то и привирал, но слушателям хотелось верить, что все именно так и было, точно по рассказу и никак иначе.

И как не верить человеку, который юнгой служил в торговом флоте, зрелым моряком в годы первой мировой войны дрался с турками и с немецкими кораблями «Бремен» и «Бреслау», искренне верил в адмирала Колчака, когда тот был еще на Черном море, затем разочаровался в нем и потопил свое судно под Новороссийском, чтобы немцам не досталось; наконец, бился в Таманской армии Ковтюха, а когда бить стало некого, изо всех сил, с риском для жизни, в необычайно сложных условиях сколачивал новый торговый флот советского Черноморья.

— Теперь что? Ходят корабли, и еще сколько их будет! А что было после ухода Врангеля? Ничего не было, ничего! Обломки, мелюзгу со дна моря поднимали и на них плавали, но разве моряк так может? Шли слухи, что наши корабли под чужим флагом стоят, ремонтируются, команду нанимают...

— Откуда вы об этом узнали?

— Сорока на хвосту принесла. Все она, сорока... Собрались мы, моряки, все обсудили и старшего к начальству направили. К тому, который в кораблях пуще хлеба нуждается. Наш старший тому начальнику докладывает, что имеем мы такую охоту добрый наш корабль из иностранной неволи высвободить и в Одессу пригнать. Тот, конечно, отказывает. Но узнав, что корабли в нейтральных водах, не устоял против искушения.

Уходили группами по два-три человека и не в один день. Шли порознь, каждый своей дорогой, но курс держали один. В намеченном пункте постепенно собра-

лись и там вроде бы случайно познакомились. Заграничные господа нам препятствий не чинили, и к чему бы? Раз мы у белых служили, в «зеленых» тоже с большевиками дрались, значит, свои мы, проверенные, и им нужны, потому что и своих смутьянов развелось у них предостаточно. И нужны мы им еще и как самая безотказная и дешевая рабочая сила...

Слушал рулевого из команды баркаса, вспоминал рассказы кронштадтцев, возвращенцев из Финляндии, которые тоже могли бы сказать: «Мы были им нужны как самая дешевая и безотказная рабочая сила». И думал: все-таки победили мы, на радость себе и угнетенным мира. И буржуазные страны начали признавать нас, но от нормальных государственных с нами отношений уклонялись, не хватало им даже купеческой добропорядочности в торговых сделках. Военные корабли Черноморского флота, угнанные врангелевцами, ржавели на приколе в портах Франции, а Чехословакия периода Масарика и Бенеша приняла заказ на изготовление и поставку нам нескольких сотен тысяч кос, простейших крестьянских, но когда эти косы, оплаченные золотом, поступили, они оказались негодными, изготовленными из мягкого металла, вроде жести для консервных банок. К тому же упаковочные шнуры были с «начинкой» — сильнейшей детонирующей взрывчаткой...

Моряк закурил, и повествование продолжалось:

— Трудное это дело. Бывало, припасы кончались, а делец, за бесценку захвативший корабль, с ремонтом тянул и выйти в море не торопился. Другие бы на нашем месте с голода или со скуки подошли, но мы, моряки, — народ дела. Помаленьку своих людей на корабль устраивали, по специальности самых нужных и знающих, а те, конечно, опять же наших, чтобы к выходу в море в команде была хотя бы половина наших людей, особенно из тех русских моряков, которые на нем раньше плавали, по глупости пригнали его в чужой порт и только на чужбине поумнели. И настал день, когда мы вышли в море и повернули корабль на Одессу.

— Как это удалось?

— Совсем просто. Шкуры, что на корабле оказались, были поодиночке заманены в трюм, к рулевому и вахтенному своих приставили, офицерские каюты

взяли под охрану, чтобы зря из кают не высовывались, сигнализацию и телефонную связь с капитанской каютой малость попортили. После этого два или три человека с гаечными ключами в руках зашли в каюту капитана для переговоров. Тот набросился:

— Что вам угодно, господа матросы? Почему ко мне без вызова?— и за сигнальный шнур хватается.

— Нам, господин капитан, угодно, чтобы вы поморшестей взяли, наш курс прямо на Одессу.

Капитаны разные бывают. Этот был из толковых, догадливых и трусливых.

— Значит, вам, господа, курс на Одессу? Сделаю, сейчас дам команду,— и руку к телефону протягивает.

— Не трудитесь, господин капитан. Курс верный взят — на Одессу.

— Понимаю, господа. На палубу мне можно выйти?

— Неразумно, господин капитан. Штормует, как бы не смыло...

Непонятливые тоже попадались, и приходилось им гаечный ключ с малого расстояния показывать.

— Сколько же вы кораблей вернули?

— Немало, но разве только я и наша группа? Сколько раз в газетах писали, как забунтовавшие команды сами возвращали корабли в разные порты. Не читали, что ли? Разно это делалось. Одни гнали суда из заграницы, другие поднимали их со дна моря, ремонтировали, латали, так из ничего вроде бы возродился наш Черноморский торговый флот. Мал хотя еще, но флот!

Корабли появлялись, но не доставало обученных судоводителей. Одни — в заграничных портах, у других — года вышли, а кое-кому кораблей и доверять нельзя. Николаевское мореходное училище уже в советские годы отказывалось обучать морскому делу людей из народа: «Российское судоводительство всегда дворянским делом было, его привилегией, и кухаркиным сыновьям недоступно. Обучать таких не обучали и обучать не будем».

Из училища наиболее ярых врагов новой власти удалили. А заслуги обновленного Николаевского училища по подготовке мореходов не нуждаются в доказательствах...

Своего рода достопримечательностью и предметом общего внимания заставы была свора крупных полудиких собак, ежедневно совершавшая переходы по побережью Черного моря с одной заставы на другую, с остановкой на каждой из них. И так от самого Новороссийска до Сухуми и обратно. Собаками любовались все пограничники, но они признавали только одного, с собачьей позиции самого главного, — повара заставы.

В пути они вели достойно, курортников на пляже тоже не тревожили. Но за пределами пляжа задерживали любого непограничника, окружали его и надежно охраняли до прихода пограничников, сколько бы часов это ни требовало. Такова была их инстинктивная плата за корм на заставах. Их преданность людям в пограничной форме дорого обошлась многим контрабандистам.

Значительным видом экспортной контрабанды вдруг стали в ту пору наши банкноты, червонцы любого достоинства. Вначале я не понимал целей такой контрабанды, как не понимал и того вреда, который этот контрабандный промысел мог нам причинить. Даже гордился — признали наш рубль, устойчивый, не в пример обесцененным денежным знакам большинства капиталистических стран.

На одном из совещаний начальник отряда Нодев, в дальнейшем Полномочный представитель ОГПУ по Уралу, пояснил:

— Устойчивый червонец, поскольку его обратный ввоз в страну не ограничивается, на Западе служит средством торгового обращения, в известных размерах является способом накопления, он совершенно незаменим на «черном рынке», где почти даром продаются бесценные сокровища, похищенные в бурные дни России.

Впрочем, через несколько лет, когда были введены ограничения на ввоз червонцев в нашу страну, они из экспортных видов контрабанды превратились в импортную контрабанду.

Через развездных агентов, обеспеченных командировочными документами различных советских и хозяйственных организаций, контрабандисты-оптовики вывозили из армянских хуторов на свои базы у портовых городов ценнейший и очень дорогой сорт табака — номер пятидесятый.

Постепенно и не без труда входил я в круг своих обязанностей в этих новых условиях. Изучил наконец и семафорную азбуку, начал различать типы кораблей по их еле уловимым на горизонте силуэтам, научился терпеливо следить за небольшими турецкими шхунами со спущенными парусами вдали от берега, ожидающими то ли наступления темноты, чтобы кого-то высадить в намеченном месте, подбросить контрабандные товары, то ли просто ждущими попутного ветра.

Лето было теплое, жаркое даже, море тихое и ясное, и меня не волновала мысль, что за таким затишьем последуют туманы, грозы. Так было, пока ночная телефонограмма не оповестила о смерти Феликса Эдмундовича Дзержинского после его бурного столкновения с троцкистами на Пленуме ЦК партии.

Третья смерть за время моей службы на заставах. Первая, угнетающая, тяжелая, — это кончина Владимира Ильича Ленина, вождя, учителя и друга, которого и мы, рядовые члены партии, просто Ильичем называли. Тяжелая была утрата, но в этой смерти было не только горе. Призыв в ней был, сильный и обязывающий. За Лениным — Михаил Васильевич Фрунзе, и вот сейчас, спустя полгода, — Феликс Эдмундович. Много смертей, и какими молодыми они уходили от нас: Ильичу пятьдесят четыре, Фрунзе сорок, Феликсу Эдмундовичу сорок девять.

Провели на заставе траурный митинг. О Феликсе Эдмундовиче знали много.

Верный ученик и соратник Ленина.

Организатор, умный и расчетливый руководитель ВЧК и пограничных войск, рыцарь революции, «без страха и упрека».

Организатор борьбы за восстановление транспорта и промышленного производства в стране.

Человек, осмелившийся взять на себя такую задачу, как устройство и школьное обучение более пяти миллионов беспризорников, подготовку из них строителей нового общества.

Непримиримый враг любого вида распушенности, разгильдяйства и обмана. Некоторые его требования и в наши дни звучат современно: сокращение отчетности, штатов, прекращение требований дотаций, субсидий и высоких цен на свою продукцию.

Да, знали много о Дзержинском, но попробуй расскажи, если ты так расстроен этой тяжелой вестью! Я, помню, выступил плохо, и другие едва ли лучше. И что тут скажешь? Больно...

3

После восьми суток в удобном полупустом купейном вагоне, после паромной переправы через Шилку и трехсоткилометрового колесного пути по старинному «каторжному тракту» показалось место моего назначения — Нерчинский завод. Завод по названию, а в натуре две сотни деревянных домов, два каменных, два магазина и больница у подножия высокой, отлогой и голой сопки с крестом на макушке. После еще два десятка километров до реки Аргунь, за которой огромный и таинственный Китай.

О Китае слушатели Высшей пограничной школы, серьезного учебного заведения в ту далекую пору, знали немало. По учебникам изучали, на занятиях, и особенно много узнали из выступления Полномочного представителя ОГПУ по Сибири И. П. Павлуновского.

— Китай — в тяжелом процессе национального и государственного становления, и в обозреваемый период от него можно ожидать чего угодно, кроме дружбы... Ближе всего территориально к нам, — говорил Павлуновский, — владения Чжан Цзо-лина, владыки огромных «трех восточных организаций» с центром в Харбине. Это японский ставленник со своими войсками, администрацией, финансами. И свирепым антисоветизмом. Дальше, в глубь Китая, столь же свирепый феодал У Бейфу, ведущий бои с подразделениями молодой Китайской национальной армии Фен Юй-сяна, создаваемой либеральным буржуазно-демократическим лидером национального Китая Сун Ят-сенем... Фен Юй-сянь ищет контактов с нами. У него наши военные советники, он оказал помощь нашим чекистам в обезвреживании и доставке в СССР одной из самых мрачных и подлых фигур белого движения в Сибири атамана Б. В. Анненкова.

Внутренняя борьба, большие или малые сражения, — продолжал Павлуновский, — это в конечном счете дело самих китайцев, но вы, пограничники, учи-

тывайте наличие в Китае сотен тысяч беженцев из России, довольно сильную буржуазную прослойку из администрации Восточно-Китайской железной дороги, а также остатки разгромленных, но не уничтоженных войск Семенова, Унгерна, Калмыкова, братьев Меркуловых. Многие тысячи из них служат в войсках китайских милитаристов, тысячи утаились вблизи наших границ, совершают набеги на нашу территорию, убивают и грабят...

Все это на берегу Аргуни вспоминалось в ожидании местного казака, владельца бата, быстрой и коварной лодки-стрелы, выдолбленной из бревна, за сходную цену обещавшего «одним махом» доставить меня до места, что в полторастах километрах ниже по течению. Много вспоминалось. Позади столько дорогого, впереди неизвестность — что ждет в этом неведомом крае?

Лодочник задержался, явился уже под вечер и ошарашил сообщением:

— Однако поздно, паря. Я так думаю — отдохнем тут малость, а ранним утром поедем, еще до первого чая, и одним махом до конца. Или ты как, паря?

— Ну что ж, вам виднее.

— Ночевать где? В хату пойдешь или как?

— А как еще можно?

— Можно в хате, но бывают которые в бату ночуют или в бане на берегу. Тараканы их пугают. А ты как — ничего?

— Лучше без тараканов.

— Не уважаешь, значит. А тараканы — животные безвредные. Пайка не требуют и на людей не бросаются, в людские дела не вмешиваются...

— Они у всех, что ли?

— У всех. Так уж заведено.

— И помногу?

— Не пересчитывал. Но раз на нехватку казаки не жалуются, значит, не ситец или кирпичный чай — в достатке.

Да, как я впоследствии убедился, это была правда, и эта правда поражала. Дома добротные, чистота всюду, блестящие свежекрашенные полы и — обилие тараканов!

Ночь провел в бане на берегу какой-то маленькой, впадающей в Аргунь речки. Выехал рано, в темноте, до первого чая.

Лодочник, по тем моим понятиям, уже в годах был, лет под пятьдесят, заматавшийся и словоохотливый. Но не скажу, чтобы пустомеля, а напротив — с шуточной серьезными мыслями высказывал, значимости которых я в то время еще и не понимал.

— Тут по этим берегам наш четвертый казачий партизанский полк воевал, и по Сретенскому тракту тоже, и еще в тайге...

Казачий полк? Встречались и такие, но белыетолько. Осторожно уточняю:

— Против кого же эти казаки тут воевали и откуда взялись?

— Разве не слыхал? Мало ты, паря, знаешь! Япошки сюда совались и семеновцы. Вот тех мы и били. И полк тут сколотили, все четыре сотни из казаков аргунских и уровских станиц и поселков. Тут по реке их били, по Сретенскому тракту и еще в тайге. Наш командир Степан Иванович там живет, куда ты едешь. Или тоже не слыхал?

— Не приходилось.

— Его вся Москва знает. Два срока там членом ВЦИКа значился. Добрый был казак, сильный. Коня, бывало, ударом кулака свалит, а ежели кто в чем провинился, так только подойдет и кулак под нос тому повинному сунет — так тут и самый храбрый хоть в огонь, хоть в воду рысью побежит. Вот какой был командир. Уважали его казаки и следили, чтоб не осерчал. А сколько годов его земли обществом обрабатывали, потому как зазорно, чтобы такой герой сам землю пахал или сено косил. Лучший скот ему подбирали, самых породистых скакунов... сильным хозяином стал, самостоятельным. Но нами, партизанами, не брезгует. Если по пути ему, то непременно остановится, в хату зайдет и скажет: «Ну-ко, партизан, скажи, кто тут есть, чтоб в магазин записку насчет четверти спирту написал. Я подпишу...»

— А что он сам?..

— На что ему грамота! Я ж тебе толкую — в полку он командиром был, а не писарем. При нем всегда сильно грамотный писарь состоял, чтобы приказы начальников зачитать. А теперь, думаешь, не побегут, узнав, что записка самим Степаном Ивановичем подписана? Как еще побегут! Тот же заведующий магазином четвертную бутылку бегом поднесет. Строгий

с нами, не балует. Нальет самую малость и тут же прикажет: «В магазин беги! Туда сейчас мои партизаны густо навалят, потому охота им своего полкового командира угостить». И верно все. Прибегают партизаны, своего командира увидеть, какое новое слово от него узнать или важную новость и, конечно, не с пустыми руками. Так день или два празднуем, погибших вспоминаем и тех, которые в люди выбились.

В прошедшем годе у него свадьба была, сына женил. Так Степан Иванович всех своих партизан в гости пригласил: приходи, мол, к своему командиру, лишним ртом не будешь... Народу больше сотни набралось. Сидели все и пили, свадьба веселая вышла. Но к вечеру другого дня Степан Иванович на кого-то осерчал, длинную скамейку из-под гостей вырвал и этой скамейкой над головами гостей махал, матерно ругался и кричал: «Ну, гости дорогие, мотайтесь к чертовой матери, кто в окно, а кто в дверь!..»

Тут все, как воробы, разлетелись и потом долго того повинного искали, на кого Степан Иванович так осерчал, но тот не объявился. Избили бы — такую свадьбу испортил, поганец!

— И что, так до сих пор его землю общество и обрабатывает, или он батраков держит?

— Какие, паря, у нас батраки и на что они? Земли всем хватает, хоть подавись. А Степану Ивановичу все рады подсобить. И другим командирам партизаны тоже подсобляют. Одному только сотенному, Максиму Петровичу, не помогают. Гордый он, от товарищей отворачивается. Мне, говорит, помогать не надо. Невелики мои владения, сам управлюсь. А нам-то что? Пускай в бедности барахтается...

В дальнейшем судьба свела меня с этим Максимом Петровичем, и я об этом писал в повести «Ильинский пост». Многосложным и трудным был его путь, и глупо его падение. Погиб он нашим врагом, но мне его смерть представляется гибелью между молотом и наковальней, одновременно неминуемо-закономерной и случайной. И того и другого можно было миновать.

Встречался и со Степаном Ивановичем. Он таким и был — обеспеченный и состоятельный хозяин, лихой и полупьяный. Наемного труда не применял, но от соседской помощи не отказывался, а кто бы решился не помочь ему? Бывший командир четвертого партизан-

ского казачьего полка, член ВЦИКа двух созывов, с большими связями в партизанской среде, всюду желанный гость. Пьянки стали системой, и, оставленный без внимания и умной дружеской поддержки, он падал все ниже, пока не исчез где-то ниже горизонта. Причина падения Степана Ивановича — не сама водка. Обеспеченная и беззаботная жизнь отомстила ему за неспособность в советских условиях найти более достойное применение своему авторитету и власти над людьми.

Дальневосточный край по размерам территории был равен нескольким европейским государствам, а по населению необычайно мал — менее двух миллионов человек, проживавших главным образом в небольших городах вдоль транссибирской магистрали, по берегам множества полноводных рек, на приисках, по казачьим станицам и поселкам.

Пограничная линия, плохо оборудованная и местами небрежно обозначенная, тысячами километров тянулась через тайгу, пески Даурии, по горам, по Аргуню, Амуру, Усури, по водам Японского, Охотского и Баренцева морей, на северный Сахалин, Камчатку и Чукотку.

Полномочное представительство ОГПУ и при нем Управление пограничной охраны края находились в далеком Хабаровске. Не обратишься туда в нужную минуту, и указания оттуда, составленные по данным неточных крупномасштабных карт, опаздывали и вводили в заблуждение, как, в частности, это случилось с вражеской дезинформацией, о которой я писал в повести «Ильинский пост». По местной телефонно-телеграфной сети штаб отряда имел неустойчивую связь с Хабаровском, и иногда по местной однопроводной линии удавалось связаться с комендатурами. С заставами комендатура телефонной связи не имела, а связь конными нарочными, даже с двумя крестами на конверте, обозначающими максимальную скорость, когда не считались даже с гибелью коня, до левофланговой заставы требовала более суток.

Дорог не было. Горные тропы только, узкие и крутые над обрывами, и названия у них соответствующие — Малая Убиенная, Большая Убиенная, Винтовальная. По ним и передвигались, и опытный всадник про-

бирался до штаба отряда за двое-трое суток. Впрочем, внезапный подъем воды впадающих в Аргунь горных речек нередко прерывал и этот вид связи.

В зимнее время, с начала ноября и по апрель, по Аргуни устанавливалась зимняя санная дорога. Тогда были и регулярная связь, и подвоз запасов продовольствия, фуража, и — совещания.

Условия связи диктовали и приемы руководства. Округ засыпал директивами, а отряд — приказами с «озадачиванием», как именовали тогда ежегодные совещания после установления санного пути.

Год длинный, и с момента прошлого «озадачивания» на участках застав и комендатур многое происходило — где успех и победа, а где и ошибки и даже тяжкое поражение. Вот это суммировалось, и, забывая об успехах, — они как бы сами собой подразумевались — били за ошибки и за то били, в чем сами не разобрались.

От руководства выступали все начальники оперативных служб, уполномоченные, заместитель начальника отряда, два помощника, секретари партбюро и комсомола, четыре инструктора, по два от строевой и политической подготовки, два врача — ветеринарный и медицинский, особист и начальник отряда, обычно новый, поскольку они больше года не держались. Вспоминаются два таких совещания, по содержанию противоположных:

— Конечно, какие-то успехи у вас на участке были. Сколько золота задержали?

— Восемь килограммов, точно восемь.

— А сколько пропустили?

— Не могу сказать...

— Вот видите, и этого вы не знаете! А что эти ваши «успехи» стоят, если у вас на участке вооруженные китайские контрабандисты убили двоих пограничников, а вы только через неделю нашли в тайге их трупы? В тот самый день нашли, когда на базарной площади китайского уездного города с торгового продавали коней и оружие этих убитых пограничников. И вам не совестно?

Сидит человек, слушает и думает — какая же емкая и всеядная эта человеческая совесть, какая неразборчивая! Как я мучился, когда не вернулись посланные в тайгу пограничники, как ругал себя и бичевал —

почему этих послал, а не других, почему сам с ними не поехал? Как горько радовался, когда к исходу недели непрерывных поисков нашел обгоревшие трупы убитых, и совесть не обвиняла меня в том, что нашел эти трупы по необычайному скоплению и свирепому крику хищных птиц, разделявших добычу.

Мучила совесть, и душа болела. И гнев одолевал, когда выслушивал ответ китайского представителя по пограничным конфликтам:

— Моя не знает.

— Нет, господин представитель, вы знаете. Это уголовники, убийцы, и миновать вашего города они не могли. Не было у них обходных дорог.

В ответ широкая очаровательная улыбка и те же три слова:

— Моя не знает.

Болела совесть, душа болела, но все это проглотил и на прощание руку господину представителю пожал и широко улыбался:

— Всего вам доброго, господин представитель, всего доброго вам и вашей милой подруге.

Как мучился, когда родным о смерти погибших сообщал. Не обманывал, нет, за правду выдал то, во что сам глубоко верил, чего не могло не быть: «Героями пали, до последней капли крови защищая родную землю». Похоронную процессию красочно описал, массовой и величественной, какую хотел ее увидеть. Хищных птиц не упомянул, и это правильно. Тут их не было — они еще в тайге разлетелись...

Совещание продолжалось, и тем временем за соседа взялись. У него в этот год всякое случалось, и не скажешь с ходу, что с ним делать — к высокой ли награде представить или сурово наказать.

— Хвастаетесь, что много контрабандистов задержали и перебили, а скажите, как могло случиться, что китайские контрабандисты, возможно, и невооруженные, посмели напасть на парный пограничный наряд, убили одного, ранили другого, коня и оружие в Китай утащили? Как ваша совесть терпит такое?

Совесть, опять она. Объяснить бы все случайностью, и в этом не было бы большого греха. Но тут эта совесть вмешалась и свое диктовала — не смей! Конечно, случайность была, но случайности не с неба сваливаются.

Пограничная охрана безоговорочно признавала превосходство частей армии, гордилась опытом армии и возможностью учиться на этом опыте. И конечно, пограничники должны уметь делать все, что делают подразделения армии, но не за этим опытом их на край света послали. Пограничники обязаны уметь больше — уметь охранять границу, уметь даже общие задачи мелких подразделений решать по-особенному, по-пограничному. Они должны уметь выполнять требования армейских наставлений — стрелять с места, лежа, по неподвижным целям или «перебежкам» вдоль фронта. Но пограничников надо бы в ту пору пуще всего научить стрелять с коня, на скаку, в движении, в тайге при ограниченной видимости, в горах, навскидку в упор, по удаляющимся целям: надо бы обучать их приемам рукопашной схватки, снабжать ножами-кинжалами.

Об этом иногда поговаривали, но останавливались на одном и том же — где брать часы для такой дополнительной учебы, патроны и кто такую самостоятельность благословит?

Показания раненого пограничника частично прояснили обстоятельства этого происшествия: по узкой и очень крутой тропе на гору поднимались два пограничника. Шли один за другим, держась за хвосты коней. На крутом повороте, где тропа еще резко поднималась и сворачивала вправо, из-за валуна кто-то ударил переднего пограничника по голове. Тот упал и в бессознательном состоянии остался лежать на тропе. А конь остался верен службе — несмотря на израненные ноги, с болтающимся под брюхом седлом, он прискакал к вечеру на заставу. Тут же была выслана поисковая группа...

Совещание вышло тяжелым, действительно озадачивающим, и только его конец оживило неожиданное обвинение:

— Знаете ли вы, что ваш ковочный кузнец молодую казачку обрюхатил? Знаете ли вы требования об уважительном и дружеском отношении к жителям пограничной зоны?

Такого факта командир не знал, но предполагал, что без дружеских отношений такое бы не случилось.

Вспоминается и другое совещание. Новый начальник отряда себя напоказ не выставлял, не обвинял нас, не говорил о своих заслугах, несомненно значительных,

и не грозил. Зачитал директиву Полномочного представителя ОГПУ по Дальневосточному краю, в которой говорилось: «Наши государственные границы и революционный правопорядок мы охраняем в интересах человека, советских людей». Значит, в первую очередь надо охранять самого человека. Не человека будущего, а советского человека сегодняшнего дня, со всеми его слабостями. Не человека-мечту, а того Ивана или Онуфрия, с которыми встречаемся ежедневно, едва замечая их...

Остались позади бои и стычки, вызванные вооруженным конфликтом на КВЖД. Вскоре в Маньчжурии пала власть гоминдана и образовалось вассальное государство Маньчжоу-го, формально управляемое японской марионеткой Пу-И. Тут же на пограничную полосу пришли японские войска, появились эмиссары из числа сбежавших в Китай войск Семенова, Калмыкова, Унгерна и других — одиночками или небольшими группами проникали они на нашу территорию, совершали террористические акты.

Полномочные представители ОГПУ, старшие оперативные начальники, опытейшие чекисты информировали, помогали советом и конечно. требовали: «Выполняйте свой служебный долг!» И мы старались, не жалея времени. Как-то удалось прощупать готовую к переходу на нашу территорию бандитскую группу Пескова, известнейшего в Забайкалье белобандита, через атамана Семенова связанного с японскими диверсионными центрами в Маньчжурии. Все было известно — состав группы, ее цели, примерный маршрут движения и даже место перехода границы, а время перехода — в пределах нескольких дней.

Сведения были настолько точные, что вызывали сомнение у старших начальников:

— Вы уверены, что вас не провоцируют, что все это не «липа»? А если банда Пескова пойдет совсем не туда и совсем не там перейдет границу? С вами так случалось...

— Посмотрим. На худой конец буду каяться.

— Идите!

Все было ясно, и я был уверен в успехе, но тут случилось непредвиденное. Огромная масса холодной во-

ды прорвалась с китайских гор и многометровым валом нахлынула на Аргунь, затопила ее долины, и только в далекой, более возвышенной излучине реки зеленым островком виднелись деревья, в дупле одного из которых находился наш «постовой ящик». Надо было уточнить, не изменилось ли что в планах Пескова. Две керосиновые лампы, установленные на разных концах станицы, указывали мне прямой путь в крошечной тьме. За обратный путь не опасался — конь дорогу к кормушке всегда найдет!

Когда нахлынувшая на луг холодная вода достигла груди коня, я слез с седла, слегка опустил переднюю подругу, связал с поводьями перекинутые через седло стремена и дал коню добро:

— Беги домой, друг! А то воспаление легких схватишь...

С трудом, почти на ощупь, разыскал дерево с дуплом. В ящике оказалось сообщение о том, что Песков был на месте и решил переходить границу именно тут, используя для маскировки выход колхозников на пересышку замоченного сена.

Все было готово к приему гостей. Но тут я заболел, внезапно и тяжело, рвота, головные боли. С трудом, преодолевая себя, объяснил заместителю обстановку, задачу. Пришла машина, и повезли меня в иркутскую больницу. Машина была новая, но из неудачной серии «автогаров», в пути часто ломалась, потек радиатор, кончилось масло, лопались скаты. Только через неделю добрался до места. В пути я почти выздоровел — исчезла отечность, головные боли прекратились. Врачи объяснили, что у меня был острый почечный приступ, вызванный тяжелым переохлаждением организма. Но в больнице оставили.

На другой день пришел один из старших сотрудников Полномочного представительства и только с одним вопросом:

— Вы помните, куда и с какой целью намеревался выходить Песков?

— Конечно, — и назвал совхоз, объяснил цель — поджог машинно-тракторного парка и угон в Китай жеребца необычайно высоких кровей, последнего представителя породы верховых коней, погубленной в войну.

— Машинно-тракторный парк сгорел, в совхозе не хватает десятка лошадей.

— Значит, Песков был там.

— У нас такое же мнение. А что вам известно об обратном пути?

— В том же месте, дней через десять. Место удобное, рядом с комендатурой, не дальше трех километров, здесь его никто не ожидает...

— Все логично, я доложу.

Вскоре меня выписали на амбулаторное лечение и тут же вызвали в Полномочное представительство. Здесь я впервые познакомился с Зирнясом, полномочным представителем по вновь организованному Восточно-Сибирскому краю. Беседа вышла тяжелой.

— Банда Пескова еще раз была у нас, выполнила свою задачу и безнаказанно ушла обратно через ваш участок.

— Я...

— Лично вас никто не обвиняет. Но что бы изменилось, если бы вы были на месте?

— Возможно, узнал бы о переходе Пескова, и тогда удалось бы предотвратить нападение на совхоз...

— А переход через границу туда и назад?

— В этом надо разобраться. Тут какая-то случайность. Какое-то до нелепости простое ухищрение многоопытного Пескова.

— Кто вас информировал? Ваши связи сохранились?

— Нет, я потерял доверие.

— Объясните.

— Когда-то мне с большим трудом удалось убедить этого, по существу, антисоветски настроенного старца, что мы стремимся и способны спасти казаков от банд Пескова. Все опиралось на эту основу. Теперь доверие потеряно. Он больше не верит мне и ни на какие связи не пойдет с другими.

— Надо найти другого.

— Эта задача не одного дня...

Позднее я узнал подробности перехода Пескова. Пограничники ждали банду ночью, а она перешла границу днем. До вечера скрывались в прибрежных кустарниках, и когда колхозники, окончив работу на лугу, направились в станицу и ближайший казачий поселок, неся на вилах копейки сена для коров, бандиты, с пучками сена на стволах винтовок, последовали за ними. Обратный переход был совершен в том же месте и тоже по-песковски. В темную ночь пограничники удо-

вили стук копыт быстро бегущих коней. Не видя всадников, они, после оклика «стой» и предупредительного выстрела, открыли огонь. Стук копыт стал удаляться, и тогда пограничники вскочили на коней. Табун лошадей они догнали, но не было на них всадников. Всадники, как стало ясно, бросив коней, легли на землю, переждали погоню и спокойно перешли через границу в Китай. Чисто сделано, даже изящно, по-песковски. Обидно до слез...

Вторая встреча с Зирнясом произошла в обстоятельствах, когда я меньше всего хотел встречи с ним. С кем угодно, лишь бы не с ним. Я сидел уже не один час, заканчивая дело о нечаянном убийстве, но слова обвинительного заключения не писались. Разум подсказывал: предъяви обвинение в убийстве по неосторожности обращения с оружием — и делу конец. Прокурор проверит, суд человека засудит. Просто и надежно, и что тут еще. Дело доказанное, обвиняемый своей вины не отрицает, в делопроизводстве соблюдены все процессуальные нормы. Но голос совести сдерживал — не торопись! Эх, какой же ты, закон, неумолимый! Был бы ты более сговорчив, мы бы договорились. Уступил бы ты мне еще несколько прав на обоснование случайности, а я тебе — полную ответственность за человека, невольно совершившего преступление. И с легким бы сердцем написал: «Случайное убийство». И начал бы считать дни, когда поступит заключение прокурора: «За отсутствием состава преступления дело сдать в архив». Но закон неуступчив и требует ясного ответа — виновен ли обвиняемый по предъявленной ему статье. На то он и закон.

Зирняс у нас на границе не бывал, и это посещение было случайным, прошел он только по правому флангу отряда. Зашел, — как он сказал, — для уточнения пути.

Поездка, возможно, была удачной, настроение у него было хорошее.

— На двух ваших заставах остановился. Если всюду так, то порядок у вас, комендант, порядок, — так сказал.

И мне бы в радость все это, если бы не ЧП. Уедет спокойно, а потом вдруг вдогонку это сообщение об убийстве, и что он подумает обо мне? Струсил мальчишка, смалодушничал? Нет, только не это!

— Я должен доложить вам о чрезвычайно тяжелом происшествии на нашей заставе. Начальник Среднеборзинской заставы Ивашкевич случайным выстрелом убил своего помощника...

— Случайный выстрел?

— По существу выстрел случайный, но по формальному праву относится к разряду выстрелов по неосторожности...

— Дело судебное.

— Я прошу выслушать меня. Следствие доверили мне, и дело закончено.

— А что вы от меня хотите?

— Хочу, чтобы Ивашкевича не судили...

— Вы намерены миновать суд?

— Таких возможностей у меня нет, я прошу, чтобы сделали это вы, это в вашей власти.

Зирняс меня в чем-то дурном заподозрил, вздрогнул как-то, приближаясь ко мне, смотрел прямо в глаза и, с трудом сдерживаясь, тихо, раздельно произнес:

— Вы понимаете, на что толкаете меня? Откуда у вас это? Кто научил?

Отступать уже нельзя было, пришлось принять очень неравный бой:

— Никто меня не учил. Я обращаюсь к вам как к старшему начальнику, за помощью обращаюсь. И это мое право. Еще раз прошу вас — не надо судить Ивашкевича. Все необходимое по служебной и партийной линии сделано. Одного прекрасного командира мы уже потеряли, и если дело дойдет до суда, то потеряем и второго.

Я ожидал разноса, был готов на все, но последовал вдруг спокойный вопрос:

— Как это случилось?

— Начальник заставы, его помощник и их жены сидели за столом и пили вечерний чай. Стол был длинный, крестьянский. На одном конце сидел Ивашкевич, напротив него — помощник, жены рядом справа. У левой стены, в полуметре от стола, на тумбочке стоял железный ящик, «несгораемый шкаф». Во время чаепития пришла почта, и с почтой — посланный начальником боепитания отряда маузер, о котором Ивашкевич так давно мечтал. Ивашкевич тут же это «чудо-оружие» разобрал, собрал, зарядил и, не зная, что движе-

нием перед затвор посылает патрон в патронник, нажал на спусковой крючок. Произошел выстрел. Пуля угодила в скобу сейфа, резко изменила направление вправо и попала в помощника, прямо в позвоночник. Смерть последовала через два часа.

— С пострадавшим вы успели поговорить?

— Да, пока он был в сознании. Я записал его показания, но протокол им не подписан, не успел. Старшина заставы и врач, присутствовавшие при этом разговоре, своими подписями подтверждают достоверность протокола.

— Что дал осмотр места происшествия?

— Все, что уже доложил. На столе самовар, чайник, сахарница, печенье, четыре чашки. Акт осмотра находится в деле.

— Водка в этом деле не замешана?

— Никаких признаков.

— Когда допросили Ивашкевича?

— Только утром.

— Почему?

— Он был потрясен горем, и я счел нужным дать ему время прийти в себя. К тому же дело было настолько ясное, что его показания ничего бы не изменили.

— В каком состоянии дело?

— Следствие закончено. Только Ивашкевичу не предъявлено обвинение. В деле — акты вскрытия, осмотра места происшествия, протоколы допроса, вещественные доказательства: одна пустая гильза, деформированная пуля, скоба металлического ящика с косой выбоиной и служебные характеристики на убитого и обвиняемого в убийстве.

— Дело у вас?

— Да, вот оно.

— Я его заберу, а вы сообщите прокурору, что дело у меня.

Через пару недель поступил приказ об исключении из списков и со всех видов довольствия помощника начальника заставы вследствие смерти. И что почти фантастично — я, комендант участка, не получил обычного по должности выговора, а Ивашкевич, повторяю, очень дельный и хороший начальник заставы, едва ли понял, как миновал его осуждающий приговор.

Только сильный духом человек мог принять такое решение, какое принял Зирняс. Мне посчастливилось встречаться с сильными духом людьми, и Зирняс один из них.

4

Предложили перейти в Управление пограничной охраны другого округа, на вновь введенную должность с пышным названием, и я согласился.

На трех границах испытал на себе службу начальника заставы, на одной — заместителя коменданта по оперативной части, и на трех — коменданта пограничного участка. И места все отдаленные попадались, надоело и как-то устал. Отдаленность, правда, понятие относительное и зависит от того, до какого меридиана далеко, а до какого близко. Но оторванность от культурного мира была бесспорной, а тут место в столице союзной республики предлагают.

Первые дни радовали, но вскоре наступило разочарование. Оказывается, я привык к круглосуточным волнениям, всякого рода поискам, горам, тайге и болотам, и даже бессонные ночи и ночные телефонные звонки постепенно превратились в неотъемлемую часть моего существования. Был где-то нужен, что-то решал, планировал, требовал, ругал одних, перед другими оправдывался. А тут в моем распоряжении стол, стул и половина шкафа с бумагами. И за этим столом я должен с утра до вечера сидеть, а после небольшого перерыва еще раз за полночь...

Должность новая, обязанности не определены, и даже начальник моего отделения, предельно занятый и очень толковый штабист, не знал, чем бы меня занять:

— Возьмите в своем шкафу подшивки и изучайте указания по вашей части за прошлые годы, а там посмотрим.

Сидел я потом и изучал эти директивы и ежеквартально посылаемые в Главное управление доклады, похожие друг на друга, как серые кошки ночью. Сидел и бумаги перелистывал, с утра лист за листом, с правой стороны на левую, а с обеда в обратном порядке. Так и по вечерам, за полночь. Постепенно начал¹¹по-

нимать, что я вообще никому не нужен и за этим столом сижу только потому, что так положено.

Испугался я такого вывода и обратно на границу попросился. Но куда там! И слушать не хотят, чего, мол, человеку надо — и работа непыльная, спокойная, и квартира получше, чем на заставе. Но однажды мне крупно повезло. В какой-то праздник я был дежурным, и тогда ночью, позже обычной ночной работы, зашел начальник управления, в хорошем настроении, веселый, с запахами дамских духов и праздничного веселья. Доклада не принял.

— Кто же в такую праздничную ночь начальство тревожит?

И вдруг — неожиданное:

— На границу поедете. Будем одну новинку изучать, вам это дело и доверяем. Попробуем год-другой, а там видно будет...

Во второй половине 1935 года командно-начальствующему составу Красной Армии были присвоены персональные воинские звания взамен прежних должностных. Такие же воинские звания присваивались и командирскому составу пограничных войск, а также внутренних и конвойных войск, входивших в те годы в состав Народного комиссариата внутренних дел, но всем им — без права ношения армейской формы одежды и присвоенных знаков различия.

Вслед за этим пограничные войска были сняты из планов войскового прикрытия страны и, по сути дела, списаны в вооруженные сторожа. Такое немислимое положение сохранялось более года и было ликвидировано только в 1937 году. Тогда же пограничные войска вновь были включены в план прикрытия страны, и уроки Великой Отечественной войны подтвердили правильность такого решения.

Летом 1941 года судьба еще раз свела меня с пограничниками. Группу пограничников под командованием старшины тогда использовали как разведчиков. Все задания выполнялись точно, с редким умением и в срок. Все донесения были верные, ошибка вкралась только в последнее устное сообщение умиравшего от раны старшины.

— Пусть подполковник лично проверит. В нашей среде есть предатели, и один из них выстрелил мне в спину...

Я успел проверить. В этом сообщении доблестный старшина допустил неточность, первую, наверное, и последнюю, конечно. Не предатели его убили, а переодетые в красноармейскую форму немцы, проникшие в наши боевые порядки.

Не знаю могилы этого славного старшины-пограничника. Название селения память сохранила — Горчица, вблизи Старой Руссы.

5

На пограничных заставах бываю, хотя мои годы уже не разгульные. Бывал бы и чаще, но понимаю — слишком много хлопот им причиняю, от дел отрываю при малой отдаче. Заставы посещают шефы, артисты, поэты, репортеры, группы молодежи, несут туда все лучшее, чем располагают, и уезжают радостные и удовлетворенные. В памяти пограничников такие посещения сохраняются долго, годы, а иногда — всю жизнь.

Хорошо и с благодарностью помню выступление Ансамбля песни и пляски Красной Армии много лет тому назад перед пограничниками. Руководил им А. В. Александров, но его имени ансамбль еще не носил. Особенно запомнилась инсценировка «Первая конная». Не забудешь выступления на пограничных заставах в теперь уже далекие довоенные годы трупп Белорусского театра оперы и балета, а как принимали пограничники выступление Ларисы Александровской!

Так не только в прошлом. Только год назад я с доброй завистью следил, как тепло и сердечно пограничники встречали наших карельских поэтов.

Неудача грозит только устремляющимся на пограничные заставы для дегустации героики и героизма. Да, слова, как и платье, изнашиваются, теряют от умеренного употребления «товарный вид» и, главное, — смысловое, духовное содержание. В напряженной и деловой пограничной среде отношение к слову бережливое. Там еще в обращении такие все более вытесняемые из речевого оборота слова, как смелость, упорство, мужество, самоотверженность, и даже совсем просто говорят: «Трудно было, до чего же трудно!» Все это им знакомо, на себе испытано, и поэтому о героизме не говорят — оберегают великое слово от изношенности.

Цели моих поездок по заставам скромные, и их результаты, возможно, нужны только для меня одного. Я на границе прошлое ищу, его плоды, которые из давно посаженных семян выросли, и хочу уяснить причины бесследного исчезновения других, некогда так много обещавших. Где удобно и где найду время, выступаю и о прошлом рассказываю. Не в целях поучения — для ознакомления.

Невольно отмечаю детали быта. Привычка, что ли? Как расположены кровати, не прерывают ли уходящие в ночной наряд или возвращающиеся из наряда сон отдыхающих, не тревожат ли их ночные телефонные звонки, где именно пограничник проводит свободное время, читает или пишет, удобен ли доступ к «собственным вещам», где и как проводит свой выходной день? Отмечаю и взвешиваю, но понимаю мою роль — я экскурсант, гость, к тому же — далекий...

Подъезжаешь к заставе, и невольно старое вспоминается — забайкальские пограничные заставы, огражденные высоким и плотным частоколом, стены, до уровня окон укрепленные от пуль, решетки против гранат на окнах жилых помещений, потайные выходы в окопы, выкопанные вдоль ограды, и, помнится, феноменальная, доведенная до автоматизма боевая готовность личного состава, когда по команде «к бою» спящие пограничники, только всунув ноги в сапоги и накинув на плечи шинель или полушубок, с оружием и боеприпасами за одну минуту занимали свои места в окопах. Одевались уже там, в окопе. По другой команде «В ружье, по коням» последний пограничник, полностью вооруженный и одетый, на оседланном коне выезжал из ворот за четыре минуты.

В наши дни не на всех границах требуется столь высокая боевая готовность, хотя, положим, она нигде не мешает. По своей природе пограничники первыми встречают недругов и последними, когда оно больше не потребуется, отложат оружие. Значит, готовность нужна!

Многое изменилось на заставах, но главные усилия, намеченные еще в те далекие годы, когда не было не только нынешних пограничников, но и их отцов, — сохранились. Как и в прошлом, но на более высоком уровне, в органическом единстве решаются столь знакомые три задачи: надежная охрана границы, совер-

шенствование приемов и методов ее охраны; подготовка профессионально обученного, политически зрелого воина, способного решать боевые задачи одиночного бойца и действительно желающего бороться с врагами родной земли и нашей общественной системы и, что далеко не последнее, — подготовка гражданина великой страны и новой социалистической формации.

Решение этих задач в наши дни и проще, и сложнее. Проще потому, что призванная в пограничные войска молодежь многому обучена в школах, кружках, пионерских отрядах, в комсомоле, а сложнее по той причине, что — скрывать тут нечего — физическое развитие нынешней молодежи нередко опережает ее духовное созревание.

Соседние государства неоднородны, и отношение к нам различное. Но бывает и так, что события дня в пограничной полосе перешагивают за установившиеся отношения, неожиданно вспыхивают непредвиденные осложнения, неимоверно нарастает служебная нагрузка, и после таких дней командиры-пограничники говорят: «Трудно было, очень тяжело. Но люди выдержали, а такие-то — и называют фамилии нескольких — проявили настоящее мужество...»

Может быть, настоящее мужество было проявлено еще раньше, в тот миг, когда офицер, начальник заставы, положим, по отрывочным, далеко не полным тревожным сообщениям, не имея времени для согласования действий со своими начальниками, самостоятельно принял решение, реализовал его и этим принял на себя всю полноту ответственности. Понимал, что в случае успеха скажут:

— Так и должно быть.

И скажут это тоном, не оставляющим сомнения, что все удачное как бы заранее запрограммировано. Но если ошибка вышла, вследствие ли неполноты данных или по другим причинам, не миновать осуждения:

— Ну кто вас гнал? Чего так торопились? Доложили бы, и совет бы дали...

Может, и так случается, но как узнаешь? Офицеры-пограничники молчат. Впрочем, может быть, они на мою догадливость рассчитывают?

Многое изменилось в жизни советских пограничников за прошедшие десятилетия, но по-прежнему она осталась тяжелой, ответственной, по-прежнему сказы-

вается оторванность многих застав от культурных центров и оживленных населенных пунктов. Но все это — только одна сторона пограничной службы. Другая — и главная сторона — это ее героическая романтика и крепкая, поистине пограничная дружба.

Недавно беседовал с бывшим пограничником, старым, как я, многие годы служившим в пограничной охране и после в различных областях народного хозяйства. С какой-то грустью он сказал:

— Много видывал, хорошего много, но самое лучшее в моей жизни было время моей службы на пограничной заставе.

Я согласен с ним — это было самое лучшее.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Заведующая эвакуацией, средних лет медицинская сестра, приветливая и миловидная, торопясь, оправдывалась:

— Замучила вас при перевозке со станции в этом тряском грузовике, но разве я знала, что вы такой тяжелый? Сколько раз к вам извиняться приходила, но вы в беспамятстве не узнавали.

Узнал он ее, и ничего не забыл — ни тряского грузовика, ни того, как не раз подходила, присаживалась и тампоном из новой белой марли, такой дефицитной в тот год, осторожно вытирала пот со лба и глазных впадин. «Хороший человек, видно», — подумал он, но так прямо этих слов малознакомой женщине не скажешь, и он ограничился полушуткой:

— Пьяный я был после операции, поили все и кололи. Вот ничего и не помню.

— Все равно я рада оправдаться — в мягком поезде, совсем новом вагоне, и с вами только полковой комиссар, депутат Верховного Совета, с перебитой рукой...

— Милый вы человек, сестра. Всего вам хорошего!

И сестра не обманула. Удобно в таком вагоне, тихо, мягко и воздуха вдоволь. Правда, свежим лаком припахивало, но разве это запах!

Ничего не болело, лежалось хорошо, вспоминалось прошлое, и сосед по купе, степенный и тихий человек, молча шевеля губами, тоже что-то вспоминал. Значит, не поеха. Только изредка голос подавал:

— Может, закурим, сосед? Никак одной левой со спичками не управлюсь.

Это точно. Одна левая — не рука вовсе, а так, видимость. У Михаила же Ивановича Быстрова — будем именовать его так — правая рука уцелела, а это — вещь! Прижми коробок подбородком к груди — и чиркай себе да чиркай.

Так и ехали, — мечтали и покуривали в полной свободе. Правда, Михаилу Ивановичу, лежащему, от той свободы большой радости не было — только потолок и увидишь, а полковой комиссар, несмотря на постельный режим, свободой пользовался: садился, в окно глядел и с Быстрым делился:

— Уборку закончили, солому заскирдовали и полу от ненастья соломой укрыли. Зябь пашут, почти одни бабы. Черт знает, на что они только не способны. Докладывали, когда на Псковщине посева на корню сжигали, женщины плакали, но бойцам помогали и даже советовали: «Там, родные, начинайте, где колос желтый. Спелый там хлеб, сухой, и как ветер подхватит — не удержишь...»

— Давно на политработе?

— Нет, с начала войны. А что?

— Просвещать любишь. Между прочим, я эти пылающие поля не только по докладам знаю.

— Я тебе не Америку и открывал, но вот если бы от меня зависело, я бы этих женщин в первую шеренгу героев выставил, чтобы показать народу, а их имена записал бы в самую большую книгу истории.

— У депутата Верховного Совета и карты в руках.

Разговор прервался, ехали молча. И что скажешь человеку, если наперед знаешь слова собеседника, так похожие на твои собственные мысли? И только ли потому молчалось? Выехали утром еще затемно, а теперь уже и обеденное время миновало, а никто в вагон не заглядывал, естественные потребности вытесняли желание разглагольствовать.

— Забыли нас, должно быть, — не выдержал комиссар. — Ты как, терпишь?

— Утку бы.

— Я там графинчик заметил, и ничего в нем нету, пыль да дохлые мухи. Принести?

— Само собой.

К вечеру полковой комиссар сделал еще одно малоутешительное открытие:

— В темноте поедem.

— Это еще почему?

— Светомаскировочные шторы не поставлены, понял? Интересно бы узнать, куда нас везут?

— Это уж совсем ни к чему. Куда надо — туда и везут.

Ехали дальше, курили, пока беда не грянула, внезапно и как бы из ничего — спичечная головка отскочила, подожгла мохнатое одеяло Михаила Ивановича, огонь перекинулся на одеяло полкового комиссара, и тут же запылала покрытая свежим лаком вагонная перегородка.

Михаил Иванович быстро задохнулся и запомнил только, как уговаривал полкового комиссара:

— В тот конец беги! Меня не вытащишь, и сам ни за понюх табаку...

И еще он запомнил увесистый мат полкового комиссара, топтавшего одеяла на полу и подушкой, зажатой в той никчемной левой руке, сбивавшего огонь со стены.

Когда он пришел в себя, комиссар сообщил радостно:

— Огонь я сбил, но, понимаешь ли, тут же обессилел и, падая, схватился за какой-то рычаг, и поезд встал. Прибежали с руганью, и вот что я от них узнал: не в том вагоне мы едем. Понял?

— Не совсем.

— Нас, понимаешь ли, хотели посадить в мягкий вагон, последний в санитарном поезде, а поместили в прицепной, за «пульманом». В общем, наш вагон только до Кинешмы идет...

— Ерунда, как-никак мы казенное имущество, найдут. В армии не только полковых комиссаров — брезентовых рукавиц нельзя списать без предъявления. Ты другое скажи, главное, — весь огонь-то погасил?

— А как же.

— Нету у тебя солдатской сметки. Хоть бы самый паршивый фитиль оставил. Курить теперь как будем, ведь спички сгорели...

Ехали в темноте, где-то маневрировали, стояли. Ранним утром в вагон зашла пожилая женщина с ведром, уборщица.

— Ой, милые! Как же вас тут оставили?

— Как оставили? Мы же едем...

— Никуда вы не едете, в тупике стоите. На завод вагон вертают, ремонтировать после пожара. Он прavitельственный... А санитарный давно ушел.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

— Ну хоть воды принесите, — попросил Михаил Иванович. — И разыщите коменданта на станции.

— Коменданта я мигом, а воду вам куда? У меня только поганое ведро.

— Воду? У нас графин есть, но в нем прокислый квас и дохлые мухи плавают. Так вы его прополощите.

Женщина принесла воды, и тут же, запыхавшись, в вагон ворвался комендант станции, лейтенант по званию:

— Нет ли здесь депутата Верховного Совета?

— Есть такой, сейчас придет.

— А вы?

— До Верховного маленько не дотянул.

Комендант отдышался, успокоился. Спички у него оказались, и когда вернулся полковой комиссар, они благожеленно закурили. Лейтенант говорил волнуясь:

— Кострома ищет депутата Верховного Совета, начальник санитарного поезда ищет, а тут еще Москва запрашивает. Такой переполох поднялся...

— А депутатов сельских Советов еще не ищут?

— Нет, не запрашивали. Вас мы отправим вдогонку за санитарным. Далеко не ушел, пропускает встречных.

Все решилось необычайно быстро. Полкового комиссара, осторожно поддерживая под левую руку, вывели из вагона, чтобы попутным поездом отправить на юго-запад, в Москву, а Быстрова, поскольку носилки через двери не проходили — вытащили в окно и отправили догонять поезд, ушедший на северо-восток.

Начальник поезда был поражен:

— Как же вы, лежачий, от поезда отстали?

— Сам удивляюсь, но наверное, потому, что у меня колес нет и скорость разная. Вот отстал. Лучше — дайте спичку. Полдня не курил.

— А вам курить разрешается? Я еще вашей истории болезни не смотрел.

— Еще бы! Если я несколько суток в самоволке, значит, не слабее других в вашем инвалидном обществе.

Через пару суток поезд прибыл в Горький, но недолго на Волге задержался — приказ пришел, безоговорочный, какими они и бывают, — всех за Урал, всех, кому до выздоровления более двух месяцев... А там, за Уралом, земли много, путь длинный и в трехъярусном крюгеровском вагоне — тяжелый.

Хвалили эти вагоны — широкая свободная площадка посредине, удобная для обслуживания раненых. Но на кой черт эти удобства, если так низко, что головы не поднять, дышать нечем, судно под себя не подставить, а перебитые ноги внутри гипса на продольных нарах двигаются от толчков паровоза вперед и назад, поршни внутри цилиндра.

Правда, недолго Михаил Иванович в таком вагоне путешествовал. Из-за высокой температуры его вынесли в вагон-аптеку, намереваясь сдать первому же госпиталю. Но не тут-то было. После очередной остановки комиссар поезда приходил либо начальник — он он же главный хирург, виноватым голосом объясняли:

— Опять не приняли, свободных мест нет...

Так повторялось несколько раз, пока Быстров не успокоил заверением:

— Не трудитесь! Не примут, кому я такой нужен, и не для чего меня с поезда снимать. Оставьте меня у себя образцово-показательным раненым и возите туда и назад хоть до заключения мира.

Так до самого конца и довезли, и он был рад, что случилось именно так. Госпиталь, в который его поместили, был сколочен на скорую руку, никаких особых удобств в нем и передовых методов лечения не наблюдалось, но его коллектив — прямо на диво: милые все, внимательные и дружелюбные.

Из-за поврежденного легкого и кровохарканья Быстрова в отдельную комнатку поместили, маленькую — кровать только в ней и табуретка у головы, с обычным госпитальным звонком тех лет — чайный стакан с ложкой. В этой комнатке он и лежал с конца ноября до начала апреля, сникший, подавленный и ко всему безразличный. Глубокие нарывы, зревшие до четырех-пяти суток, следовали один за другим, и Быстров сдавался — не все ли равно.

Почти ежедневно его навещал хирург Русанов, нестарый еще, немногим более пятидесяти. Говорили в госпитале — знающий, и с его хмуростью мирились —

где-то под Воронежом погибла семья. Жил в своем рабочем кабинете, питался из госпитального котла и лучших кусков себе не выуживал. Для раненых делал все, что мог, но видел Быстров, что временами его волю и уверенность в себе словно парализовало.

— Некоторым совсем помочь не могу, — признавался Русанов. — Вот вы хотя бы или тот же Лисовский, о котором я вам рассказывал. Не встречались с ним?

— Не приходилось, издали только видел пару дней назад. Меня на свежий воздух вытаскивали, и сестра на него показала — ковылял на костылях.

— Да, он такой! Как чуть лучше, так тут же на костыли, и ходит, и ходит, — и в глазах хирурга вспыхивала гордость за того, более сильного. — Волевой человек, железный. Он сам себя на ноги поставит... А вам, не знаю, чем помогу. У нас и рентгена нету. В другой бы госпиталь отправить, а кто примет? У каждого свои заботы, да еще разрешение из округа потребуется, и транспорт нужен...

Вечерами Русанов, до предела уставший, приходил перекинуться в шахматы, не забывая прихватить «мерзавчика» — стограммовой бутылочки со спиртом. Впрочем, в спиртном большой нужды не ощущалось. Неведомыми путями оно проникало в палаты, к большому огорчению начальника госпиталя и — в особенности — комиссара, которые до истины так и не докопались. И как узнаешь? У каждого свои приемы. Пьянок, конечно, не наблюдалось, но ни один раненый из госпиталя без проводов не уходил, а провода всухомятку не устраиваются.

Пожалуй, только один человек спокойно относился к такому нарушению госпитального быта, просто чужда ему была подозрительность. Звали начальника хирургического отделения Ирина Николаевна. Женщина средних лет, врач-невропатолог с добрым утомленным взглядом, с таким же добрым, но обязывающим голосом — человек, которого на долгие годы запомнишь.

Кроме ежедневного утреннего обхода, она нередко заходила к Быстрову по ночам, когда температура подскакивала до критического предела. Иногда вводила морфий, а бывало — оставляла ампулу под подушкой.

— Вам доверяю. Очень я сегодня устала и ночью не приду. Если будет хуже, не доводите себя до шока,

вызовите сестру — она знает. Дежурному врачу не говорите.

Однажды зашла в неурочное время — в тихий час, как всегда добрая и внимательная.

— Мне, Михаил Иванович, надо поговорить с вами и, знаете, я к вам с претензиями...

— Как? В чем я провинился?

— Да, можно и так сказать, — провинился, хотя более спокойного раненого я не встречала. Я понимаю, вы устали, и сопротивляемость ослабла, но без вашей помощи я бессильна...

— Бросьте меня, Ирина Николаевна! Не союзник я вам, а обуза. Мне стыдно, честное слово. Сколько труда, усилий, внимания, и все впустую.

— Вы что, не верите в выздоровление?

— И вы, Ирина Николаевна, тоже не верите. Простите, но жестокое это дело, как, скажем, ребенка бумажной оберткой дразнить. Мне правда жаль вас. На днях, когда температура упала до тридцати восьми, вы так радовались, что у меня не хватило сил сообщить вам о новом нарыве.

— В чем-то понимаю вас, но вы ошибаетесь в главном. Я, Михаил Иванович, верю в ваше выздоровление и хочу, чтобы и вы поверили. Иначе мы не победим. И подумайте, как много уже позади. Операцией остановили гангрену в Костроме, в Горьком победили сепсис, осталось — остеомиелит. Его мы перебором, но нужна сопротивляемость, а вы до сих пор не едите мяса. Вы вегетарианец?

— Душа не принимает... Длинная история... За сутки до ранения мы, отходя, заняли оборону у разбомбленного свиноводческого совхоза. Постройки сгорели, и на тропе, что шла в сторону небольшого островка леса, десятки трупов... Дети, женщины, старики... И среди них бродят голодные и озверевшие кабаны... Вы понимаете? Мы стреляли по ним, кололи штыками и, хотя из продуктов имели только сухари, к кабанам не притронулись — это не еда! И с тех пор мясо вызывает тошноту и рвоту...

— Михаил Иванович, — грустно сказала Ирина Николаевна, — вы вовсе не хирургический больной, а мой, и теперь я за вас берусь.

И она взялась. Научила есть мясо и возродила угасшую веру в жизнь. Не легко и не сразу ей это удалось,

ценой большого нервного износа. Но нервный износ таких самоотверженных медиков невидимо преобразовывался в здоровые сотен и тысяч их пациентов.

Случалось, Быстров с ней спорил, отстаивал свои, может быть не столько выношенные, сколько внушенные обстоятельствами мысли.

— Вы встречали того жизнерадостного паренька со второго этажа, без одной ноги?

— Да, и вы хотите сказать, что он не впал в уныние? Жаль его. На одной ноге перепрыгивает через габуретки — он еще не понимает всей утраты.

— Не хочу спорить с вами. Постарайтесь уснуть.

В один из солнечных дней ранней алтайской весны, когда Быстрова, укутанного в десяток одеял, в очередной раз вынесли на свежий воздух, в молодой сосняк госпитального двора, к нему подошла Ирина Николаевна с тарелкой под белой салфеткой.

— Я вам пельмени сварила, что-то среднее между казанскими и сибирскими. Знаете такие?

— Еще бы, меня уже помотало по России.

— Ну и прекрасно. А теперь откройте рот. — И это было сказано таким мягким и в то же время не допускающим возражений голосом, как в палате говорят: «Больной, откройте рот, покажите язык», — что Быстров сразу и не осознал, что с жадностью, почти не разжевывая, глотает самые что ни на есть мясные пельмени.

— Вкусные, очень вкусные, Ирина Николаевна.

— Вам так неудобно. Давайте освободим вашу руку, и вот вилка...

Когда он доел пельмени, обнаружилось, что исчезла вилка. Вначале посмеивались, а потом Ирина Николаевна с возрастающей тревогой принялась трясти рукава халата, разбирать складки многочисленных одеял, заглядывать под носилки, но вилки нигде не было.

— О боже, неужели вы проглотили вилку? Такое случалось.

— Милый доктор, либо вы мне льстите, либо переоцениваете мои способности. Не умею я глотать вилки. Только в детстве маленькую металлическую свистульку проглотил, но та вскоре вернулась, и я еще долго в нее дул на зависть сверстникам.

— И вы еще шутите... А что вы скажете, если вилку придется извлекать операционным путем?

— Сказали тоже! И вам не жалко из-за копеечной вилки распаривать живого человека?

— Вы невозможный человек. — И, напуганная, она побежала в лечебный корпус. Тут же санитарки подхватили Быстрова.

Осмотр был строжайший, одеяла снимали одно за другим, осматривали каждое, проверяли и прощупывали и — никакого толку. Нашли вилку только внутри халата, под спиной, куда она скользнула по широкому рукаву.

— Теперь пельменей больше не принесете?

— Принесу, — улыбнулась Ирина Николаевна, — только кормить буду с руки.

Постепенно восстанавливались силы, первого марта на температурном листе впервые появилась запись — тридцать семь и ноль. Начались новые заботы. Непросто, оказывается, опустить на пол ноги, непросто встать на костыли и затем отвыкнуть от них, а тут еще этот непрерывный вопрос — неужели это все, что ты успел, смог, сумел в эти тяжелые годы?

Ирина Николаевна нашлась и тут. Однажды в отсутствие Быстрова на стене напротив изголовья появились его мундир и шинель, аккуратно заштопанные, поглаженные, со знаками различия, эмблемой.

Быстров был поражен — мундир в палате!

— Для чего это? — спросил при встрече Ирину Николаевну.

— Как для чего? Вам в халате выходить неудобно, да и пора уже к форме привыкать. Сапог вам еще не натянуть, но мы нашли подходящие мягкие ботинки и краги.

И он понял, растроганно сказал:

— Ручку дайте, ручку...

— В губы не хотите?

— И в губы, и в глаза...

Тут Ирина Николаевна, улыбаясь и не отнимая руки, остановила его умными и добрыми словами:

— Мы, кажется, выздоравливаем, и я рада за вас.

Перед выпиской из госпиталя Быстров, опираясь на палку, вышел проститься с тем молодым сосняком, где, закутанный во множество одеял, провел почти все зимние дни, по четыре — шесть часов. И тут неужи-

данно наткнулся на Лисовского, он лежал на носилках, исхудавший и подавленный.

— Сядь на минутку, поговорим. Скучно одному, Лисовский я, может, слышал?

— Знаю, заметил, когда ты еще на костылях был.

— И я видел, когда тебя на носилках сюда таскали.

— Выходит, я на ноги поднялся, а ты на мое место.

Ногу, что ли, поломал?

— Если бы это! Мне путь один — в тот дальний сосняк... Гангрена, — и он глазами показал на область живота.

— Сказали?

— Скажут они! Сам понял, да и понимать тут нечего. Консультант приезжал, распорол еще раз, посмотрел, зашил кое-как, заклеил, и засунули меня в отдельную конуру. Лучше бы хорошую дозу морфия и — будь здоров, не кашляй!

— Не могут... гуманизм...

— И ты туда же! Бывший конник я, и нету у человека вернее друга, чем боевой конь. Он тебе и оружие, он же товарищ верный. Он раненого тебя не бросит, в испуге от запаха крови испариной весь покроется, а далеко не уходит, ржанием всадника зовет, ждет его. С опущенной головой за гробом павшего хозяина пойдет и без серьезного боя нового владельца не признает. Но если коня ранят, ты же его пристрелишь, и никто тебя не осудит, и совесть твоя чиста — прикончил, чтоб не мучился. Поплачешь, обнимешь, в верхнюю губу с мягкими волосинками, бархатную, у ноздрей поцелуешь и, отвернув лицо, выстрелишь в ухо. И одна только у тебя забота, чтоб новый конь не хуже старого оказался. Где тут твой гуманизм?

— Сдаюсь... закуришь?

— Вкус потерял, да ладно — сунь в рот. Руки, видишь?

— Знакомо, приходилось.

После нескольких вялых затяжек Лисовский закашлялся, папироса выпала, и он не заметил этого. «Не надо было предлагать», — промелькнула мысль, но другой голос, более властный, возражал: «Ему все можно, чего бы ни захотел, — папиросы, водку, морфий, все, все! Может быть, в жизни человека бывает момент, миг какой-то, когда его надо освободить от всех обязанностей перед обществом и просто сказать ему

несколько добрых прощальных слов: «Ты был с нами и жил, как мы, но сейчас делай как знаешь. Мы тебя не осудим».

Вскоре глаза Лисовского оживились, и он торопливо, взхлеб стал рассказывать о том бесконечно важном и обязывающем, чего в могилу не возьмешь и что надо оставить людям.

Он ощущал близость конца, но не обнаруживал тягостного томления, он как бы следовал совету Фурманова: «Если быть концу, надо его взять таким, как лучше нельзя... Умереть по-собачьи, с трепетом и мольбами — вредно»... Вредно — кому? Не умирающему, разумеется, а тем, кому он служил, а Лисовский служил своей стране, людям. И умирал он как нельзя лучше, спокойно и безропотно, уступая место тем, кому жить...

То, о чем рассказывал Лисовский, началось в раннее солнечное сентябрьское утро. На рассвете он вскарабкался на дерево и в бинокль следил за противником, сильным еще, не испытавшим больших неудач, беспечным и наглым.

В это утро противник тремя группами, до батальона в каждой, купался и резвился в нашем озере, еще полетному теплом, а в прибрежных кустах, возле кое-как замаскированных автомашин, суетились повара. Тяжело угнетали Лисовского неудачи летней кампании, и это веселое купанье отозвалось в его сердце особой оскорбительной болью. «Курорт себе нашли, сволочи! Но я вас выкупаю и еще как выкупаю!» Быстро, в тысячных, высчитав дистанцию, — до дальней группы две двести и одна восемьсот до ближайшей, — Лисовский побежал к рации просить у Первого гаубичный дивизион и хотя бы два-три десятка старых¹ гранат на ствол. Но, сделав несколько шагов, он остановился. Вспомнил — ничего у Первого нет, ничего! Он, конечно, своей бедности напоказ не выставит и, как обычно, сведет дело к разъяснению наркомовских норм выстрелов на ствол и напомнит о силе русского штыка:

— Вы, подполковник, на других не рассчитывайте — у каждого своя задача. Она есть и у вас, ее и выполняйте! Напомню вам слова Суворова: «Пуля дура, а штык молодец». Слыхали?

¹ Осколочных, для поражения живой силы вне укрытий.

— Так точно. Вы мне вчера об этом говорили, и ранее...

— Не во вред. Повторение — мать учения. Слышали?

— Так точно.

И Лисовский пошел по батальонам, чтобы лично убедиться, все ли люди накормлены горячим завтраком — может быть, последним...

А со стороны врага все шло по неизменному немецкому образцу. Разведывательные группы, растянутые по всему фронту, по ответным выстрелам нашей обороны уточняли прохождение переднего края и где можно — окопов первой полосы. Тихо и надоедно над головами шуршал мотор «рамы», пронырливой и коварной машины, выслеживающей цели для «юнкерсов». Пока пехота противника заканчивала завтрак, самолеты несколькими волнами обработали позиции полка, и вслед за ними, поддержанная огнем множества крупнокалиберных минометов, в наступление ринулась вражеская пехота, легко одетая, в тапках и майках.

И так, как по расписанию, изо дня в день.

До полудня полк выстоял, но потери были чрезвычайно велики — до половины в личном составе, почти все групповое оружие, кроме двух еще стреляющих пулеметов «ДС».

Около пятнадцати часов немцы, после короткой перекуски, которую они в ту пору соблюдали свято и по времени точно, ввели в бой новые, неведомые ранее минометы, и Лисовский счел долгом командира доложить об этом Первому. Тот был далеко, не ближе семи-восьми километров, поля боя не видел, НП не выставлял, сообщению Лисовского не поверил:

— Нету у него таких минометов. Понимаете — нету!

— По долгу службы я обязан доложить: есть! Минометы необычные, бросают по пять или шесть мин практически одновременно, мины ложатся кучно, огонь переносится также одновременно всеми стволами. Таких минометов...

— Панику распространяете. Слышали, небось, что наши новые минометы изобрели, и со страху ударились в фантазию. Запрещаю такие разговоры! Запрещаю!

И драпать не думайте. Ни шагу назад, иначе к стенке. Поняли?

— Драпать нам некуда. Оторваться от противника не можем, если бы и решились. За нами открытое поле, есть где поработать новым минометам и «юнкерсам» также — «рама» с утра над нами...

— Вы там кем, информатором?

— Нет, пока команду.

— Командуете? Не чувствую, чтоб командовали. Что у вас — опять большие потери?

— Очень большие...

— Смотрите у меня! Если что не так...

Что ж тут скажешь? Его позиция железная и в принципе верная — «ни шагу назад». И что бы на его месте сказал другой Первый, даже тот же Лисовский? Наверное, такие же три слова, но, может быть, с меньшего расстояния и хотя бы раз ввел в бой четыре танка Т-26 и полностью укомплектованный саперный батальон, который за всю летнюю кампанию выполнял только одну задачу — оборудование и охрану его КП. Нет, никогда он своим умом не дойдет до понимания той истины, что даже умирать надо уметь с пользой...

Положение остатков полка было тяжелое, а позиция самого Лисовского совсем шаткая, особенно после того, как посланный на правый фланг второй помощник начальника штаба доложил: «В двух ротах 37 человек, командиры и политработники погибли, станковые пулеметы разбиты. Принял командование, будем оборонять район мельницы до последнего человека».

До последнего? Ну что же, сделаем это решением общим и обязательным для всех. И Лисовский направился к левофланговым ротам, что в двухстах шагах от той небольшой ямы, откуда он следил за полем боя и по мере сил управлял его ходом.

Но он не прошел и половины пути, как все исчезло, и он запомнил только необычайно яркий бело-зеленый шар огня. Звуча взрыва, боли или падения не ощущал.

Очнулся в сумерках от прикосновения чьих-то рук. Затем расслышал шепот:

— Тихо! Мы свои. Но ни звука! Немцы в селе.

Лисовский различил лицо говорившего, петлицу заметил, полевую, с одной «шпалой», и эмблему связиста над ней. Свои, значит, свои!

Где волоком, где на руках эти люди тащили его к приозерному кустарнику и дальше по болоту на восток, в направлении наших войск. Лисовский был в обморочно-шоковом состоянии, мало что замечал, но одна остановка, уже под утро, осталась в памяти.

Как выяснилось, капитан был направлен в полк Лисовского для связи, но опоздал — на его глазах немцы смяли редкие боевые порядки полка и ринулись в деревню, на ходу добивая раненых. Ему бы вернуться, и доклад был бы исчерпывающим, но он замешкался, потрясенный уничтожением обессиленного полка, решил дождаться темноты и обойти поле, где наверняка остались раненые. Отыскивая в болоте убежище, встретил четырех бойцов, потерявших ориентировку, растерянных. С ними, выйдя в сумерках на место боя, наткнулся на Лисовского...

На этой остановке Лисовский просил капитана:

— Если не удастся выйти, люди устанут или немцы налетят, пристрели. Только по голове бей, несколькими пулями, для верности. А чтобы к ногтю тебя не прижали за это, передай кому надо мое служебное удостоверение и доложи, что нашел мертвым. Но это непременно передай, чтобы знали — не сбежал я, не предал, а просто погиб... Партийного билета не отдам. Сжился я с ним, пусть остается.

Капитан был немногословным, сказал только:

— Врагам не оставляю.

Когда, как и где расстались, Лисовский не знал.

— Что ты скажешь о таком человеке? — глаза Лисовского оживились, смотрели умно и требовательно.

— О капитане? Словами не скажешь. Шапку сниму.

— Я его разыскивал, в полк писал, справлялся, но отвечали уже новые люди. Недолговечными были пехотные командиры в то лето, а новые того капитана не знали, да и его фамилию я подсказать не мог. Найдешь тут! Но вот новости там приятные и важные: фронт стабилизировался, и враг уже ощущает наши удары, скоро мы его научим драпать. Полк доукомплектован, вооружен, обеспечен средствами управления и связи. Первого еще осенью за многие ошибки и промахи сняли и наказали. Наказывать, конечно, его не за что — дите на войне...

Лисовский задышался, и разговор пришлось прервать на полуслове. Условились о встрече на следующий день, но эта встреча уже не состоялась

Через пару дней, ранее обычного, сразу после тихого часа пришел хирург с угрюмыми, опухшими глазами:

— Лисовского проводили, в тихий час, чтобы в глаза не бросалось. Почти все собрались — врачи, сестры, санитарки. Плакали. Какого человека потеряли, какого человека! Захватил маленькую, помянем давай товарища нашего...

Новосибирск встретил приветливо. На пятом этаже огромного, по тому времени самого большого в стране железнодорожного вокзала, в комнате, отведенной для раненых и инвалидов, Быстрову выделили кровать. Да и в штабе округа вначале все недурно пошло: дежурным комендантом знакомый человек оказался, в прошлом боец его полка.

— За пропусками в штаб округа тут сутками выстаивают, а вам не откажу, — проходите.

На этом удачи в тот день кончились. В отделе кадров штаба были непримиримы:

— Об отправке в Москву и речи быть не может. На территорию Европейской России отправляем только годных в строй и, как исключение, — ограниченно годных первой степени, а у вас вторая.

— А если я представлю справку о годности первой степени?

— Попытайтесь.

И Быстров вышел на поиски этой справки. Ясно, дать ее мог только госпиталь, но как ее вырвать? Честным путем не достанешь, обмануть не удастся, значит, надо брать на испуг.

Кабинет начальника госпиталя отыскался в самом конце длинного коридора. Человек, от которого зависела теперь судьба Быстрова, скучал в одиночестве, был он старый, чернявенький и худой, как славной памяти сушеная вобла. И поблизости никого. Решение возникло в одно мгновение — или сейчас или никогда!

После краткого обмена мнениями начальник госпиталя нехотя выписал так нужную Быстрову справку, закрепил ее подписью и печатью. Но старик схитрил —

позвонил дежурному по штабу округа, сообщил, что на него напал какой-то ненормальный подполковник, угрожал палкой, вынудил дать справку о годности первой степени. Однако на отдел кадров это сообщение сильного впечатления не произвело — не первый, видимо, случай.

— Ну как, все нормально? — спросили.

— Да, конечно, как положено.

— Осмотрели?

— Да, как положено.

— И палку вашу?

— Нет, палку нет. Врач только взглянул на нее и тут же выписал справку.

— А потом позвонил и пожаловался. Ну ладно, езжайте. Зайдите через пару дней. К тому времени направление будет готово и проездные выпишем...

В привокзальные «инвалидные» комнаты раненые прибывали одиночками, кто с палкой, прихрамывая, кто на костылях, кто на носилках в сопровождении няни-санитарки, но всех, пожалуй, объединяла общность судеб: люди средних лет, из довоенных кадров армии, прослужившие по десять — двадцать лет, принявшие на себя первые удары немецкой армии.

Новые, прибывая, представлялись: такой-то. После знакомств тут же стирались из памяти имена, но главное оставалось.

— О начале войны узнал только через три недели, в госпитале, когда очухался. Первая бомба, упавшая на наш лагерь, начисто оторвала обе ноги, в постели было. Жена со мной лежала и дочь на диване у стены. Погибли, наверное. И на что я им теперь? Не кормилец я, а обуза. В Томск направляют, в протезный. Так и буду ковылять до конца дней.

— В первые минуты боя, еще и пяти часов не было, как осколком пятку срезало, потом в санитарном поезде оторвало левую руку. Еду радовать старых родителей, которым в мирные дни и писать ленился... Семья была, но за фронтом осталась...

— В Бресте служил, а перед самой войной был в Москве в командировке. Когда она началась, от жены, через ее брата-москвича, телеграмму получил: «У нас беда поеду родителям ключ Ивановых». Ее родители вблизи Бреста жили, а Иванов мой сослуживец. Из Москвы в тот же день выехал, но до Бреста

не добрался. В других частях служил, отходили с боем, пока под Смоленском не ранили. Выздоровел, годен к службе, жду назначения. Мне бы до Бреста пробиться, а там как бог даст.

— Начальник артиллерии дивизии. До Березины отходили с боями, а там ногу в бедре перебило. Ранение как бы и не особенно тяжелое, но перелом косым оказался, а рентгена не было. Пока я в гипсе лежал, пока заметили и разобрались, нога короче другой на десять сантиметров стала. Надеются растянуть, новая операция предстоит. За тем и еду.

Среда была дружелюбной. Общность забот и неудач к этому обязывала, но одного выздоравливающего приняли прохладно, неприязненно, по его рассказам угадывая в нем, несмотря на его немалые годы, труса и ловкача.

— Я не из военных, а когда армия не выдержала, добровольно вступил в народное ополчение, назначили начальником химслужбы полка как ученого-химика, хотя противогаза и вблизи не видывал. Там же в партию приняли по моей просьбе. «Хочу умереть за Родину коммунистом», — написал. В одном из боев получил ранение, редкое, как врачи говорили, — пулевое сверху через стопу, без серьезного повреждения костей. Пролежал два месяца и выздоровел...

— Как же с такой раной за Урал угодили? Не полагалось бы.

— В санитарном поезде, как и все. Как погрузили, так до конца и довели. Теперь по возрасту откомиссовали. Значит, войну и прошел. Пропуска жду и вызова. Может, с партийным билетом какие трудности предстоят, но надеюсь — уладится. В партии я всего месяц и был, простят, думаю, раненному в боях...

— А что с партийным билетом?

— Он не пропал. При ранении в землю зарыл, чтобы немцы не взяли, если в плен захватят. То место я колышком отметил и хорошо запомнил.

— Тут все просто — найдите этот колышек и по нему партийный билет. Только за неуплату членских взносов объясняться придется.

— Объяснил бы, по госпиталям мотался и все такое, но то место, где я партийный билет зарыл, немцами захвачено...

— Какого черта вы это нам рассказываете? С немцами объяснитесь! Может быть, они вас за ученость помилуют.

Шум поднялся, но тут дверь открылась, и в комнату на носилках внесли лейтенанта-артиллериста, первого по-настоящему молодого, около двадцати, без одной ноги, а другая, парализованная, вытянутая и неподвижная, только числилась в наличии и явно мешала ему.

— Ненадолго я к вам, товарищи, часа на два-три, до вечера от силы. Но, извините, я сам себя не обслуживаю и...

— Скажи, что надо. Сами так лежали.

— Санитарка меня сюда провожала и еще с Урала дала телеграмму жене, чтобы встретила. Но не пришла. Телеграммы сейчас так опаздывают. Ее мать, теща, значит, пришла к поезду и сказала, что телеграмма поступила поздно, жена уже на работе была. Она тоже на работу торопилась, и о чем мне с ней разговаривать, с незнакомой старухой? Вот жена узнает и мигом сюда прибежит. Быстрая она и добрая. Я ей, конечно, не писал, что сильно искалеченный, зачем любящую душу раньше времени огорчать.

Бедный паренек, по-человечески близкий и очень милый, но как внушить ему особенности безвестного ему инвалидного мира, как объяснить всю сложность слов — «не огорчать раньше времени». Узнает он еще свою судьбу, узнает, познает.

— Давно женат, лейтенант? — спросил Быстров.

— Почти год, можно сказать, или неполные сутки. И то, и другое — правильно. Я еще курсантом был, когда познакомились, и в последнюю мирную субботу она приехала ко мне в Гродно. Днем расписались, вечер провели с товарищами, гуляли по городу, а в четыре утра я в бой, а она сюда пробилась, к родителям, их эвакуировали вместе с заводом... Писал я ей, она аккуратно отвечала, и по письмам мы еще лучше друг друга узнали и полюбили. Сюда звала, когда из госпитала выпишут. И еще писала — смешная такая — устала, мол, от такой постной и бумажной любви. Но теперь недолго осталось... Настоящего жилья у нее нету, с родителями она в одной маленькой комнатке, но есть остекленная веранда. Тепло в ней, и папа, писала, нам ее уступит. В ней и проживем до осени,

потом найдем комнатушку и будем жить по-настоящему — только она и я.

Жена все не показывалась, лейтенант нервничал и волновался, и к исходу первого дня по минутам время подсчитывал, когда она, окончив работу, сможет за ним приехать.

Она пришла на второй день, совсем еще молодая, почти девчонка, красивая, и по возрасту и по военному времени худощаво-стройная. Она как будто намеревалась броситься к мужу, но, увидев его отечное небритое лицо, короткую культю ноги и его безуспешные попытки подняться с постели и сесть, — отшатнулась испуганно.

— Ты, Митя, не вставай, не вставай, тебе говорю. Я сейчас, мигом я! — И выскочила из комнаты.

И не вернулась.

Лейтенант изменился в считанные минуты. Лежал молча, больше на часы не взглядывал и перед вечером попросил позвать заведующего эвакуацией. На вызов пришла женщина средних лет, и все вышли, оставив их наедине.

Его увезли ночью, утром говорили — в Кемеровскую он просился, в дом инвалидов. Родных у него не оказалось...

Кто-то обозвал жену лейтенанта оскорбительным словом. С ним не соглашались, спорили, и вспыхнула перепалка. Постепенно в общем гомоне стал выделяться энергичный и несколько крикливый голос вчерашнего ученого-химика. И надо признать, говорить он умел, и его заключение: «Семья изначальная основа общества, его опора, и потому общественное мнение и наше законодательство стоят на страже семьи, осуждая, ограничивая разводы, а она, шлюха, бросила мужа-инвалида», — звучало весомо.

Ему возражали, и особенно убедительно говорил пожилой полковой комиссар, в свое время за какие-то погрешности уволенный из армии и принятый в народное ополчение только батальонным комиссаром, раненный осенью сорок первого:

— Подлинные семейные отношения между лейтенантом и этой девчонкой не успели сложиться, и попытка создать эту семью сейчас, может быть, выглядела бы красиво, но означала бы закабаление молодой и здоровой женщины, с ее правами на жизнь и на

счастье... Я нахожу поступок этой еще молодой женщины, почти девчонки, вынуждено оправданным и внутренне честным. Строго говоря, мы даже не имеем права говорить о решении жены. Разве выезд мужа в дом инвалидов не является его молчаливым согласием на решение жены? Стало быть, это решение является их общим решением, суровым, конечно, рожденным суровой жизнью.

Так высказал комиссар жесткую, продуманную правду, и тихо стало.

В солнечный июльский полдень сорок второго Быстров медленно, опираясь на палку, передвигался по малолюдным улицам военной Москвы, знакомым ему с середины двадцатых годов. В Москве застала его война. Отсюда 26 июня с большими надеждами, верою в себя, в силы армии и народа, выехал он на Прибалтийский фронт. Прошел год только, но Москва изменилась, как бы опустела, хотя разрушения были незначительные или после всего виденного просто не бросались в глаза.

В Замоскворечье одно здание стояло без фасадной стены. В комнатах виднелись кровати и всякая домашняя утварь. Возле площади Маяковского от другого дома осталась только стенная коробка. Здание Большого театра было повреждено, образовались трещины, и рабочие эти трещины заделывали, колонны скрепляли обручами... Витрины магазинов, все большие оконные проемы первых этажей были защищены барьерами из мешков с песком, на остальных этажах окна крест-накрест заклеены полосками бумаги. Позолоченные купола соборов, некогда украшение старой купеческой Москвы, покрыты грязноватой защитной краской. На стенах многих особенно приметных зданий, включая Кремль, — камуфляжи, искажающие видимые с воздуха очертания зданий и целых кварталов. Памятники закопаны в землю или защищены, а из стен полуподвальных этажей на перекрестках грозно глядели пулеметные или пушечные амбразуры, построенные осенью сорок первого властью командовавшего внутренним обводом обороны столицы генерал-лейтенанта Артемьева.

Весь этот вид по-военному суровой и строгой сто-

лицы напомнил Быстрову Горький, октябрьские тревоги сорок первого. Тогда только отголосками доходили эти тревоги до горьковского госпиталя, в котором находился Быстров. Раненые были встревожены скоплением на улицах Горького легковых автомобилей с московскими номерами и знаками, всевозможными тюками на крыше кузова, капота и на продольных подножках. Госпитализированные впечатлительны, и озабоченность в такой среде легко и быстро перерождается в тревогу и страх. В тревогу не за личную свою судьбу, а за судьбу столицы, за судьбу родной страны.

Комиссар госпиталя переходил из палаты в палату, от кровати к кровати, успокаивал и объяснял:

— Москва наша и всегда нашей будет... А с Куйбышевым дело такое — надо было освободить столицу, главный центр обороны страны, от людей, не так уж нужных в делах войны, а также корректно и учтиво удалить из Москвы нежелательных нам дипломатов. Конечно, сбежали и паникеры, и с ними сейчас разбираются...

В начале ноября, точнее в ночь с пятого на шестое, немецкие самолеты обрушились на Горький. Раненые понимали: цель вражеских авиационных налетов — не город или госпитали, а два моста в черте города через Волгу и Оку, автомобильный, телефонный заводы, Сормово, что в стороне, и Дзержинск. Ходячие раненые укрылись в подвальных убежищах, куда выносили и большую часть лежачих, хотя некоторые шутивно, но настойчиво требовали:

— Оставьте на месте. Чтобы все эти этажи на меня попадали? Благодарю покорно! Лучше я сам последним на всех навалюсь.

Здание временами как бы ходуном ходило, но никакой паники или испуга раненые не проявляли, и вопрос у всех был один и тот же — как мосты, автозавод и телефонный?..

Особой надобности шляться по Москве Быстров не имел, он шел от Новомосковской гостиницы в скверик перед Центральным Домом Красной Армии — ЦДКА, как его в довоенные годы именовали. Сюда сколько уж лет непременно заходили прибывшие в Москву командиры в надежде встретить старого знакомого, сослуживца, друга. Посещение этого скверика стало традицией, почти всеобщей в командирской среде, и, бы-

вало, встречались друзья. Командиры, переведенные в столицу из провинциальных гарнизонов, в первые годы приписки в Москве этим местом тоже не брезговали. Старые привязанности еще сказывались, но, разумеется, проявлялись уже и зачатки столичного воспитания. Такой человек, узнав новости из старых мест службы, о перемещениях знакомых на прощание мимоходом скажет, не утруждая себя подробностями:

— Тут я начальником отдела, загляните в удобное время.

И ничего особенного в этом нет. Человек в гору пошел и к новому себя подготавливает, новые привязанности завелась.

Не любопытства ради Быстров к Дому Красной Армии ковылял. Дело стоящее было, подсказанное в управлении кадрами на Арбате:

— Документы оставьте и погуляйте себе по городу, не ожиреть чтобы.

Ожирения Быстров не опасался: питание по третьей норме — не роскошь, скажем прямо. Просто ходить надо было, укреплять ноги.

Пешеходов на улицах было мало, как и автомашин, но хромоногие встречались, и Быстрова, как одного из многих, не заметили бы, если б не его толстая сучковатая палка.

— Откуда такое страшилище? — залюбовался палкой капитан-зенитчик.

— У этой палки любопытная история. Одна особа, вдова инвалида первой мировой войны, подарила. Моему мужу, сказала, друзья из можжевельника вырезали, и он до конца своих дней ее не бросал. В могилу класть, как посоветовали, не решилась, на память оставила. Тебе подарю, походи теперь ты с ней.

Присели на скамеечке, закурили и разговорились. Капитан из москвичей оказался, еще в довоенные годы московское небо охранял.

— Не ваша пушка тут, возле театра? — спросил Быстров.

— Нет, не моя. Моя пушка на Кировской, вблизи почтамта, почти под моими же окнами. Когда спокойно, из дома за небом и наблюдаю. А сейчас время свободное, вот сюда и зашел — может, кого знакомого встречу.

— Спокойнее стало?

— Какое сравнение! Бывало, сотнями налетали, а теперь их к столице не подпускают, а если какой и прорвется — истребители над окраинами сбивают или наши пушки за дело берутся. Но и покоя особого нету — фронт только за Сухиничами. Стрельбу, небось, слышали?

— Да, конечно, — сказал Быстров, наблюдая, как по широкой улице, выдерживая ритм шага, девушки сопровождали «колбасы» воздушного ограждения. Красивое зрелище, впечатляющее и — прискорбное. — Есть от них какая польза?

— Большая! По точечным целям бомбометание с больших высот невозможно, а эти «колбасы» самолеты на малые высоты не допустят. А эти улицы, где провода сняты, — готовые взлетные полосы.

— Паек как? Наркомовские сто граммов?

— В порядке! Неужто московские зенитчики похуже каких других войск?

Чудное дело война! Кто в болотной жиже днем и ночью барахтается, мокнет и мерзнет, а кого законная супруга греет. И тут, и там одна война. Чудно!

Но это вчера было, а сегодня Быстров часа три на этих скамейках просидел, половину дневной табачной нормы выкурил, и хоть бы один знакомый показался. Да и откуда им тут взяться? Былые знакомства в довоенном командирском кругу подраспались. Кто в землю лег, кто искалечен, а уцелевшие не тут шляются — воюют. Обновилась армия, выросла, и новые у нее командные кадры.

Быстров уже восвосяси собрался, как вдруг старого знакомого приметил, и еще какого! — Ивана Тимофеевича, который медленно и вяло, как старик какой, плелся по узкому проходу между скамейками в его сторону. Давно они друг друга знали, и отношения между ними всегда были дружескими. На радостях обнялись, и тут Иван Тимофеевич, старый и опытный разведчик, в кармане друга пол-литровую бутылку на ощупь определил.

— Это что у тебя?

— Что с тобой случилось, если не угадываешь?

— Откуда, спрашиваю? Тут же не дают.

— Отгадай, и половина твоя.

— Ради чего голову ломать, когда так и так тут моя половина.

— Часа три назад, когда я сюда шел, женщины у одного магазина в очереди стояли и меня окликнули: «Товарищ военный, подойдите к нам, хоть мужского духу понюхаем». Подошел я к ним, вежливо поинтересовался, чем заняты. Стоите, мол, и вроде мягким местом стену поддерживаєте. «Нет, мы не подпорками стоим. Водку по талонам за наши труды получаем. Становитесь и вы с нами. Первым поставим, головным». — «Милые мои, нет же у меня никакого талона». — «Чудной, ей-богу! До хромых ног довоевался, а у своих же баб водочного талона выуживать не научился. А ну, девушки, поставьте его головным нашей колонны — есть талон!» Так я эту бутылку достал. Все ясно?

— Знакомые попались?

— Какое! Наши бабы, работницы. Не понимаю. Могла бы эту бутылку за немалые деньги продать или обменять на пару хороших буханок хлеба, а вот на тебе, незнакомому даром отдала. Разберись в них, но, знаешь, я был растроган. Не водкой этой, нет, а тем, что так отнеслась к случайному военному...

До позднего вечера сидели у Ивана Тимофеевича в Центральном Доме Красной Армии, где ему, выросшему до полковника, в приспособленной для жилья бытовке выделили отдельную конуру, узкую и длинную, со множеством краников вдоль глухой стены.

Разговор не клелся, и даже обычные шутки над самими собой или сослуживцами выходили плоскими, вымученными и гасли, разбиваясь о невидимую, но реально ощущаемую преграду. И они эту преграду знали — наши неудачи на Харьковском направлении, прорыв противника к Воронежу, в направлении Волги, и по молчаливой договоренности избегали тяжелой темы, словно это могло отвести опасность, может быть самую грозную со времен осени девятнадцатого года.

— Почему не спросишь, как и когда я в Москве очутился? — прервал молчание Иван Тимофеевич.

— Сам расскажешь, если охота.

— Расскажу, только рассказывать нечего, глупо все и мелко. Поругались за обеденным столом, праздничным первомайским.

— Во хмелю?

— Всухомятку не празднуют, и другие за этим столом не сухогрузные были. Но у того, с кем я поругал-

ся, громоотвод был. А дело-то выеденного яйца не стоит. Амбиция только, с прицепом... Потому и вызван, нового назначения жду... О твоём бывшем хозяйстве — хочешь?

— Даже очень, давай!

— Хорош был полк, лучший!

— Как это был, а теперь что?

— Такой же, только люди новые, руководство новое. Многие командиры и политработники погибли, — и он перечислял — пал тот, этот, такой...

Список потерь был длинный, и Быстрову показалось, что Иван Тимофеевич уже и не рассказывает, а как бы за руку взял и по кладбищу повел, от могилы к могиле, по следам павших, искалеченных и исчезнувших — всех потерь этой тяжелейшей, кровавой, но при этом великой и освободительной войны. И мерещились ему слова, большими бронзовыми буквами начерченные над высокими черными воротами монастырского кладбища, так напугавшие когда-то в далекие детские годы: «Мы были такими, как вы, и вы будете такими, как мы».

И не страх — боль души выдавила:

— Оставь, друг. Опять не с того конца разговор пошел.

И торопился Быстров, надо было до запретного часа добраться до улицы Горького. За нарушение режима комендант гарнизона карал изобретательно — по двору комендантского управления гонял строевым шагом. Испытавшие это предупреждали: «Только не опаздывай! Получишь вдоволь».

Иван Тимофеевич обещал навеститься и действительно пришел через пару дней, но успел только проводить Быстрова — снова в госпиталь, уже в шестой за неполный год. «На днях навещу», — сказал на прощание и с тем исчез.

Писал из-под Воронежа, где служил начальником разведотдела армии, из-под Киева писал и из Чехословакии.

Далекие они, дороги войны.

Врач приемного отделения, молодая и красивая женщина, была занята делом — старательно чистила и полировала лаком длинные ногти. Из новых больных.

один Быстров был, и стоило ли из-за одного человека прерывать любимое увлечение?

— Больной, берите термометр, — сказала, не подняв глаз.

— Подайте сами, я ходить не могу.

— Как же вы к нам попали, если ходить не можете?

— В скорую позвоните, там объяснят.

— Клава, а Клава! Где же вы опять пропали? Термометр больному!

Спустя несколько минут последовала общая команда Клаве, миловидной медицинской сестре, и Быстрову:

— Клава, термометр! А вы, больной, разденьтесь, заполните лицевую сторону больничного листа, запишите свои вещи, и в ванну. Быстро!

Передавая Клаве термометр, Быстров заметил — сорок и восемь, еще не опасный предел. Многие месяцы в госпиталях научили уважительно относиться к врачам, медицинским сестрам, санитаркам, подлинным героям тяжелейшего труда, но тут впервые нервы не выдержали. Раздражали маникюрные увлечения этой красивой куклы, и Быстров, неожиданно для самого себя, вспылил:

— Я ничего не напишу, от ванны отказываюсь.

— Как так?

— Вот так, позовите кого-нибудь поумней.

Тут дамочку будто ветром сдуло, но вскоре она вернулась в сопровождении мужчины в халате, и из-под его воротничка грозно глядели две шпалы — военврач второго ранга.

— Как вы посмели оскорбить дежурного врача? — спросил с усталым спокойствием. — В чем дело?

— Взгляните на мои ноги и на термометр и решите, гожусь ли я в писари и для меня ли горячая ванна.

Глянув на термометр и на опухшие, багровые, с синеватым отливом ноги, он тут же приказал жестко:

— На носилки, и быстро наверх!

Быстрова поместили в полутемный изолятор, с одной железной кроватью, каталкой и табуреткой — вроде камеры-одиночки, в которой, как выяснилось впоследствии, выдерживались оперированные под эфиром, пока не успокаивались самые острые послеоперационные боли. Сюда же, поближе к врачам и подальше от

греха, укладывали вновь поступивших с высокой температурой.

— Если что нужно — позвоните. — Быстрову пока-
зали на привычный уже звонок — чайный стакан с лож-
кой. В отличие от обычных звонков этот всегда дейст-
вовал безотказно.

— Вам утку, судно?

— Нет, хирурга прошу.

— Его нет и до понедельника не будет.

Был субботний вечер. Значит, до понедельника еще
две ночи и один день, много это, не выдержать столь-
ко, и Быстров еще раз вскипел:

— Мне хирург сейчас нужен! Понимаете — сейчас!

— Хорошо, я скажу, хотя это напрасно.

Он метался в забытьи, порой теряя сознание,
и лишь однажды очнулся от болезненного ощущения
в руке, прервавшем причудливые, то дорогие и ми-
лые, то тяжкие бредовые сновидения.

— Не пугайтесь. Я дежурный врач, терапевт...

— Я хирурга просил, хирурга!

— Знаю, он оповещен. Сестра за вами наблюдала,
мы ввели обезболивающее. Хирург едва ли придет.
Старый человек, слабый уже, перегруженный и с при-
чудами...

— Встречались...

— Я не к тому говорю. Сейчас не хирург вам ну-
жен, а покой и сон во избежание шока. Введем мор-
фий?

— Нет. Морфий только на четвертые-пятые сутки
принимаю, когда силы на исходе. Пока выдержу.

— Если нужно будет, позвоните. Сестра за вами
посматривает.

В бреду Быстрову мерещился товарный вагон с ра-
ненными. Темно и душно, запах прелой соломы.

— Сестра, дай попить.

— Милые мои, не могу. У меня список, которым
никак пить нельзя, а в такой темноте я ничего не ви-
жу — ни людей, ни списка...

— Всем давай, какая разница!

— Не дам воды, никому не дам, пока света не бу-
дет. И вы меня не мучайте, плакать мне, что ли?

— Ладно, сестра, никому не давай! Не подохнем.

Началась бомбежка. Паровоз остановился на узкой
лесной прогалине, ходячие повыскакивали и вместе

с поездной бригадой скрылись за полотном. Лежачие оставались и с тревогой ждали очередного захода самолета, но все в один голос, грубовато, требовательно уговаривали медицинскую сестру:

— Бросай все к черту и в лес беги, быстро!

— Нет, — кричит. — Тут мой пост!

— Какой тут пост! Не будь душой, умереть еще успеешь, может, с пользой, беги, сестра!

Вагон покачнулся, но остался на рельсах, и тут тонкий, с надрывом голос медицинской сестры:

— В ведро угодило, дно пробило, вода разлилась. Что я теперь...

— На черта тебе это ведро! Не дури, бога ради, — в лес беги. Ты еще нужна людям, поняла — людям!

— Нет, с вами я. Тут мой пост.

Бредовые воспоминания прервал высокий, чрезвычайно худой, в белом халате, почти прозрачный старый человек, с прямыми тонкими усами, с уставшим и сердитым взглядом.

— Я хирург. Ты вызывал?

Обращение на «ты» было необычным, шокировало сорокалетнего Быстрова, оскорбляло, но прибывший — назовем его Николаем Наумовичем — не оставил Быстрову времени для отповеди, он обезоружил и парализовал какой-то особой, откровенной, его собственной, упрощенной правдой:

— Немцы тебе ноги перебили, ты с ними и рассчитывайся как умеешь. С бабами и стариками в госпиталях воевать просто. А ну скажи, почему немцы у Воронежа, на Волгу нацеливаются? Стыдно мне за вас, стыдно!

Отхлестав, как провинившегося школьника, старик вышел из палаты и не возвратился.

Первое — это чувство обиды. Второе — почему этому бешеному старику на дверь не указал, если достойных слов не нашел? И почему эти слова не нашлись, куда они запропастились, в военной обстановке такие обыденные?

Думать не хотелось, но в воспаленном мозгу невольно копошились раздумья о причинах наших неудач, а еще больше — поиски оправданий. В хаотичном беспорядке возвращалось пройденное — вера и надежды, сомнения, имена мужественных людей, в самые мрачные дни не терявших веру в победу, вспоминались

медицинские составы госпиталей, милые и дорогие люди, и только этот ночной пришелец оставался загадкой, как и беспомощность самого Быстрова перед ним...

Прошла наконец и эта ночь, еще одна тяжелая госпитальная, и утреннее оживление отдельными фразами проникало в изолятор, оповещая о наступлении нового дня, с его заботами, обобщая итоги минувшей ночи.

— Под утро приходил, злой, не дай бог, — слышалось.

— Дежурного врача не застал, в кабинете все документы раскидал, сестру обругал и того нового, в изоляторе...

— Он дома и не был. Разыскивали его и звонили. Сказали, в другом госпитале — по срочному вызову умирающего раненого спасал. Когда ничего больше не оставалось, на невиданную ранее операцию решился. Операция не удалась, раненый скончался, и тогда, в сердцах, он сюда и пришел.

— Будет вам теперь на орехи! Всем достанется в понедельник.

— В понедельник? Недели две зверем будет.

Это о хирурге. А потом чей-то слащавый голос внушал:

— Напишите, жалобу подайте. Он вас оскорбил, и хотя температура сорок один была, даже смотреть не стал. Вы только напишите, а я передам кому надо...

Быстров не взялся бы утверждать, действительно ли были эти слова сказаны кем-либо или пришли в бреду. Но точно помнил, что возражал: «Жалобу? Нет, сам обругаю!»

Потом еще день и еще одна ночь, многие часы спокойного сна (после введения морфия с вечера и вскрытия нарывов ночью) принесли необычайно радостное настроение, и даже тот злой ночной гений, стоящий в такую рань у его кровати, предстал в ином облике — заботлив был и даже приятен.

— Как спалось, молодой человек?

— Не молодой, допустим, но спал. Морфий с вечера...

— Знаю. Эта зеленая жижа давно из левой?

— Да, временами обильно...

— Под эфиром сколько раз оперировали?

— Четыре.
— Пятой операции не миновать. Сегодня ты эфира не выдержишь, а через пару дней вырежу.

— Что?

— Испугался? Не там, пониже возьму. А пока пойдём!

— Я же ходить...

— Эх, забыл: безногие вояки! Рикшу тебе подам женского рода. Сам переберешься или переносить?

— Сам, правая рука у меня сильная и левая уже ничего.

— Сильная, говоришь. А ну подай, попробую.

И этот старый и худой, на вид изнуренный человек сжал действительно очень сильную руку Быстрова необычайно мощно.

— Ну как, потекла влага? Ты еще ничего, а есть которые маму вспоминают.

— Я вашу руку щадил, доктор.

— Мою? Ну и хвастун!

В перевязочной операционная сестра сняла только наружные бинты. Тампонов не тронула — этого, как потом убедился Быстров, Николай Наумович никому не доверял. А с какой ловкостью управлял он сложным для одного человека старинным рентгеновским устройством!

— Такой он, неугомонный, — рассказывала пожилая санитарка, — и добрый он, но ругатель, не дай господи! Требуется, чтобы все точно по нему было, как сказано. Чтоб до него раненого никто не осматривал, бинтов не снимал, и после операции тоже первую перевязку делает сам. И не смей раненого в операционную внести, пока он своего места у изголовья не занял. Приметы у него свои и, бывает, иной раз раненого вовсе не принимает — назад, кричит, сейчас же назад! Пройдет это у него, и тут же потребует, чтобы поскорее доставили.

— Причуды?

— Там как хочешь! Приметы у него свои, и он своим приметам верит. Однажды — это давно уже было, — его не послушались и начали уговаривать — «нельзя, мол, откладывать, прямо с самолета взяли, раненый при смерти». Согласился он тогда, но когда к столу подошел, так тот раненый не то что не живой, остывший. Сами не доглядели, труп в операционную доста-

вили. И Николая Наумовича в такую свирепость ввели. Теперь не пристают и не советуют — отучил. По ночам покоя не знает, по другим госпиталям выезжает, как молодой какой, где трамваем, где метро, а где и все пешком. Мыслимо ли такое в его годы!

Хотя и малое, но личное знакомство с Николаем Наумовичем и рассказы третьих лиц начали создавать новый его образ, и вместо ночного пришельца-грубияна вырисовывался перед Быстрым крупный ученый-хирург с суровым спартанским нравом, патриот, не знающий отдыха и не терпящий никаких слабостей и нытья.

К исходу дня Быстрова подготовили к операции. Обрили ноги, промыли спиртом, йодом, забинтовали и вскоре после утреннего подъема — по часам в госпиталях время довольно условное — повезли в операционную. У самых дверей небольшая заминка, привычная уже:

— Погляди, там ли он и как он?

Знакомая санитарка, смелее других, взглянула одним глазом в щелочку.

— Там, у той стены, у изголовья. По моим приметам, мы в самый раз.

В операционную вошли тихо и трепетно, как верующие заходят в святой храм. В дальнейшем — как заведено — брезентовый ремень на лоб, правую руку к операционному столу пристегнули и еще одним ремнем стянули ноги повыше колен, надежно, как капризную лошадь при ковке — нехватишь зубами и ногой не лягнешь! Ну маска еще, само собой, и вытянутая вдоль туловища левая рука — для контроля.

— Больной, считайте до десяти.

После многократного применения эфир не усыпляет сразу, душит, и Быстров, задыхаясь, остановился на третьем счете, умолк.

— Готово, больной уснул.

— Ничего я не уснул, слышу, как доктор руки моет.

— Добавьте еще двадцать пять!

...Быстров очнулся опять в том же изоляторе-одиночке, все так же надежно привязанным к кровати-каталке. Горели ноги и нестерпимо хотелось пить. На ощупь, свободной левой рукой, нашел звонок — стакан с ложкой. Вскоре прибежала сестра:

— Очнулись? Давайте снимем ремни, ни к чему они теперь.

— Я пить, пить хочу!

— До утра вам пить нельзя. Хотите пососать влажную марлю?

— Это еще для чего?

— Полегчает, утоляет жажду.

И он сосал марлю, увлажняя ее слюной и, кажется, жажда ослабевала, но по-прежнему нестерпимо горели ноги.

Ранним утром в добром и шутливом настроении зашел Николай Наумович.

— Ну, очухался, матерщинник?

— А кто же здесь матерщинник, если не вы?

— Как изворачивается! Может, тебя я раз и обложил, а ты меня часа три крыл. Это как называется?

— Сами напоили.

— Ноги как?

— Печет, сил нет.

— Потерпи, не ты первый, не ты последний. Сегодня обратно в палату, а на пятые сутки проверю. Вот и добро твое.— И он передал Быстрову чугунные осколки.— Два из левой и шесть из правой, храни, если хочешь.

— Скажите, если бы я к вам раньше угодил?

— Если бы раньше, говоришь? «Если бы», молодой человек, в жизни не бывает. А почему раньше немцев не остановили? Скажешь, не ожидали, умения не было и сил? А что врачи имели? Не все госпитали имеют рентген, скальпелем лечим, красным стрептоцидом, перестиранными бинтами и — терпением. А лечим лучше, чем вы воюете!

— Что будет с моими ногами?

— Не завидую я твоим ногам, не завидую. В правой стопе нет большой клиновидной кости, при ранении ее выбило. Левую неверно собрали в голеностопном суставе, не заметили или рентгена не было, и теперь ее нельзя выпрямить никакой операцией — все слои кости поражены остеомиелитом. После, может быть, скажем, после войны...

— Если походить, дать ногам максимальную нагрузку?

— Это скорее всего заблуждение, но делай, как знаешь и как осилишь...

Николай Наумович вышел из комнаты озабоченным, хмурым, и у Быстрова от радостного и бодрого настроения не осталось и следа, но не было и чувства полной обреченности, ведь он же сказал — «делай как умеешь, как осилишь», и в этих словах была какая-то надежда...

Госпиталь оказался не обычным эвакуационным, какие Быстров знал и куда раненые доставлялись эшелонами, а гарнизонным, для раненых в пределах столицы, и они поступали по несколько человек в день.

В палате, куда Быстрова перенесли, было четверо, все московского гарнизона и, слава богу, — все ходячие. Воздух даже в летнюю жару здесь не особенно густой, совсем не такой, как в больших палатах для лежачих, где только и знают требовать судно или утку. А со своими запахами человек в ладу.

К москвичам знакомые заходили, сослуживцы и жены. В палаты к ходячим не пускали, но в фойе посидеть могли, на стульях сидели, за столами беседовали и курили. И женам никаких привилегий — с чем пришла, с тем и уходишь. Не так, как в том далеком госпитале, где женок приветливо принимали с пониманием:

— К вам жена с ночным приехала, уставшая с дороги. Можете на сколько-то часов гипсовую занять. Девушки там убрали, спокойно там, никто мешать не будет.

А здесь — дудки!

Город не бомбили, но воздушная тревога часто объявлялась на короткое время и по несколько раз в день, иногда одна за другой. Ходячие раненые, а какие они к черту ходячие — на костылях еле до столовой и туалета в конце коридора ковыляли — по приказу дежурного врача с предельной скоростью направлялись в подвальные убежища. Но скорость все же невелика была, и нередко сигнал «отбой» возвращал их с половины пути, и тут же тревога звала их обратно. Этот бег так потом и именовали — физзарядка по сигналам ПВО. Правда, бомбы падали где-то вдали, и сестры и санитарки после рассказывали — до Химок только прорвались, до Кунцева, до Крюкова или Вешняков.

Госпитальные дни однообразны повсюду — и в столице, и в глухой провинции. Вот только разве перевязка оживляет, или выписывают кого, или заявится комиссия какая, или, наконец, занятый посетитель заходит, неожиданный, как дядя Коля, пожаловавший к Быстрову в солнечный июльский день.

Больших связей между ними не было, но Быстров по-больничному обрадовался приходу, тем более, что дядя Коля не один пришел — с супругой под ручку, и шел величаво, выпячивая грудь, и ноги в колениках высоко поднимал, как обученный «испанскому шагу» строевой конь.

Добрейший человек, честный, неглупый, хорошей грамотности и дело знал, но одна беда — ростом мал. Так непозволительно мал, что за всю свою трудовую жизнь выше счетовода не поднялся, хотя по знаниям и по опыту мог бы иного главбуха за пояс заткнуть.

Сколько раз места освобождались, но все других выдвигали. «Не вырос, не дорос», — говорило местное начальство, а если оно в иной раз и выдвигало, то высшее руководство не соглашалось: «Хитрят там, по себе выбирают, чтобы подмять и своевольничать. Не позволим».

И такой малый рост был помехой не только на работе. Кому бы, к примеру, не радость молодая, высокого роста, стройная красивая жена, а для дяди Коли, своими редкими волосами едва достигающего до плеч жены, — одни мучения и тяжелое беспокойство: как бы со двора не увели или так не позаимствовали?

Внимательный человек, отзывчивый и не скупердьяй, но на заработки счетовода только душевную щедрость и покажешь. Жена шитьем на дому подрабатывала и иной раз мужа четвертинкой баловала или, бывало, — поллитровкой. Дядя Коля такие подношения принимал с благодарностью, но на жену ревниво поглядывал — не грехи ли свои она замаливает? Иногда, по мере падения уровня жидкости в бутылке, подозрения превращались в убежденность, но до серьезной потасовки он дела не доводил, и опять же из-за малого роста и невыгодного соотношения сил.

Передавая Быстрову объемистый сверток, дядя Коля вроде бы извинялся:

— Тут тебе самую малость, аванс как бы. Думал, может, еще и не пропустят...

— Помилуйте, тут же булка, сыр, колбаса да еще и четвертинка! Ее, положим, оставь, а все остальное унеси обратно, самим же вам и дочери...

— Бери и все ешь! Я еще принесу, теперь я могу.

И принес, но только раз. И больше не появлялся. Оказывается, по надобности военного времени его, несмотря на малый рост, назначили контролером-ревизором над большой группой продовольственных магазинов, и в первый же день, когда он свои владения еще только в мыслях обзревал, к нему на дом доставили солидный сверток со всякого рода продуктами и питьем. А после еще и еще.

Вначале дядя Коля смутился, понимая незаконность таких подношений, но еда есть еда, особенно в такое необеспеченное военное время, и он начал привывать к обильной вкусной пище и крепким напиткам. Нашел и видимость оправданий: «Не может быть, чтоб мне одному подносили. Значит, не хуже я иных других». Кто знает, может, так и пошло бы и погиб бы в нем человек, но «покровители» переусердствовали, передав в одном из очередных свертков крупную сумму денег, тысяч семьдесят — восемьдесят.

Целую ночь дядя Коля не спал, ворочался. Под утро встал, молча оделся и с этими деньгами побежал в милицию. Вернулся только к обеду, молчаливый и хмурый, только и сказал:

— Я больше ревизором не работаю. Ростом, сказали, не вышел. В райвоенкомат направили, вольнонаемным писарем.

Вскоре в «Вечерке», кажется, появилось извещение о строгом наказании группы расхитителей большого количества продовольственных товаров, с указанием фамилий осужденных. Дядя Коля в этом списке не значился и до конца войны писарем работал. По росту, должно, работу нашли...

Лежачие раненые не любят разговоров о войне и боях, духовный настрой этих людей зависит от физических ощущений, если гаснут искорки надежды на выздоровление, возвращения в строй, снижают, а то и уходят из жизни раньше времени.

В далеком Алтайском госпитале раненый командир, выздоравливающий, после объявления заключения военно-медицинской комиссии об отчислении его из армии по инвалидности, закрылся в туалете, и лишь

тонкая извилистая струйка крови из-под порога известила еще об одной человеческой трагедии.

«Б» Чудак, — сказал кто-то. — Ему же чистую дали, домой бы поехать...

— Чудак? Замолчи, если других слов не знаешь, и шапку сними! Может, он в чем-то ошибался, но не смей осуждать. Большой души человек ушел от нас...

Другое дело — признанные годными в строй. Те, радостные, языки без привязи, суетятся и вслух мечтают, как проведут первый день вне госпиталя, первую ночь.

Вечерами госпиталь посещали девочки-школьницы тринадцати — пятнадцати лет, некоторые уже работающие. Веселые, милые, ласковые и, по возрасту, одновременно сентиментальные и озорные, — они сидели у кроватей лежащих раненых, тихим голосом пели дорожке в те годы фронтовые песни, читали стихи Симонина, Суркова и других фронтовых поэтов.

Выступали и профессиональные артисты. Но они были лишь желанными гостями, а девчонки-школьницы — неотъемлемая часть госпитального быта, и между ними и ранеными, в основном людьми средних лет, сложились отношения искренней дружбы.

— Можно мне опять к вам, вы мне о войне расскажете?

— Можно, очень даже прошу, только о войне говорить не будем, ладно? Лучше ты расскажешь мне о своей учебе, о товарищах, о семье, и как ты представляешь жизнь после войны. Хорошо?

Изредка в палату заглядывал Николай Наумович. По всему было видно, любили его раненые, уважали, но и побаивались его суровой требовательности, необычайно сильных рук и, порою, тяжеловатых шуток.

Однажды перед его приходом говорили о нем:

— Хороший человек, все знает и делает, но до чего вредный, черт! В тот раз он мою ногу так «разрабатывал», что я от боли чуть ли не кричал, а он только усмехался и спросил: «Ну как, влага не потекла? В следующий раз я из тебя компот выжму, если ногу не разовьешь».

— А того лейтенанта, еще совсем зеленого, как женской кровью напугал! В день выписки его из госпиталя подошел к нему, ладонью по щекам провел, редкие волосья на верхней губе пощупал и таким серьезным голосом спросил:

— Не тебе, молодой воин, по ошибке семьсот граммов женской крови влили, первый раз — четыреста, а второй — триста?

— Мне, но разве есть разница?

— Разница? — Николай Наумович сочувственно посмотрел на паренька, махнул рукой и молча вышел.

Что тут было! Человека в строй выписывают, а он в страхе бегал, ко всем врачам приставал: «Скажите, только правду, — неужели я теперь никто?»

К Быстрову относился дружески, не вселяя иллюзий:

— С одной палкой ковыляешь?

— Хожу, Николай Наумович.

— Вижу, как ты ходишь. Левая стопа висит.

— Да, трудно с ней.

— На день будем забинтовывать, а на ночь — в колодку. Думаю, висеть не будет, но останется неподвижной.

— Помню, вы говорили.

Встречались еще не раз и однажды разговорились:

— Комиссовать будете?

— Как положено, все сделаем. У тебя что было?

— Ограниченная годность первой степени.

— Какой идиот такое заключение вынес? Ты инвалид второй группы. — И подумав, добавил: — Но какой же госпиталь дает оценку хуже той, что была при поступлении? Мы тебя комиссовать не будем — выпишем по справке о лечении, а там, как умеешь. Я дам тебе записку к профессору Селищеву, он тебе обувь посоветует.

И больше им увидеться не удалось. Николая Наумовича перевели в другое лечебное заведение, более крупного масштаба, и Быстров, выходя из госпиталя, попросил переадресовать ему небольшое письмо с выражением глубокой благодарности. И многие годы, до нынешних дней хранит в памяти образ этого большого хирурга и по-настоящему большого человека.

Не попал Быстров и к профессору Селищеву. Рекомендательной записки Николай Наумович не написал, забыл, наверное, а на Арбате торопили:

— Пришла справка с фронта, неплохая. Намечаем

использовать здесь, командиром полка по охране склада ПКО...

— Я строевой командир, а не карнач.

— Что, карнач? Но это уж мы решаем. Позвоните через пару дней.

Вторая встреча была короткая и сухая:

— Новые обстоятельства — обратитесь к генералу, здесь за стеной.

Тот тоже не задерживал:

— Новые обстоятельства, представьтесь лично замнаркома по кадрам на первом этаже.

Свою палку, без которой Быстров на дальние расстояния передвигаться еще не мог, он оставил в уголке дверного проема — просящемуся на фронт палка не подмога, — и вошел в небольшую комнату, в которой только и был письменный стол напротив дверей, несколько стульев у правой стены. Средних лет капитан, адъютант, по всей видимости, указал на дверь слева от входа:

— Проходите, генерал-полковник ждет вас.

Комната примерно такая же, так же скромно обставлена, стол тоже напротив двери, и за столом знакомое лицо, но знакомо односторонне, как обычно и бывает, — старших знают все и узнают и старшие тоже знают — старших.

Быстров представился, вытянулся в струнку и ждал.

— Ваше военное образование?

Доложил.

— Великолечно, поедете в пехотное училище.

— Прошу отправить на фронт, товарищ генерал.

— Поедете в пехотное училище.

Полагая, что его не так поняли, Быстров повторил:

— Прошу на фронт, товарищ генерал.

— Я уже сказал — вы поедете в пехотное училище.

Что, непонятно?

Как всегда в таких обстоятельствах, Быстров еще больше выпрямился и ответил по-уставному:

— Слушаюсь, приказано поехать в пехотное училище!

— Округ выберете сами.

— Не имеет значения, товарищ генерал.

— Где ваша семья?

— Жена на Урале, работает на тракторном, дети вместе с московскими школьниками в Коми.

— Отлично, как раз на Урале нужен такой командир.

Осталось последнее — поднять руку к головному убору и повернуться через левое плечо, но как раз этот проклятый поворот не давался.

Собственно, теперь ему было уже все равно...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Училища еще не было, но его начальник, полковник Кисляков, уже был. Он в тяжелом раздумье сидел на армейской койке в одной из боковых комнат большого деревянного помещения недавно расформированной части, казарменный фонд которой отводился под пехотное училище.

В стороне от кровати стоял канцелярский стол, разделенный как бы на две части — деловую и бытовую: слева служебные бумаги под полевой сумкой, справа — две тарелки. В одной из них папиросные окурки, селедочные остатки, пара ленивых мух — в другой.

Быстров обратился к Кислякову, по-уставному представился:

— ...прибыл на должность заместителя начальника училища по учебно-строевой части.

Кисляков медленно, как бы нехотя поднялся, долго, изучающе осматривал Быстрова, будто строевого коня, не миновал и его палки, без которой тот еще не передвигался, и, подавая руку, спросил:

— Раньше в училище работали?

— Нет, не приходилось.

— Не приходилось? Значит, вы ничего не знаете и ничего не умеете. И на кой только дьявол мне такие ничего не знающие и ничего не умеющие заместители? Был же у нас свой кандидат, знающий командир, работник вуза, так нет же — из самой Москвы неуча направили...

— Откажите в должности, и я с радостью вернусь обратно.

— Покататься захотел... за казенный счет? Есть такие, знаю, но этого удовольствия я вам не доставлю. Работать заставлю, учиться работать и работать. Это вам ясно?

— Вполне. Для работы и приехал, хотя признаюсь, без моего желания.

— Для работы? Ну что ж, раз для работы, так действуйте! Что? Водочную бутылку под койкой заметил? Подумаешь, какая невидаль! Между прочим, когда я в вашей шкуре ходил, я своего начальника всегда водкой обеспечивал. Правда, он и пить не умел, но это уже в мою пользу...

— Водкой обеспечивать не берусь...

— Не берешься, значит... Я это так, между прочим. Да и кто бы вам водку дал? И себе-то сотку не найдешь.

Быстрова коробил этот переход с «ты» на «вы», но он не привык торопить события. Кисляков меж тем успокоился, деловито предложил:

— Вот на столе бумаги. Разберитесь в них и доложите план мероприятий по принятию кандидатов в курсанты. Надеюсь, вы покажете, на что способны...

Перелистывая бумаги — приказы, планы, наряды на продовольственные пайки, на одежду и обувь — Быстров в рассеянности забыл, с кем имеет дело, обратился к Кислякову:

— Ничего не понимаю. Мы что, должны ежедневно принимать по столько человек, проверяя их через мандатную, медицинскую и предметные комиссии? Сколько же тут этих комиссий...

— Вы математик, подполковник, ей-богу математик, но только пока ничего не поняли. Принимать курсантов будем не мы, как вы думаете, а лично вы, председатель мандатной комиссии. И отвечать будете за каждого принятого курсанта, за каждого, понимаете? И за медицинскую комиссию тоже ответственность возлагаю на вас. Продовольственные пайки на десять суток отпущены в мое распоряжение. Я даю вам на два дня меньше, только на восемь суток. Как вы там делаете, сколько и когда примете — это не мое дело, но чтобы все было закончено за восемь рабочих дней, а сколько в них рабочих часов — дело ваше. Предметных комиссий не будет. Не такое сейчас время. Что касается пайков на оставшиеся двое суток, их я резервирую на строительство овощехранилища, которое старые хозяева так и не построили, хотя не один год тут жили... Вам все ясно?

— Вполне, только позвольте...

— Митинговать не будем. Из того списка отберите пять политработников в мандатную, организуйте медицинскую и с поступлением кандидатов в курсанты приступайте к работе. Может быть, я вам и строительство овощехранилища доверю... — И добавил с издевкой: — Или вам такое не приходилось?

Строить Быстрову приходилось больше, чем Кислякову. Но тот был ожесточен, взвинчен, и попытки установить взаимопонимание с ним сейчас были бы унижительными.

— Нет, не приходилось.

— И нужники строить будете, если я прикажу.

— Приказать вы все можете...

— Я вас не задерживаю, подполковник.

Настроение было подавленное. Быстров понимал, что работа в училище имеет свою специфику. Недаром же на курсах «Выстрел», например, еще в довоенные годы существовал отдельный курс для подготовки командиров — преподавателей военно-учебных заведений. И вот этой специфики, несмотря на немалый срок службы в армии, Быстров не знал, понимал свою неподготовленность, и к Кислякову претензий не имел. «Понятное дело, — рассуждал он, — Кислякову сейчас необычайно трудно, и он как бы обманут. Ожидал знающего училищную службу заместителя, возможно знакомого, сослуживца, на которого мог опереться, довериться, назначение которого было уже согласовано, а вместо него прислали не знающего условий работы полунинвалида. Груб он, конечно, и трудно будет с ним, но люди не шарикоподшипники одной серии, и почему они должны укладываться в мою модель человека?» Но Быстров верил, что эти трудности преодолимы, если он найдет свое место в этой незнакомой ему среде. А вот если бы ему сказали, что вскоре он сам будет встречать прибывающих в училище командиров-фронтовиков так же недоверчиво, как и Кисляков, только по форме иначе, — он бы этому ни за что не поверил.

Первая партия кандидатов в курсанты прибыла еще до полуночи. Мандатная комиссия в составе пяти человек начала прием ровно в шесть утра и с получасовым перерывом работала все восемь суток ежедневно до двадцати трех часов.

Темп работы определялся численностью поступающих. В итоге не более трех минут на одного курсанта.

Члены комиссии понимали, что те наспех заданные вопросы, ... ответы на которые известны по личным делам призывников, составленным райвоенкоматами, ... никаких новых сведений о призывнике не дают, но вынужденно спрашивали все одно и то же: — образование? — жалобы на здоровье? — занимался ли физкультурой? — состав семьи?

Задавали сначала еще один вопрос, может быть, главный — желает ли учиться на младшего лейтенанта? Но этот вопрос пришлось снять вследствие почти единодушно отрицательного ответа:

— Учиться не хочу. Я на фронт прошусь, и мне это обещали...

— На фронт вы и поедете, только младшим лейтенантом.

— Я сейчас на фронт хочу... там мой отец воюет, там мой старший брат... — И начинает угрожать: — Учиться не буду...

Хороший парнишка, наверное, и лицо такое милое. Поговорить бы с ним следовало, убедить. Но какими доводами ты за одну-две минуты опровергнешь глыбу убеждений, сложившуюся из таких чистых кристаллов, как любовь к родине, блистательные и призывные статьи А. Толстого, И. Эренбурга, стихи К. Симонова и А. Суркова, или навеянных даже одним плакатом «Воин, спаси!»

Никто в комиссии не знал таких слов, не обладал такой убеждающей силой, и в неимоверно тяжелом переплетении множества чувств: совести, любви к людям, понимания их большой правды и их ошибочной прямолинейности — Быстров, как утопающий за соломинку, хватался за последнее, что у него оставалось, — давил:

— Учиться вы будете! Не забывайте, что у вас отец и старший брат на фронте.

Бывало, и это не помогало, и тогда следовало последнее, приказное:

— Вы свободны, можете идти.

В дальнейшем этот вопрос никому не задавался, разговор спешили прервать раньше, чем кандидат в курсанты успевал высказать свою просьбу, такую понятную; близкую, но неприемлемую в этой обстановке. И оставалась только надежда, даже вера — в ходе учебы ему объяснят такую необходимость...

Работу медицинской комиссии Быстров проверял по утрам и вечерам. Все там шло хорошо, насколько это было возможно при таких темпах.

В первой комнате работало трое — фельдшер, средних лет мужчина, добродушный и, видно, знающий. С ним две медицинские сестры, молодые еще и по молодости своей озорные. Перед ними десяток наголо стриженных парнишек нагишом тряслись от холода и краснели под насмешливым взглядом этих безжалостных чертенят.

Фельдшер успокаивал:

— Ничего, ребята! И руки снимите. Ничего уродливого у вас там нету, и скрывать вам нечего. На этих дур внимания не обращайтесь. Посмотрел бы я, как бы они себя чувствовали нагишом перед мужчинами.

В этой комнате шла подготовка призывников к комиссии — измеряли рост, объем груди, вес, проверяли зубы. В соседней комнате работала сама комиссия — врач, средних лет женщина, и молодой паренек, писарь, из призванных. Осмотр производился преимущественно опросом: — Если ли жалобы на здоровье? — Какие болезни переносили и когда? — В семье есть туберкулезные?

Быстров понимал: в тяжелых оборонительных боях лета и осени 1941 года пала лучшая часть нашей армии; сейчас, когда враг прорывался к Волге, требования к людскому контингенту не могли оставаться прежними, но ощущение неудовлетворенности и чувство неосознанной вины не покидали. Все ли так делается, как надо? Смущали однозначные ответы на вопросы врача: жалоб нет, не болел, нет и нет...

В искреннем стремлении на фронт призывники могут утаить даже серьезные болезни...

Какое же это тяжелое и суровое время, даже здесь, в глубоком тылу!

Кисляков в комиссиях не показывался и не вмешивался в их работу, и это вселяло какие-то надежды: значит, не новичок, частыми личными проверками и мелочной опекой, мешающей подчиненному выполнять поставленную перед ним задачу, не занимается, а это много. Может быть, и их отношения со временем станут терпимыми?

Однако когда Быстров доложил об окончании работы мандатной и медицинской комиссий, об отборе по-

ложенного числа курсантов и отчислении остальных, последовал язвительный вопрос:

— Хребет не переломили от натуги?

Быстров был оскорблен, готов был вспылить, но Кисляков вовремя использовал преимущество старшего:

— Вы свободны, подполковник. Утром проверьте подъем в первом батальоне, внутренний порядок и начало плановых занятий. Посмотрите и плотину, которую мы тут без вас осилили.

«Ну что ж, — устало думал Быстров. — Руководящее хамство, но переносить надо и это, и надо выдержать. К тому же начальников не выбирают, как и судьбу, и значит, надо работать с Кисляковым, пока рогатки с дороги на фронт не снимут. Трудно будет, тяжело, но и выбора нет...»

И все же, проверяя батальон, размещенный в четырех отдельно стоящих казармах, он был несказанно удивлен, как много сделал Кисляков за эти восемь суток. Сформированы все курсантские роты, люди одеты, казармы побелены, сушилки отремонтированы. Порядок налажен, как в образцовой войсковой части: обмундирование на ночь сложено правильно, обувь в положенном месте, вешалка и пирамида для оружия в порядке; младшие командиры, пусть даже из тех же необученных, назначены, подняты, как и положено, за пятнадцать минут до общего подъема. Тут же пришли дежурные командиры взводов, по одному на роту, и утренний подъем, физзарядка, заправка кроватей прошли совсем недурно. И в дальнейшем все вершилось по утвержденному распорядку дня.

Какой он все же молодец, этот Кисляков! Конечно, не один работал, но он возглавлял, сильно и умело руководил. Такого начальника только на руках носить!.. Надо еще раз попытаться наладить с ним нормальные отношения. Стоит он этого, стоит!

Воздух в казармах тяжелый, с едким запахом потных портянок. И так во всех ротах. Старые хозяева, надо полагать, к форточкам относились пренебрежительно, а новые еще не успели, забыли в спешке.

Докладывая Кислякову результаты проверки батальона, Быстров указал на отсутствие форточек и, как это было принято в армии, — предложил выход: просить у горвоенкомата плотников из призывников стар-

ших возрастов, оставленных на трудовом фронте, и они за пару дней изготовили и установили бы форточки.

Кисляков предложение Быстрова отклонил и тут же, звонком, вызвал начальника строевого отдела:

— К девятнадцати ноль-ноль сегодня ко мне всех ротных командиров.

— Комбатов не вызывать?

— Вы что, плохо слышите? Я сказал — ротных командиров. — И, обращаясь к Быстрову, добавил: — И вы зайдите, подполковник. Будем решать вопрос о форточках, думать будем. А пока вы свободны.

— Простите, вы мне поручили посмотреть и дамбу.

— И что вы там нашли? Вы бы не так построили?

— Да, не так. Дамба на месте, водоем будет хороший, нужный очень, но дамбу смоем...

— Что? Дамбу смоем? Вы подумали, что говорите?

— Да, подумал. Надо сейчас же выделить по одной роте курсантов и в течение дня, до наступления темноты, изолировать земляную насыпь от воды глиняной подушкой. Одна рота поработает до обеда, вторая до вечера, а если понадобится — послать вечером целый батальон. Воды пока мало, и дамбу можно спасти...

— Спасти дамбу? Какая чепуха! Эти капли воды вас так напугали?

— Где прошла капля, там море пройдет...

— Вы свободны, подполковник.

Командиры рот собрались ровно к девятнадцати часам в кабинете Кислякова. Тот встал из-за стола, подошел к построенным в шеренгу ротным командирам, прошел вдоль шеренги, останавливаясь перед каждым, внимательно и изучающе вглядываясь в лица.

— Товарищи командиры! На моих часах ровно девятнадцать часов. Поставьте свои часы по моим! Готово? Тогда слушайте приказ: завтра, не позже девятнадцати ноль-ноль, все ротные помещения должны иметь по восемь форточек, по четыре с обеих сторон. Я ясно выражаюсь?

— Ясно.

— Тогда действуйте! А вы, подполковник, контролируйте выполнение приказа.

Форточки были изготовлены и установлены в срок.

С дамбой получилось хуже. Вскрестись дожди, вода поднялась, и дамбы не стало.

Оставался нерешенным вопрос с топливом, но жалоб или недоумений это ни у кого не вызывало. Патриотический призыв «Все для фронта!» исчерпывающе объяснял нехватки, но, к сожалению, служил и щитом для нерадивых: «Нет, товарищи, ничего нету. Все для фронта, понимаете, для фронта!» Кисляков на обеспечении топливом и не настаивал, рассчитывая на возможности малочисленной хозяйственной роты: «Мы у леса живем и сами справимся».

Инициативу одобрили, похвалили, но курсанты мерзли. Хозяйственная рота с задачами по заготовке дров не справлялась. Имелись только одни тракторные сани, дрова на станцию железной дороги доставлялись медленно, мелкими партиями и в ожидании вагонов расхищались.

Быстров предложил заказать на заводе поковки еще для двух тракторных саней, чтобы одни сани всегда были бы под погрузкой, другие выгружались и третьи были бы в движении, а для выгрузки дров использовать курсантов. Одновременно еще раз поднять вопрос об обеспечении училища топливом.

Это предложение Кисляков встретил в штыки.

— Явитесь ко мне к девятнадцати часам, и я научу вас заготавливать дрова.

В указанное время в кабинете собрались командиры курсантских рот и, чего раньше не бывало, — старшина хозяйственной роты.

Кисляков подошел к построенным в шеренгу ротным командирам, посмотрел на часы и приказал:

— Всем ротным командирам взять в хозроте сани, по два топора и по две пилы, отобрать в ротах по двадцать самых сильных курсантов и во главе с командирами рот — бегом в лес по дрова! Лошадей нету, да по такому снегу они и не пойдут. Но вы же сами не недоноски, или не так я думаю? Тут мне чуть ли не угля просить рекомендуют, а того не видят, что мы около леса живем, а для угля и другие надобности найдутся! Ну, все бегом!

Получилось впечатляюще, но в сущности блеф.

Ротные командиры в лес выходили по одному разу, поручали это дело взводным командирам, те — старшине, а старшины рот — курсантам, учебно-служебная нагрузка на которых и так была на грани возможного. Дров поступало все меньше и меньше, сырые, они не

горели, и курсанты по-прежнему мерзли, да еще и изматывались, что не могло не сказываться на учебе.

Быстров нервничал, но выхода не находил. В разговоре полковой комиссар училища, толковый политработник, как бы мимоходом сказал:

— Не высовывайтесь. Топливо — болячка Кислякова. Вы ничего не измените. Его курс обходиться без угля одобрен. Я попытался, но... я уезжаю...

К этому времени Быстрову присвоили звание полковника, но его отношения с Кисляковым еще больше обострились и он нетерпеливо ожидал перевода — кем угодно и куда угодно.

Для постоянного состава училища ввели новую дисциплину — военную психологию. По сути дела ее нельзя назвать совсем новой. В первых военно-учебных заведениях РККА профессора военного искусства старой армии читали лекции о военной психологии, идеологической «науке» о душе. Материалистическое понимание психологии только зарождалось, носило еще дискуссионно-поисковый характер. Преподавательские кадры по военной психологии не готовились, специальная литература для широких командных кругов не издавалась, и вот она — таинственная и загадочная — выплыла через два десятка лет.

Кисляков, хорошо знающий тематику и методику подготовки курсантов и командно-преподавательского состава училища, по всей вероятности, тоже не обладал званиями в области психологии, и наложил обычную резолюцию: «Уч. доложите план мероприятий».

Милое дело! Попробуй доложить план, если сам в этой психологии ничего не смыслишь! Но приказ есть приказ, и Быстров вместе с начальником учебного отдела (тогда эти должности еще существовали раздельно) начал поиски... с чего бы начать? Понимали, что военная психология — отрасль прикладной психологии, что многие ее требования и рекомендации учтены в армейских уставах, но всего этого было мало для составления учебного плана. Кроме того, такой путь таил опасность впасть в «круг доказательств».

Пришлось доложить Кислякову.

— И это все, что вы осилили? Прочитали директиву и бегом ко мне искать спасителя?

— Нет, не так. Искали сами, провели совещание с начальниками циклов, старшими преподавателями

и теми из командиров и политработников, которые с начала войны были призваны в армию из вузов...

— Значит, с лейтенантами совещались?

— И с ними тоже.

— Лейтенанты вас ко мне и направили?

— У нас предложение. Поскольку мы сами не справились, просим вас обратиться к руководителям многочисленных инспекций,веряющих училище, чтобы они помогли нам несколькими лекциями, а может и разработку на всю тему составят...

— Задача инспекции только проверка. Кстати, завтра прибывает очередная — готовьтесь!

— Что ж тут готовиться? Помещение готово...

— Помещение не ваша забота, но чтобы к приезду инспекции все курсанты и командиры знали, сколько крючков и петель полагается на один оконный проем, в каком порядке располагаются предметы для чистки обуви у входа в казарму и с какой стороны, справа или слева у входа, должна стоять урна. Психология, видно, вам не под силу. Ну ладно, беру и это на себя.

Через горком партии Кисляков нашел преподавателя-психолога, и вскоре в ряде великолепных лекций по общей психологии перед слушателями промелькнули научные термины, фамилии и ошибки видных ученых, их заблуждения — и ни слова о военной психологии. В заключение выступил Кисляков: «Курс военной психологии мы прошли, а если кто и не понял чего-либо, так я поясню — психология это наука, а не шагистика на плацу по команде «ать-два»...

Кисляков несомненно был сильным и одаренным начальником, в решениях смелым, отлично знал все звенья работы военного училища. Но при всех своих дарованиях он был лишен одного, может быть, решающего — не понимал значения и сил охваченного патристическим подъемом коллектива, не умел мобилизовать и возглавить его. В простом человеческом общении ему мерещился призрак недопустимого либерализма. Уверовав в собственную силу и непогрешимость, он действовал сугубо административными методами и, больше того, — даже самые верные и нужные приказания отдавал, как правило, в оскорбительной форме:

— Вот вы, мой помощник, майор как-никак — доложите собранию, почему чугунные котлы не эма-

лированы и почему кухонный очаг обложен кирпичом, а не кафелем?

— Я об этом подумал, но где сейчас найти эмалированные котлы и кафель...

— Я вас о другом спрашиваю — почему котлы не эмалированы и очаг не обложен кафелем? Отвечайте на этот вопрос и мне и собранию.

— Я же доложил, что нет...

— Вы опять не понимаете меня. Но я вам помогу — чтобы через десять суток все это было сделано! Вот эти слова вы способны понимать?

— Я вас понял, но...

— Наконец-то мой милый помощник понял пять русских слов.

Быстров редко встречался с Кисляковым. По субботним вечерам представлял ему на утверждение свой личный план работы на неделю, докладывал наблюдения за прошедшую неделю и принятые меры. Замечаний Кисляков обычно не имел, но без оскорбительной выходки с его стороны не обходилось.

Быстров заканчивал проверку строевой подготовки роты курсантов, а такая проверка трудоемка. Проверяется рота как строевая единица, курсовые командиры в умении командовать строем и управлять боевыми порядками, а курсанты в умении исполнять команды и приказания. После — проверка подготовленности курсантов, их умения организовать обучение одиночного бойца, отделения и взвода, управлять их боевыми порядками.

Как строевая единица рота заслуживала высокой оценки, но методическая подготовленность курсантов была низка, и Быстров объявил оценку — плохо, пригласил командира роты к девятнадцати часам для личной беседы. В этот миг на «эмке» подъехал Кисляков и, узнав об оценке Быстрова, решительно объявил: «Отменяю! Отличная рота, отличная!» «Эмка» пошла дальше, и Быстров обратился к роте:

— Моей оценки я не меняю. Но у вас теперь две оценки, выберите по вкусу. Приглашение командира роты для беседы отменяю.

Состояние было подавленное, угнетало чувство стыда и бессилия. Быстров медленно поплелся в свой кабинет и заперся на ключ. Думать не хотелось, но одна мысль не давала покоя и требовала ясного ответа: что

же будет и до каких это пор? Но где она, эта ясность? Многократные просьбы о направлении на фронт или оставались без ответа, или содержали отказ с неизменной фразой: «В настоящее время не представляется возможным». В запасный полк тоже не отпустили, даже не в отдельный: «В училище направлены приказом по НКО, и вы там нужны». Нужен? Кому я тут нужен?

Видеться с людьми не хотелось, но настойчивый стук в дверь обязывал, и он медленно поднялся, открыл. Пришел Владимир Михайлович Скловский, великодушный работник, культурный и тактичный командир, подполковник.

— Что с вами, Михаил Иванович? Сказали, что вы в кабинете, а света нет. Не заболели?

— Простите, замечтался. Болен? Нет, Владимир Михайлович. Ничего особенного...

— Я по делу к вам. У нас нет ясности, с какой недели будем вводить тематику для нового потока.

— Да, помню. Мы этого вопроса так и не решили. Там все фронтовики и практически в какой-то мере ознакомлены с приемами перебежек, окапывания, определения расстояния до цели. Не начать ли нам с шестой недели? Или отложим решение до утра, подумаем еще?

— Давайте завтра, время еще есть. А может быть, все же позвать врача?

— Нет спасибо, Владимир Михайлович, пройдет.

Поздним вечером, когда Быстров собрался бесцельно побродить по военному городку, успокоиться, выветрить дурное настроение, появился вдруг еще один посетитель, и именно тот, кого он меньше всего хотел видеть сегодня — командир роты, которую проверял.

— Вам что, старший лейтенант? — недружелюбно встретил его Быстров. — Я же вам сказал, что беседа отменяется.

— Вызов вы отменили, но я хочу поговорить с вами как со старшим товарищем и, надеюсь, вы не откажете мне в этом.

— Заходите, но если вы пришли проситься на фронт, то обратитесь к полковнику Кислякову. Эти вопросы не в моей власти. Но если бы и имел такую власть, то вашего ходатайства не подписал бы. Вы нужны в училище.

Быстров хорошо знал этого старшего лейтенанта

и ценил в нем толкового и растущего строевого командира, умелого воспитателя курсантов.

— Нет, товарищ полковник, мой вопрос другой. На всех строевых смотрах мою роту отмечали в числе лучших или самой лучшей. Я верю, что ваша оценка верна, но как могло случиться, что рота так пала...

— Пала? Кто сказал, что пала? На строевых смотрах рота проверяется как строевая единица, и ваша рота на таких смотрах заслуженно получала отличную оценку. Конечно, курсантская рота должна быть отлично подготовленной и сколоченной, образцовой, и создание такой роты дело нелегкое. Это вам удалось. Но ваша задача куда значительнее и шире. Ее можно сформулировать так — подготовка военнообученных и методически зрелых командиров взводов, сведенных в роту только для удобства обучения.

— Это я понимаю.

— Если так, то мы почти обо всем и договорились. Хочу только высказать несколько советов: все построения роты или взводов поручайте курсантам, и не наиболее подготовленным, а всем, в порядке очереди, слабым — почаще. А сами вы вместе с командирами взводов контролируйте и помогайте советами. В интересах тактической подготовки используйте даже путь на стрельбище и учебные поля. Поручайте командование курсантам, учите их командовать и управлять боевыми порядками...

Беседа затянулась за полночь, была приятной и полезной. Чувство подавленности исчезло, и Быстров направился домой успокоенным, удовлетворенным — есть у него опора в училище, надо только выявить ее, на нее опереться и двигаться вперед, но не одиночкой, а вместе и во главе основных кадров училища.

К вечеру следующего дня зашел Кисляков:

— Обиделся вчера, полковник?

— Радостного мало. Хотел зайти к вам сегодня. Надо объясниться. Так дальше не...

— Бросьте, Михаил Иванович! Объяснения теперь ни к чему. Снимают меня, и потому вчера заложил. По дурному делу засыпался вместе с Чернополосовым...

— Оба, значит?

— Оба... И на черта он мне сдался, болван!

— Что, поздно узнали?

— Поздно я тебя узнал.

— Лучше поздно, чем никогда.

— Так вышло, что никогда. Ну ладно, не сердись. Пойдем ко мне и выпьем на прощанье...

Внезапное снятие Кислякова, тем более без оглашения причин, породило в училище немало различных толков, но в этой зрелой командирской среде главным было ощущение неловкости и какой-то общей неуловимой вины: «Замечали его падение, недостойные увлечения, но не остановили ни мы, ни руководство. Побоялись, не хотели вмешиваться».

Не радовало это и Быстрова, несмотря на ненормальные взаимоотношения между ними. Быстров понимал, что Кисляковым было сделано чрезвычайно много, хотя — и этого отрицать нельзя — поведение его становилось все более и более невыносимым. Не отрицал он, и не мог отрицать, больших организаторских способностей Кислякова. Он ему представлялся огромной, выпущенной из-под надзора необузданной силой, способной на многое положительное. А потеря такого человека — всегда общая потеря:

Произошли и другие изменения. Место Чернополосова, бездеятельного краснбая, занял опытный партийный работник, образованный и культурный, с одним лишь недостатком: всю жизнь вращаясь в кругу зрелых людей, он мало вникал в повседневную черновую воспитательную работу, благодаря которой постепенно, шаг за шагом, оформляются специфические черты армейского командира.

Перемены в училище не замедлили коснуться и Быстрова, на которого возложили и обязанности начальника учебного отдела. Радовало это и тревожило. Обязанности расширились и стали более ответственными. Как начальник учебного отдела планируй учебный процесс, а как заместитель начальника училища — организуй этот процесс во всех звеньях так, как мечтал, чтобы, никого не подменяя и не прибегая к мелочной опеке, обеспечить безоговорочное выполнение всех учебных планов при высокой успеваемости.

Все это было не так просто.

Прибыл новый начальник училища, и надо было с первого же дня наладить с ним хотя бы терпимые служебные отношения. Если нет, то хотя бы закрепить ту определенность в разделении служебных обязанностей, которая вдруг наметилась.

- Товарищ полковник...
- Извините, полковник, но я гвардии подковник.
- Извините, но при устном обращении слово «гвардии» к званию не добавляется.
- Откуда это у вас?
- Не у меня только. Это сказано в утвержденном проекте устава. Может, прислать?
- Сам найду, когда понадобится. А что вы хотели?
- Хотел бы предложить вам в общих чертах распределение обязанностей между нами...
- И как?
- Просил бы доверить мне учебный процесс...
- А мне что — кухню? Нет, благодарю! Вы опасаетесь дублирования? Его не будет. Я руковожу — вы выполняете. Я еще никого не знаю и вас тоже. Посмотрю, на что вы способны, а там подумаю. Но у меня к вам просьба. Я только приехал, а занятия, вижу, в моей группе в понедельник. Я не успею написать плана-конспекта...
- Не беспокойтесь. Я могу провести эти занятия...
- Вы меня не поняли. Занятия я проведу сам, но прошу ваш конспект, поскольку сам не успею его составить.
- Нет, товарищ полковник, конспекта я вам не дам. В училище строжайше запрещено проведение занятий по чужому конспекту, и я этого распоряжения нарушать не буду.
- Вы правы, я не подумал. Занятия я проведу сам. Знакомство состоялось, и Быстров был удовлетворен его результатами.
- Новое руководство уделяло внимание вопросам снабжения курсантов предметами вещевого довольствия, но делалось это чрезвычайно мягко, вроде напоминаний, и нередко нерадивые снабженцы, знакомые с жесткой требовательностью Кислякова, оправдывались ссылками на трудности военного времени, этим довольно распространенным громоотводом.
- Очередная инспекция вновь, и совершенно правильно, отметила неряшливый вид многих курсантов, и Быстров, выведенный из терпения, обратился к начальнику:
- Товарищ полковник, я решительно недоволен бездеятельностью вашего помощника по снабжению. И требую...

— Вы требуете? От начальника требуете?

— Да, и не мелочи. Отсутствует материал на подворотнички, нет крючков, петель, пуговиц, даже иголок и ниток...

— Я уже дал указание...

— Указаний, товарищ полковник, больше чем достаточно, но дело не меняется. На улице ноябрь, а девяносто курсантов не имеют белья, ходят в трусах и майках, вовсе нету теплого белья, многие в неисправной обуви... Короче говоря, я прошу разрешения проверить склад вещевого довольствия и всю переписку по вопросам снабжения...

— Вот как? Идите, о результатах мне доложите. И имейте в виду: я не факир, по мановению палочки училища не переделаю...

На складе оказалось четыре котелка с крючками и петлями, три котелка пуговиц, немалое количество рукавиц и белья. На вопрос, почему все это не выдано ротам, старшина, заведующий складом, дал убедительное объяснение: — «Для отпуска нужна накладная, а накладных нет». Вот они, «трудности военного времени»!

Котелки с крючками, петлями и пуговицами были доставлены в кабинет начальника училища, и Быстров настоял на немедленном приглашении начальника снабжения, начальника вещевого довольствия и начальника политотдела, чтобы, наконец, виновные были наказаны и даны заявки в округ на недостающее.

— Вы, полковник, можете идти. Я тут сам разберусь.

Но какие бы трудности война ни выставила, ни разу не случилось, чтобы курсанты своевременно не обеспечивались учебными пособиями, бумагой, положенным количеством тетрадей, карандашами, резинками, клеем, красками, мелом, кнопками. Училище полностью обеспечивалось компасами, угломерами, стереотрубами, буссолями, визирными линейками, а минометные роты — седлами, повозками. Имелись также все виды вооружения, нужное количество тола, взрывателей, шнура. Ходил слух, что это личная заслуга заместителя наркома обороны по кадрам, принявшего на себя обеспечение учебного процесса.

Время было тяжелое, и было бы преступлением забывать тяжести, волнения, тревоги и горести тех лет.

Но это одна только сторона. Это время было годами самомобилизации всего дееспособного в народной среде, невиданного взлета патриотизма, поисков все более эффективных приемов труда. Подготовка будущих офицеров была частью этой общенародной заботы.

С какой радостью Быстров сообщил преподавателям для передачи всем курсантам новость: вместо восьми довоенных станкочасов сейчас нарезки в пулеметных и винтовочных стволах производятся за три минуты. Понимаете — три минуты!

В училище патриотизм часто проявлялся так:

— Товарищ полковник, прошу принять меня по личному делу.

— Хорошо, товарищ капитан, но только после девяти часов вечера. Остальные часы, извините, расписаны.

И он пришел ровно в двадцать один час. Знал уже, ни минутой позже, ни минутой раньше его не примут. Он бы и позже пришел, даже за полночь, и Быстров уже предвидел долгий, мучительный разговор:

— Я прошу отправить меня на фронт. Мне нужно ваше ходатайство.

— Нет, не напишу. Я не начальник училища.

— Попросите его.

— Нет, не попрошу. Вы не знаете приказ наркома о кадрах военных учебных заведений...

— Но в порядке исключения...

— Исключения? Допустим, что все это зависело бы от меня, но и тогда даже в порядке исключения, я бы вам отказал. Вы нужны здесь, здесь ваше место.

— Мой старый отец на фронте, а я, здоровый болван, околачиваюсь в тылу.

— Не околачиваетесь, а готовите командные кадры для фронта. По методической подготовленности курсантов ваша рота одна из лучших в училище.

— Не отпустите, запьянствую и завалю роту.

— Вот этого, капитан, как раз вы не сделаете, не посмеете. Напомню — ваш старый отец на фронте.

И так один, два, три, десять. И никому тут на дверь не укажешь. Быстров сам стремился на фронт, писал об этом и просился. С ним разговаривали кратко, а бывало — на дверь указывали. Но он этот прием отвергал.

Случалось, звонит командир батальона:

— Группа курсантов от учебы отказывается, просится на фронт.

— Начальнику политотдела докладывали?

— Да, но они просят вас.

Пойдешь, конечно, и опять тяжелый, долгий разговор, до ясного ответа: «Мы поняли, будем учиться».

Руководство обеспечивало училище всем необходимым для нормальной подготовки курсантов и постоянного командно-начальствующего состава. Короткометражные учебные кинофильмы о действиях штурмовых отрядов и других мелких групп пехоты, вместе со средствами усиления, успешно использовались в обучении курсантов, а тактические разработки более крупного и даже очень крупного масштаба — в командирской учебе лекционно.

Внутри многочисленного коллектива учебного отдела сложились уважительные друг к другу отношения. Обсуждение поступающих методических новинок было серьезным и откровенным. Большинство поступавших рекомендаций принималось с большим одобрением, но некоторые — с сомнениями, в них усматривались до конца не изученные, возможные только в единичных случаях выводы, а бывало — и опровергались, как, например, опровергли и не приняли рекомендации о применении залпового огня мелкими пехотными группами для поражения противника. Итоги обсуждения всегда протоколировались, и по этой рекомендации записали:

«Изучение залпового огня из стрелкового оружия мелких пехотных подразделений в программу не включать. Он может быть рекомендован в отделении и во взводе для овладения управления огнем командиром, если стрелки стреляют плохо или вовсе не стреляют, или для отражения внезапного нападения крупных живых целей, например конницы.

В каждой роте на одном отделении на трехстах метрах по ростовым целям показать процент попадания в цель одиночными выстрелами и залповым огнем».

Училище стремилось к тому, чтобы курсанты выросли высоко нравственными, духовно богатыми и военно-обученными патриотами, и, желая им дослужить до маршальских званий, в первую очередь оно готовило волевого и знающего военное дело взводного командира, а в этой подготовке нет мелочей. Решает глубокое понимание главного, но равно обязательно овла-

денне множеством навыков, на первый взгляд мало-важных, но без знания которых не сформируется командир, способный подчинить своей воле людей, скелетить воинское подразделение и повести его в бой, всегда для кого-то последний. Поэтому в училище, например, совсем не все равно, какое положение пальцев считать полусогнутым или как измеряется длина вытянутой руки, как многое другое.

Неточностями и многословием страдали многие наши довоенные уставы и наставления, как и проекты уставов, выпущенные генеральным штабом в ходе войны. В училище все эти уставы изучались, по ним проводили показательные и инструкторско-методические занятия, и результаты их записывались в протоколах:

«Проект строевого устава страдает многословием в командах. Допускает развертывание взвода в цепь только из походной колонны и только в направлении движения».

«В наставлении по стрелковому делу не точно указано, когда именно пулеметчик поднимает прицельную планку».

«В дисциплинарном уставе статья о применении силы или оружия занимает больше страницы, а содержание ее можно изложить двумя-тремя фразами».

Руководство требовало отзывов и поправок на проекты уставов, и такие посылались вместе с протоколами совещаний командно-преподавательского состава по их изучению.

В коллективе учебного отдела рождались все новые и новые предложения, как улучшить и ускорить усвоение курсантами программы обучения. Это, конечно, радовало Быстрова, лед тронулся, но тревожило — не впасть бы в заблуждение. Во избежание ошибочных толкований, каждое стоящее внимания новое предложение, как, впрочем, и каждое занятие по новой теме, проверялось проведением показательного занятия, с привлечением всех преподавателей цикла, и только после такой проверки разработка становилась обязательной для всех преподавателей по данной теме.

По мере продвижения фронта на запад сокращалась численность курсантов. А когда в пороховом дыму начали вырисовываться контуры победы, училище перешло на трехгодичный срок обучения — уже офицеров для армии мирных дней.

Из райвоенкоматов поступала зеленая молодежь со средним образованием, с фронтов — тоже молодежь 19—20 лет, но с боевым опытом. Приемные комиссии не торопились, внимательно изучали каждого курсанта, взвешивали все «за» и «против».

Курсанты с фронтовым опытом справедливо признавались самой сильной, но и самой трудоемкой частью обучаемых. Что касается зеленой молодежи, то до ее понимания достаточно было довести обязательность уставных норм, а молодежь с фронтов, по существу не видевшую мирных дней, смутно представлявшую себе жизнь вне порохового дыма и взрывов, — надо было уметь убеждать, и не уговариванием — оно исключалось, а разъяснением и непреклонной, но не оскорбляющей человеческого достоинства требовательностью.

На всю жизнь Быстрову запомнилось прибытие с фронтов первой партии кандидатов в курсанты.

Поезд опаздывал, и он, уезжая со станции, оставил дежурного офицера с задачей временно разместить пополнение в учебный корпус и немедленно сообщить ему об этом.

Ночью, когда Быстров еще только подходил к учебному корпусу, его озадачил шум и треск в классах, с таким трудом созданных и строго оберегаемых. Он буквально онемел, открыв дверь в класс огневой подготовки. В помещении, где никогда не курили, полно дыму, едкого, фронтового, хоть топор вешай. К счастью, топора не оказалось, и это спасло от полного уничтожения часть стульев и зимних рам, которые будущие курсанты так деловито ломали на дрова.

— Остановитесь! Что вы делаете?

— А что, товарищ полковник? Мы дрова заготавливаем...

— Какие же это дрова?

— Подумаешь, оконные рамы! Мы в окопах пианинами обогрелись.

Что тут скажешь? Это издержки войны, ее невидимые потери. И учить этих людей, думал Быстров, будет чрезвычайно трудно. Нет ничего более трудоемкого, чем переучить неправильно обученного, тем более, если неверный прием подсказан молодому солдату смелым и мужественным, дорогим солдатскому сердцу командиром и в чем-то единичном имел успех.

Молодой солдат на ступеньках становления в войне стремится подражать командиру во всем, до мельчайших подробностей. Но в этом подражании ограничивается зачастую внешними признаками, не проникая в потаенный духовный мир кумира, что нередко задерживает собственное возмужание солдата. Это тоже, конечно, одна из издержек фронтового быта.

Подойдешь к курсанту, а он тщетно пытается закрутить в лихой ус светлый пушок над верхней губой.

— Как фамилия вашего ротного на фронте?

— Румянцев был, товарищ полковник.

— Это тот, усатый?

— Он самый, старший лейтенант Румянцев, — с гордостью восклицает паренек. — Вы, товарищ полковник, его тоже знали?

— Не так чтоб очень, но, кажется, встречал.

Новые трудности в обучении и воспитании курсантов не были тайной, и командиры подразделений, и преподаватели учебного отдела по вечерам беседовали, обменивались впечатлениями о проведенных в течение дня занятиях, обсуждали отношение к учебе курсантов, особенно с фронтовым опытом. Именовали эти вечера беседами по методике. Назвать их хотя бы начальными поисками в области военной психологии Быстров не решался, и кто бы такое плаванье в потемках одобрил? Методика обучения — да, это забота учебного отдела, пускай ищут!

Если в ходе собеседования обнаруживалось что-то стоящее, нужное в дальнейшем, такие даже небольшие находки протоколировались, например:

«В обучении курсантов необходимо еще более терпеливо и настойчиво добиваться превращения в сознании каждого курсанта жестких уставных норм и строго училищного порядка в элементы внутреннего управления и сдерживания, и в этом большую роль, чем прежде, должны играть преподаватели учебного отдела».

Собеседования приносили пользу. Командиры подразделений и преподаватели учебного отдела стали более строго и осмысленно относиться к своей работе, более вдумчиво и уважительно — к обучаемым, и учебный процесс стал более зрелым.

Начались двухмесячные командировки на фронт преподавателей тактики — молодых, имевших закон-

ченное высшее или среднее образование и военную подготовку в объеме полного курса пехотных училищ, методически зрелых и хорошо зарекомендовавших себя в училище.

В письмах с фронта или по возвращении командированные докладывали:

«Мы благодарны училищу. Фронт оказался именно таким, каким мы его представляли по командирским занятиям. Ничего неожиданного, и наши знания пересмотра не требуют».

«Оберегают нас, не пускают в бой. Говорят, предупреждены — сберечь! Неловко стало, поспорил, и уже две недели как команду батальоном, но кадровый командир всегда рядом».

«Целеуказание и постановка задачи артиллерии упрощены и ограничиваются двумя словами: «Давай огня!» Все за комбата делают артиллерийские наблюдения, идущие вместе с пехотой».

Но были и серьезные размышления:

«Складывается впечатление, что той старой пехоты, тем более как главного рода войск, уже не существует, и будет ли еще когда-либо? Только очень небольшие задачи под силу пехоте в этой войне, и ее участие даже в крупных сражениях уже не является решающим. Пехотные подразделения в бою и на марше связаны с танками, бронетранспортерами, и возможно, складывается новый род войск — пехота на машинах на марше, а в бою — с танками».

Письма, поступавшие с фронта, как и доклады командированных на фронт по их возвращении, серьезно обсуждались, оценивались и по ним принимались решения, в том числе и такие:

«В тактической и огневой подготовке ничего не менять. По темам «Отделение или взвод в наступательном или оборонительном бою» усилить условно выделяемые противотанковые средства, отрабатывать взаимодействия с ними и вопросы целеуказаний».

Партийно-политическая и массовая работа не вошла в область служебной работы Быстрова, но он в какой-то мере участвовал в ней.

Все преподаватели социально-экономического цикла, как и большая часть работников партийно-политического аппарата, имели большой опыт работы и, как правило — высшее образование. Многие в довоенные

годы работали лекторами областных комитетов партии и постепенно приобретали навыки в работе с курсантами и командными кадрами училища.

Самодетельность была развернута широко, и в ней участвовали командиры и политработники, их жены, курсанты, был очень хороший оркестр.

Часто в клубе выступали крупные артисты, ставились небольшие пьесы, исполнялись стихи К. Симонова, А. Суркова, читали статьи И. Эренбурга и пели столь любимые фронтовые песни.

Политическая зрелость курсантской среды была очень высока. В частности, искренне радуясь открытию второго фронта, высказывали такие никем не подсказанные мысли:

— Хорошо, что наконец решились! Только какой же он второй фронт — он же первый... для спасения капитализма на европейском континенте.

...Быстров уже знал о предстоящем поступлении ночью важного правительственного сообщения и понимал, что оно может быть только о капитуляции немецких войск и об окончании этой долгой и тяжелой войны. По опыту жизни он знал, что по крайней мере в звене полка и ниже самые строго охраняемые тайны, если они связаны с предстоящими перемещениями или значительными изменениями, становятся известными солдатской массе в общих чертах лишь немногим позже, чем о них узнает хотя бы один человек. Поэтому его не удивило, что учеба в тот день, 8 мая, разладилась, у него у самого ничего не клеилось.

Вдруг раздался тревожный телефонный звонок:

— Простите, не вы начальник гарнизона?

— Да, я исполняю эти обязанности. Чем могу служить?

— Я понимаю... это не телефонный разговор, но мы в растерянности. Директора нет, не можем найти и парторга, а рабочие бросают работу и массами выходят в город...

— Постойте, электропечи как?

— Там спокойно, все работают. Мыслимое ли дело печи бросать... Мы только просим, чтобы вы приехали и поговорили с рабочими. Они вас, как военного...

— Нет, не приеду, и вам вмешаться не советую. Следите за электропечами... Словом, поживем до утра, а там видно будет.

Узнали об ожидаемом важном правительственном сообщении и рабочие сборочных заводов. Бурная радость вылилась в стремлении на улицы города, на площади, к людям. Кто знает, может, оно и было лучшим проявлением чувств, самым понятным и самым человеческим?

Но вот и оно, раннее утро девятого мая сорок пятого года, утро первого Дня Победы, навстречу которому мы шли тяжело и долго, даже в самые мрачные дни не теряя веры в него — будет оно, непременно будет!

Ночью поступил текст акта о капитуляции вооруженных сил Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР за подписями М. Калинина и А. Горкина, установивший, что «9 мая является днем всенародного торжества — Днем Победы». В акте говорилось о капитуляции вооруженных сил Германии, в Указе Президиума Верховного Совета — о победе над немецко-фашистскими захватчиками. Первый был совместным документом, подписанным нашим командованием и командованием наших временных союзников, а второй содержал наше собственное понимание послевоенных обстоятельств. ЦК партии заблаговременно подготавливал народ к тяжелой и сложной борьбе за мир, и не забывались слова члена ЦК, товарища Шверника, сказанные им в докладе на партийном активе еще в марте: «Война подходит к концу. Предстоит тяжелая борьба за мир, требующая больших усилий...»

Холодная война готовилась, но еще не стучалась в дверь, мы о ней не знали и не обращали внимания на такое, может быть, случайное расхождение в тексте документов: К тому же — мы были счастливы, а счастливый внимательным не бывает.

День был выходной, первый за четыре года войны, и первый Праздник Победы. И погода удалась — сухой, солнечный, теплый день. Многотысячные колонны рабочих, работниц, многие с семьями, двигались в сторону старейшего завода, в парк. Все были радостны, одновременно смеялись и плакали, радовались наступившему миру, гордились нашими вооруженными силами, трудовыми подвигами народа, великой партией Ленина.

Быстров смотрел, запоминал и был радостен и горд: ему удалось увидеть то, что не всем дано, — радость победившего народа.

ЗАБЕГАЛОВКА

Февраль сорок шестого. Поезд местных линий, средняя полоса. Вагон переполнен сверх всяких норм, но, уплотняясь, все как-то устраиались. Было душно и холодно. Вагон не отапливался, и лишнее бы это — стекла в войну выбило, и в плохо заделанные фанерой оконные проемы тепло ушло бы так же легко, как уходил едкий запах изнуренных полушубков, самосада и давно не мытых тел.

Света не было. Вначале свеча маленько подмигивала над дверью, как сигнальный огонь дальнего маяка, а потом потухла. Догорела ли или спер кто? Да и нужды в ней не было. Все равно никуда не пойдешь. Ни по какой нужде — там тоже сидели. И кулька своего с собой не возьмешь, а оставишь — и позаимствовать могли бы.

Разговоры дружеские и самые пассажирские того времени — о соли, где она есть и по какой цене, на что охотней обменивают, о поездках, которые опаздывают. О людях тоже — кто у кого с войны не вернулся, о сиротах и о тех также, которые нынче по вокзалам и вагонам балуют. Охотней всего именно о них:

— Как того обчистили, мастерового. Умеючи делают, знатно.

— А где это? Я ничего такого...

— Ходил тот мастеровой с войлочным рулоном под мышкой и место себе намечал. Правильно, видно, он сообразил, остановился у дверей багажной кассы и все стоял у самой стены. Когда кассу закрыли, он у тех дверей и улеся, подстелив под себя тот войлок. Устами, видно, был и тут же захрапел. Тогда к нему другой с боку пристроился и давай того, сонного, по-маленьку с войлока выпихивать. Когда тот вовсе на полу

оказался, этот второй встал, завернул войлок в рулон и ушел с ним.

Вскороги мастеровой проснулся и такой вой поднял! Из-под меня, кричал он, кусок войлока уперли, но-вый вовсе, пар на десять обуток. Еще и милиционера позвал и тому толкует, что у него войлок стащили. Милиционер, должно, сонный был и не очень-то хорошо того мастерового понимал:

— Где тут войлок у вас был, гражданин?

— Я ж говорю — спал я на нем.

— Кто еще на этом войлоке спал?

— Один я. Больше никто.

— Выходили по какой нужде?

— Никуда не выходил. Все время на этом войлоке спал.

— Тогда, гражданин, покажите точно то место, где вы спали!

И тот показал. Вот, говорит, от того сучка, за тем мокрым окурком, и до того пятна на этой доске. Больше нигде.

Милиционер все хорошенько осмотрел, а потом сказал тому мастеровому:

— Нет, гражданин! Войлока у вас не стащили. На голом полу вы спали, гражданин. А войлок — это одна ваша чистая фантазия. А, может, какие общественные деньги пропили, гражданин? Очень даже просто...

— Вы милиционеру ничего не сказали?

— Как скажешь? Поднимись только, как твое место тут же другой позаимствует. И будешь потом на ногах до самого поезда. А разговаривать с милиционером лежа...

— Лежа неподобает.

— И я говорю.

— А я мыслю, — вмешался голос со стороны, — если из-под кого войлок уперли, того он и стоит. У тако-го и бабу уведут.

— Бабу не уведут. Много их, после войны, и товар вроде бы как уцененный.

— Смотри какая баба. Иная и не совсем и молодая, видная только и нарядная, крышу над головсой имеет, корову, огород и ремесло какое знает, по самогону в особенности, — к такой и молодые липнут, как мухи. А, девки...

— Девки, почитай, без надобности. Двое их у ме-

ня и знаю ихнюю цену. Молодых парней или мужиков почти нету. Которые погибли, которые еще служат, а которые в города подались.

— В городах тоже люди нужны, рабочие. Молодые в особенности, чтоб без семьи...

— А я о чем говорю. Но в городах и своих девок хватает.

— Сторожами едут устраниваться, кладовщиками.

— А что от них, кособоких, без ноги и без руки? Ездовым поставишь, и то ему бабу дай, чтобы погрузала на телегу и выгружала.

— Да, видать, не кончилась для нас, мужиков, еще война. Долго еще довоевывать будем...

Ранним утром пересадка. Темно еще, морозно и вьюжно. Узловая станция, но без настоящего вокзала. Подождли его в войну и взорвали. Под вокзал на скорую руку приспособили отдельно стоящее багажное отделение. Центральную часть назвали залом для транзитных. Только туда не протиснуться, либо долго там не простишь. Народу, как сельдей в бочке в добрые довоенные времена, и дух тяжелый.

А народ все прибывал. И, как нарочно, задолго до поезда, а другие — тотчас же после его отхода. Ну и народ же, господи! Не могут люди в аккуратности к своему поезду прийти. Хотя, с другой стороны, как угадаешь время, если расписания не вывешивались. Кассир, может быть, какие-то сведения о поездах имел, только к нему не подступиться. Окошечко кассы фанерной дощечкой прикрыто, вроде задвижки, и на ней бумажка приклеена, знакомая пассажирам многих поколений: «Касса справок не дает». В другом конце зала еще дверь была, но на ней намалеваны куда более хлесткие слова: «Посторонним вход воспрещен». И младенцу понятно — раз ты пассажир, значит ты и есть тот посторонний.

У наружной стены, с подветренной ее стороны, пассажиры мелкими группами сидели на своих мешочках, а другие, в погоне за теплом, быстрым шагом ходили из конца в конец перрона. Разговоры обычные. Но улавливалось и новое, в таких условиях заманчивое:

— Которые с деньгами — тем ничего! По буфетам сидят.

— А есть тут?

— Как не быть! Тут он, за станцией, в ста шагах.

В такое холодное утро открытие буфета еще задолго до рассвета было приятной неожиданностью. Тут он был совсем рядом, в пристройке к стене чайной, и служил как бы ее дежурным филиалом. Чайком, к слову сказать, там не баловали, как и в самой чайной. Чай — вода, и какой от него припек? Водка была из спирта-сырца, и, хотя продавали ее без ограничения во времени и сколько душе угодно, выпивали еще мало, по сто граммов, по старой фронтовой норме, не спрашивая закуски. И у кого ты закуску спрашивать будешь? Горожане на своем скромном пайке жили, а о крестьянах там, где проходила война, и говорить нечего. Они сами больше надеждами питались...

Закуска в буфете хотя и была, но отпускали ее посетителям осмотрительно и неохотно. Мало ли какие гости в течение дня могут заглянуть? И есть такие, которых угощать надо хорошо и умеючи, если не хочешь, чтобы тебя по собственному желанию из такого теплого места выпихнули.

— Перекусить найдется ли что, хозяйка?

— Это смотря по заказу. Которым сто граммов, те своим языком закусывают. А кому там двести и более, могу и котлету подать. Одну.

— А так пойдет — двести граммов и две котлеты?

Хозяин, в годах уже, упитанный и рыхлый, с длинными, низко опущенными концами усов, в разговор не вмешивался. Бразды правления держала его жена, значительно моложе мужа, красивая еще, чернявая и, видно, особа властная и крутого нрава.

— Как офицеру нашей героической армии, и еще в больших чинах, могу и две котлеты подать. Другим еды много не даю. При большой еде водка до живого мяса не доходит и всей своей силы не показывает. Жалуются, а которые и ругаться начинают, что воды в водку много добавлено. Поменьше бы еды в живот пихали, водка свою силу показала бы. И что эта за норма такая, по сто граммов для здорового мужика — срамота одна!

Тут же, на столике, плотно притиснутом к глухой боковой стене, появились объемистая глиняная кружка с резким запахом сивушных масел и тарелочка с двумя котлетами. Хлеба не подавали. Но, собствен-

но, и уговора такого не было. Обслужив посетителя, единственного в это время, хозяйка скрылась в двери за прилавком. Бразды правления, выпавшие из ее рук, подобрал хозяин. С него и спрос:

— Нет ли у вас более свежих котлет? Эти уж очень старые, с волосами да нестриженные.

— Я вам скажу, дорогой товарищ — выпейте! Тогда охота к еде появится. И не очень старые эти котлеты, в холоде держим. А насчет волос, если попались которые, вы не сомневайтесь, они из головы моей жены. Но она чистая, моется.

Оставалось последовать разумному совету, и вскоре хозяин уже начал подгонять:

— Может, вам, дорогой товарищ, еще сотку или сколько прикажете?

— Довольно, пожалуй.

— А я бы приложился.

— Ну вам-то уж кто мешает, хозяину?

— Жена мешает. Очень. Вы думаете, дорогой товарищ, она не отметила, сколько водки в бутылке осталось? Засекла! А пробка как стоит? Замечаете? На один бок маленько свалена. Это ее примета. Сколько разов я всякие пакости от нее переносил, пока этой ее хитрости не понял! На пробке теперь ей меня не словить. Но она новую ловушку удумала. Уровень водки в бутылке отмечать начала. И памятьлива! Своей отметки не забудет. Если б там сотку-другую по заказу налить, чтоб с отметки ее сбить, тогда и себе маленько...

— Ну раз так, налейте мне сотку, а себе уж по своей надобности.

— Сколько разов проверено — важно ее с отметки сбить, и тогда не словит... Вам, значит, и котлету свежую.

Налив сотку посетителю, хозяин приложился к бутылке и, заговорщически подмигивая, ушел в боковушку. Тут же пришла хозяйка, раздурманенная у плиты, и, как бы задабривая, подала свежую и горячую котлету.

Хозяин, отпуская сотку, непременно прикладывался к бутылке, как бы проверяя крепость и вкус содержимого. Выпивал изрядно, но заметно не пьянел, краснел только и становился разговорчивым и более смелым:

— На что вам, дорогой товарищ, этот поезд? Машинной поедете! Очень даже просто. Не было случая, чтобы какие шоферы наше заведение миновали. Непремен-

но зайдут, и тут вы с ними и договоритесь. У которых денег нету, те дорого не берут. На сотку просят, либо на две...

Когда хозяйка задерживалась в боковушке, он присаживался к столу:

— Недавно мы тут, дорогой товарищ. После ухода румын из наших мест мы сюда перебрались. Раньше далеко жили и — богато. Тогда же я и женился на молодой и красивой. При деньгах был, потому.

— Пришлось и вам, значит, испытать оккупацию. Несладко, поди, жилось под чужой властью?

— Это как смотреть, дорогой товарищ. Которые под немцев угодили, тем, сказывали, худо жилось. А румын — что? Простой человек, и в торговле очень понимает. Как открыл я чайную с ихним приходом, женился тут, и вместе с женой до конца и торговали без притеснений. И чайная разве у нас была! По названию только, а так — ресторан настоящий. Напитки всякие были и закуски. У румын же и покупали. Повара держали хорошего, и еще служанка была. Важных посетителей жена сама обслуживала. Видная она, и у такой больше заказывают. Еще закуток был маленький, баром называли, где я за стойкой сидел и кому что на скорую руку отпускал.

Офицеры к нам заходили, а которые в тех кабинетах и ночевали. И из наших тоже, которые у власти были поставлены или так, при деньгах, — нами не брезговали. Иные молодые девушки или женщины, из себя красивые и охотливые на веселье, тоже бывали. Нам-то какое дело! Каждый своим распоряжается, не краденым.

Когда наши героические войска пришли, начали тут же прежнюю власть восстанавливать. Кого надо, карали, даже смертью, а тех молодых женщин и девушек под машинку стричь начали. Тогда мы сюда и подались. Жена сильно испугалась. Понятно дело — женщина, а тут такие страхи! Торопилась она. Страшать, говорила, ее начали. Какие вещи по дешевке продали, а какие на хранение оставили у знакомых. Мало ли что может случиться. Побросали тоже немало.

Место здесь тихое, — продолжал он удовлетворенно, — и спокойно живем. Ничего, не голодаем, слава богу! И бояться тут нечего. Разве участковый когда заглянет. Но жена с ним ладит. Умеет она... Все бы хорошо, но доход пустяковый. Худо бы было, но жена у меня

оборотистая — станция тут, и очень она способная на деньги. А трудно, все одно — трудно. Уважением пользуетесь, и все такое, но люди разные. Бывают которые с понятием и свой интерес понимают, а есть которые без всякого понятия. С такими сильно умеючи надо. Жена опять же налаживает...

С появлением жены хозяин торопливо вытирал уголок стола и быстро, выюном, перебирался за прилавок.

И вдруг поведение владельцев забегаловки резко изменилось. Исчезла сонливая медлительность, забегали, засуетились. То хозяйка хозяина в боковушку зовет, то он ее. Через неплотно закрытую фанерную дверь, вместе с манящим запахом жареного мяса, проникали слова, сказанные торопливым шепотом:

— Приехали, оба.

— Кто?

— Какой ты, ей-богу! Сказано — оба приехали.

— А с этим как?

— Как хочешь, но чтоб не было. Скажи, врач приехал, санитарный, заведение закрываем на время осмотра.

Речь явно шла о том, что приехали из тех, которые «с понятием и свой интерес понимают», а может быть, из тех, «которые без всякого понятия и с которыми сильно умеючи надо». Собственно, не все ли равно! Ясно — выкуривают, и пора уже.

Подошел хозяин и опасливо присел на край табуретки, трезвый, кажется, и настороженный.

— Я так мыслю, дорогой товарищ, не будет вам сегодня попутной машины.

— Это почему же?

— Кто ж, дорогой товарищ, в такую выюгу на ночь глядя...

— Позвольте, какая же ночь сейчас? Часа два только, как солнце показалось.

— Это как сказать, дорогой товарищ. Путь немалый, и дорогу, должно, замело. А машины какие? Ходячие гробы! По всему видно, не пойдут машины нынче. Поездом как бы вернее было...

— Можно и поездом, конечно.

— И я говорю, куда ловчее бы. И тепло там, и все такое. И на вокзал бы вам. Расписаний поездов нету, и отсюда они быстро под гору бегут. Не успеть вам, тут сидемши.

— Да, придется поездом.

Захватив полевую сумку со всеми дорожными вещами, Иван Тимофеевич направился к дверям.

— Вы, дорогой товарищ, тут свою водку маленько недопили. Или позвольте уж мне за ваше здоровье и всякое такое благополучие!

— Валяй...

И по выходе из «заведения», и позже не раз вспоминал он этого ресторатора. Откуда они берутся? Много их, наверное, и — разных. И сапогом их не затопчешь.

Он уходил, и снова слышался слова: «Долго мы эту войну еще довоевывать будем».

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Дело к весне, первой послевоенной. Потеплело, и поля освобождались от снега. В низинах уже вода образовалась, и только у кустов бело. Зимники, пересекавшие развороченный в войну большак, серыми извилистыми лентами выступали над полями.

Все так и бывает в такое время. Но было и свое, послевоенное — кустарник на пахоте и неунавоженные поля. И не велика тут загадка: не управились с полевыми работами осенью, кони запахались, из сил выбились. И лежат ли они теперь или на опорах-помочах висят, но к весне чтоб в борозде ходили. Люди на себе сани с фуражом таскали. Женщины больше. Как в войну было, так и нынче.

Верст девять оставалось до ближайшего населенного пункта, и время еще не позднее. А ноги отказывались и не шли. Немцы так непутево их перебили — одну в голени, другую в стопе, что даже видный хирург Николай Наумович Терebinский, великий мастер латать и штопать, первосортных ног Ивану Тимофеевичу не обещал. Рукой только махнул:

— Неважные у тебя будут ноги!

И все же под вечер он доплелся до села и там обратился в сельский Совет, в отрыве от других строений стоящий у самого большака:

— На постой бы на одну ночь, товарищи.

— На одну можно, и на больший срок тоже. Только позвольте ваши документы. Порядок такой, и разговор тогда ловчее пойдет.

Председатель бегло просмотрел документы и передал их секретарю. Тот, видно, в документах жох был.

— Значит, вовсе из армий?

— Как видите. В запас пока.

— И долго служили?

— Как вам сказать? Если отбросить незрелые годы, то, пожалуй, всю жизнь.

— Надолго ли в наши края?

— С ходу не скажешь. На работу рекомендуют, на завод. Не в гости, значит.

— И то дело. Место есть. Исполнитель проводит и покажет. Дом целый и новый. К зиме поставленный и еще не заселенный. Деваха там одна или молодая женщина, больная, первую комнату занимает. Она тихая. Дальнюю для приезжих держим. Еду не обещаю. Нету.

— Понимаю. Не о еде речь. Ногам бы отдых. Да и малая краюха у меня в сумке есть.

— Ну, значит, хорошо. А утром как?

— Пеши придется, ведь фаэтон не подашь?

— И верно, не подам. Есть сколько-то коней и волов. Слабые только, а тут посевная. Бережем их и чем есть подкармливаем. На них вся надежда.

— Понимаю.

Дом — пятистенная изба. Новая, это верно сказали, и холодная. Заиндедевские оконные проемы, заделанные обломками кирпича и глиной. Через стеклянный глазок, в ладонь, в комнату проникал узкий и длинный, до самого порога, луч холодного весеннего солнца в закате. Вдоль внутренней стены — железная кровать, и в ней, в полумраке, угадывалась женщина под попоной или серым одеялом, с болезненно опухшим лицом.

— Здравствуйте! Не прогоните?

— Что вы! Живой душе рада! Когда еще мои девушки прибегут. И не хозяйка я... Добрые люди приютили, кормят, поют и моют. Девушки и печь затопляют, когда соломы нагребут. Тогда тут тепло делается, аж дыху не видать. Ваша комната та, дальняя. Лавка там для лежания и постель какая ни есть. А скамейка одна. Вот эта, у моей кровати. Если надо — берите.

Вынужденное одиночество, лишь вечерами прерываемое приходом подружек, искало отдушины, и вскоре Вера — так она себя представила — охотно, хоть и с видимым усилием рассказывала Ивану Тимофеевичу о себе:

— С нового года я лежу и, можно сказать, по своей

же глупости. Требования врачей не соблюдала. Вначале на костылях маленько передвигалась, а теперь и того не могу...

— Что случилось, с такой молодой еще? Война?

— Может, и война, хотя сама не воевала и войны толком не видывала. Местная я, из того небольшого поселка, к лесу отсюда. К войне школу окончила, семь классов, но мало что понимала. У родителей жила, и самой думать не приходилось. Видала, как наши войска по большаку отходили и как немцы за ними гнались. Боев поблизости не было, и немцы тут не задерживались. Только комендантов своих оставляли, а уж те полицаев нанмали. Из наших же, местных больше, или из города которые. Были такие, с кем по соседству жили или даже родственниками кому приходились, но, как и немцы, они грабили и насильничали. Не было в селах более поганого слова, как полицай.

Фронт далеко подался, но наши или еще в лесах оставались, или еще как-то по-другому, но вера держалась — вернутся наши! Этой верой жили, понимали — человеческая совесть не потерпит такое, и бог, если он есть, не позволит.

Однажды слух прошел, что партизаны в наших лесах объявились. Люди напуганные были, осторожничали и даже разговоров о партизанах не вели. Более зрелые или сведущие люди еще и предупреждали: если что заметишь — молчи! Это, может быть, полицейские штучки. Об этих слухах и забывать начали, как однажды ночью в село приполз весь израненный, в крови и до ужаста избитый человек, худой совсем, в порванной форме нашей армии.

— Советский я, — говорил он, — русский, командир Красной Армии. Раненым в плен захватили, и сколько я натерпелся. Сбежал ныне из мертвых, можно сказать. Тут, в вашем лесу, нас вечером расстреливали и трупы в ров бросали. Я в первой партии оказался и с первыми выстрелами в ров бросился. На меня другие попадали, и я под ними оказался, покойниками. Поэтому меня и не добили, как тех, которые на виду оказались. Ночью, когда полицаи ушли, я из рва выбрался и до вас дополз. Помогите, братья и сестры, не оставляйте командира своей армии на погибель. Дайте кто что может. Бинты, может, у кого есть, йод, еда какая, одежда. И укройте покамест в соломе где, на чердаке или в погребу.

Поверили наши, как не помочь своему человеку в такой беде! Кто что имел — приносил. Бедно мы жили, а если у кого что и осталось — полицаи разграбили. Некоторые девушки до войны невеститься успели, но война все немая. Похоронные вначале прибывали, потом их не стало. Словом, невесты стали вдовушками еще до свадьбы. Но другие еще надеялись, и все свадебное в никому не ведомые тайники ховали. Но тут и они не выдержали. Может, и плакали в душе, но все белое, что сохранилось, на полоски разрезали, в бинты тому раненому командиру.

И как он этих девушек благодарил за бинты! Плакал от радости и руки целовать пытался.

Накладывать бинты не велел:

— Голову только перевяжите и руку. Остальные раны я сам. В такие места... неловко при женщинах...

Крови смывать тоже не велел:

— Поверх забинтуйте, так безопасней для раны.

Наши сделали все, как он просил. Еду принесли, у кого что было. Самогону трохи взял. Может, — говорит, — рану какую промывать придется.

На руках его, бедного, на сеновал старой колхозной конюшни подняли и там укрыли старыми мешками и всякой рухлядью. И до чего же он был рад и благодарен!

— Знал я, верил — не оставят советские люди командира своей армии на погибель. Спасибо вам, братья и сестры!

И мы были рады. Спасем мы этого командира и хоть какую ни есть пользу принесем. Говорили даже — в лесу укроем, а там — к партизанам. Не может, чтобы их не было.

На рассвете началась стрельба. Немцы и полицаи по поселку шныряли и по округности, и по кустам. И тот раненый командир с ними был, за главного или проводника. Сам на своих ногах шел и не хромал. Он и показывал, кого казнить.

— Вот этот, — говорил он, — мне самогону принес. А эти бабы еды натаскали. А эти девки свое грязное исподнее для меня на бинты рвали.

На кого он показывал, того тут же и приканчивали. Потом они совсем обезумели и начали стрелять в кого попало. Одни стреляли, а другие выводили скотину со двора и поджигали дома...

— Как же вы спаслись, Вера?

— Мать-покойница перед смертью меня спасла. У коровы нашей отелочная пора была, и мать меня рано подняла: «Иди, Вера, погляди, как она? Пора бы...»

Только я в хлев вошла, как стрельба началась. Крик поднялся. Плач женщин и детей. В окошко для выброса навоза я видела, как людей из домов выгоняли. Кого в одежде, кого в нательном. Тут же у двери их приканчивали, и сжигали дома.

От страху я корову обнимала и все ее просила:

— Спаси, милая, родненькая, помоги...

Когда в себя пришла, через то окошечко из хлева выползла и укрылась в навозе у самой стены. Слышно было, как эти бандиты вошли в наш дом. Перестреляли и убили всех моих родных и подожгли дом. Один зашел в хлев и вывел корову, но меня он не заметил. Так и уцелела. Под тем навозом лежала до ночи, а после лесами в город пробралась. Там и жила у добрых людей до прихода наших.

— После эти бандиты вам не встречались?

— Может, и встречала. Суд над полицией был, и я на том суде была приглашенная. Только никого из них я точно не признала. Может, одно лицо у человека, когда он с оружием и зверем на людей бросается, и другое совсем, когда на скамье подсудимых милосердия просит. Но того главного злодея и изверга на том суде не было. Его б я признала. Видала его жалким и плачущим, видала и во главе банды. Такие не забываются!

— А дальше как жили?

— На товарную кассиром люди устроили. Там и жила при своей кассе. В новогодние дни гриппом заболела. Больничный мне дали и лежать велели, а я не послушалась. Сюда подалась. Может, думала, кого из наших встречу, случайно уцелевших, или из войны кто вернулся. В пути еще больше простудилась, и отнялись ноги...

— Врачи что обещают?

— Смотрели. Малая надежда есть, говорили. К лету какую-то больницу открывать собираются. А сколько раненых и искалеченных. Когда там еще мой черед...

Иван Тимофеевич не смог найти для нее какие-то утешающие слова, да и усталость взяла свое. Пожелав Вере доброй ночи, он перебрался в свою комнату и вскорости уснул. Боль в ногах прерывала сон, и тогда в тревожном полусне он чувствовал в комнате печное тепло и улав-

ливал приглушенный перегородкой говор нескольких молодых женских голосов:

...чтоб руку на себя наложить? Не смей думать о таком, Вера! Не смей! От души делаем, помогаем тебе как можем и стеблем в глаза не колем...

...твоей доли не понимаем? А хорошо ли ты, Вера, познала нынешнюю женскую долю? И как узнала? У кассы своей или тут лежамши?

...трудно бывает и обидно. Бывает, и бригадир покрикивает. Не к тому говорю, чтоб человека хулить, бригадира. Нам трудно, а ему трудней нашего. Парни и молодые мужики погибли, и в селе одни девки да бабы, да еще старики, калеки увечные и малолетки.

...как видишь, не богаче мы тебя, Вера! Не богаче. Но и новое в нас есть, и это понимать надо. Раньше только балбесничать умели, у отца-матери либо мужа на шее висли. Прошло это, и многое самое заветное ушло, женское. Плачем, бывает, либо старинные песни поем.

...тебя, Вера, мы в больницу поместим и вылечим. Пусть только попробуют не принять! Не те мы, довоенные дыпки!

ФЕДОР И ПРАСКОВЬЯ

1

В этой лесной избушке они жили всегда, расширяя и обновляя ее по мере надобности и по своим силам. Федор в ней и родился, а Прасковья, жена, тоже всю жизнь тут прожила начиная с раннего замужества. И стояла изба не в малом отрыве от деревни, а в самой гуще леса, километрах в двадцати от ближайшего жилья. Только теперь, к старым годам, она рядом с большим поселком оказалась. Настиг ее один из многих лесных поселков на этом теперь уже голом бугорке.

Подальше бы в лес податься хотелось, в его пригычную тишину, но где теперь такое место найдешь? И годы не такие, чтобы с места на место переезжать. Вот и пришлось терпеть близость шумного рабочего поселка и даже поддразнивания озорных поселковых мальчишек с того берега оврага.

По облику Федор Андреевич, или Хведор, как называла его Прасковья, старея, становился все более диковатым. Лет под восемьдесят, с признаками могучей еще силы, которой и годы не взяли, высокий, костлявый и сильно косолапый. На голове сохранилась немалая копна рыжевато-седых волос, торчком направленных во все стороны. Борода, вся белая, усы и брови так отросли, что из-под них виднелся только нос, приплюснутая картофелина.

Гордился Федор Андреевич своим хозяйством и любил его показывать свежнему человеку, хитровато улыбаясь, ошарашивая объяснениями:

— Все, что тут есть, я сам сделал, кроме того хромого кабана. К нему касательства не имел...

— Да, доброе у вас хозяйство.

— Все своими руками. Прасковью, жену мою, и ту на постройке дома заработал у одного мужика, который только и умел, что ребят производить. Я уже в хороших годах был, лесником числился, а все бобылем жил. Словом, хозяйка нужна была. Тут я встретился с этим мужиком, и обо всем с ним условились: как поставлю ему коробку дома и стропила подниму, так его старшая дочь, Прасковья, моей будет.

Сил было много, с деревом обращаться я умел, и стены дома быстро сколотил. Поднял потом стропила, закрепил их как положено и к обеду последнего дня венки выставил — знак, что дом построен, как было договорено. Тут я и сказал Прасковье:

— Собирай в узел все, что тут твоего, и пойдем. Не девка ты отныне, а мужняя жена. Только быстро. До наших владений тут немалые версты будут...

Отказываться или спорить она не стала. И как против родительской воли пойдешь? И любопытно ей. К восемнадцати годам подходила, бабьего дела не ведала. С тех пор и живем, куда более полвека уже.

— Дети были, Федор Андреевич?

— Были, не без этого... Сыновья были, но они в родительском доме долго не задерживаются. В мир их тянет, новое глядеть. А у нас и того хуже получилось. С самого начала непутево вышло. Когда Прасковье рожать, я еще загодя бабку привез, и она у нас жила и того дня дожидалась. Баню истопил, как мне сказали, и в этой бане та бабка с Прасковьей колдовала, как полагается в таких случаях. Меня в комнате оставили

с наказом по команде бабки Прасковье одежду принести и младенца бегом домой доставить.

Деяго они тогда в той бане ворожили, и уму непостижимо, сколько я за это время страху перенес! За Прасковью сильно боялся — как она с таким новым делом справится? Прошло сколько-то часов, и меня криком вызвали.

— На, Хведор, — говорит бабка, — бери сына своего, богом тебе дареного, и быстро укрой его в постель от простуды!

Побежал я с этим младенцем, легким, как воробей. И какая радость меня охватила! Ноги сами меня несли, и кричать мне хотелось: «Спасибо тебе за сына, Прасковья! За радость такую тебе спасибо!»

Только я с младенцем управился, как эта бабка меня опять кличет и мне второго младенца сует:

— Вторым сыном тебя, Хведор, господь дарует. Мало на кого такая благодать нынче выпадает...

Побежал я опять, значит, с этим вторым сыном, но такой легкости в ногах уже не чувствовал. Правда, и страху не было. Ничего, думаю, управимся и с двумя сыновьями. Прасковья с ними будет, домашние дела сделает, а я в лесу и за двоих поработаю. Думал я так и этого второго младенца в тряпье укутывал, что от первого сына осталось. А тут эта проклятая бабка меня еще раз кличет. От страху у меня ноги отнялись, двигаться не могу, стою только в дверях, на косяк опираюсь и что было духу кричу:

— Не балуй, бабка. Ты слышишь, старая?

Тут она сама в комнату вваливается:

— Напугала я тебя, олух. Ребята покамест кончились. Нательного Прасковье подай и помоги домой доставить.

Выросли сыновья, и нету их. Прасковья больше не рожала, как бы мы ни хотели...

В этот миг из комнаты, сбоку пристроенной, прозвучал мягкий, но остерегающий голос:

— Хведор, не фулигань! Слышишь, Хведор? Беда мне с ним, стариком стал. Как свежего человека встретит, так у него одни пакости на языке. Лучше б сухих дров принес, а то с обедом не управлюсь.

— Видали, — заговорщически подмигивая, обратился ко мне Федор Андреевич. — Это Прасковья, моя жена. Все подслушивала и молчала, пока я насчет наших ста-

раний речь не повел. Такая она строгая стала, Прасковья. И не из-за стыда она, и чего ей стыдиться? Гордится она, что жизнь с мужем в согласии жила. Не с постели в постель переходила, как иные другие.

Как только Федор Андреевич вышел, из кухни подошла старая уже, взволнованная, на удивление симпатичная женщина, по всем признакам знающая себе цену и свою роль в семье.

— Если вы, не знаю, как вас зовут-величают, — чего худого Хведору намечаете и за тем приехали, то уходите сейчас же! Старого и больного человека в обиду не дам. И о сыновьях с ним разговора не ведите...

— Иваном меня зовут, Тимофеевичем, и с добром я к Федору Андреевичу... простите, как вас по отчеству?

— Чего там еще по отчеству! Прасковьей всю жизнь звали. Так и зовите — Прасковья.

— Много хорошего и диковинного говорят о Федоре Андреевиче. Вот я и пришел для личного с ним знакомства. С добром я к нему и с уважением к вам, тетя Прасковья.

— Коли так, то я сама вам все обскажу. Только вы Хведора в тяжкие мысли не вводите. Не больной он головою, как другие думают, и даже такой документ ему дали. Обиженный он, и не скажешь, людьми ли обижен, богом ли проклят или уж такая его доля? После обеда Хведор корову на старые вырубки поведет, а вам, уставшему с дороги, постелю тут на лавке у стены. Если вам слушать охота, тогда все обскажу.

Вскоре поспел обед. Скромный, но по тому времени не бедный.

— Садитесь с нами, — пригласили меня. — Только, извините, водки не будет. Не пил я ее никогда. Может, когда сына...

— Что ж ты, Хведор, разговорами человека угощать будешь? Дай человеку покушать и сам поешь. Тебе на вырубке пора. Солнце вон куда поднялось, а корове только корзину травы дали. Вечером все и расскажешь.

— И то верно, Прасковья, верно рассудила. А у вас, извините, жены нету?

— Нету, Федор Андреевич, померла.

— Плохо, думаю, без жены. Большая в нее сила заложена.

— Не болтай ты, ради Христа, за столом, Хведор. Сиди себе и ешь. Тебе вон какая дорога, и сколько там

часов будешь. Не молодой... В котомку твою все положено. Картошка там, краюха хлеба. И спички там и соль — И как бы мне только. — Беда с ним. Худеет все, а иной раз еду обратно приносит

— Когда ж это и было а она все помнит.

— Когда б ни бывало, а бывало! Как только приедешь на место, тут разводи костер и напеки картошки...

Было что-то трогательно нежное, материнское, в хлопотах этой маленькой, почти миниатюрной женщины.

2

После ухода Федора Андреевича Прасковья рассказывала:

— Пасчет моего замужества Хведор вам все правильно рассказал. Так все и было. Шестеро нас у отца было, и в такой большой семье лишний рот за столом без надобности. И домик у отца плохой был, старый и маленький. Но лес был, завезенный. Потому отец меня за Хведора и выдал. И не жалею я. Хорошим мужем Хведор был и отца мне заменил. Может, не такой ласковый он, как другие, которым жизнь одна забава, но обиды от него не видывала. Счастливо я жила, пока жизнь давалась..

— У вас дети были. Что с ними?

— Хведор вам рассказывать начал, но я за дровами его послала. Старый он и сильно больной. Нельзя его волновать тяжелыми мыслями. Лучше я вам все расскажу, пока его нету .

— Федор Андреевич намного старше вас?

— Годов на двадцать. Только до тюрьмы я в нем никакой старости не примечала.

— Значит, верно, что Федор Андреевич в тюрьме сидел? Как это случилось? Наверно, по ошибке или ложный донос какой?

— Не было такого. В тюрьме он по своей вине сидел и — немало. Попасть в нее легко, а выйти на волю как трудно. Срок ему дали восемь годов, но он там, в колониях, сказывал, за непослушание новых сроков еще набрал. Но тут новый закон вышел. С кого вину вовсе сняли а Хведора по амнистии выпустили, потому виноватый он был. Он, Хведор-то, ничего худого не хотел, но так

вышло. Из-за сына-покойника у него спор с властями вышел, и он в сердцах одного из начальников кулаком...

— Сын не на фронте погиб?

— Если б на фронте, может, и легче было бы материнскому сердцу, и Хведор не маялся бы... Один сын всю войну воевал, и сколько ранений имел, и наград много! Старший он был, в последнюю зиму пал, героически, писали, смертью храбрых. Когда похоронную принесли, Хведора дома не было, и я это письмо за икону положила. Сколько сама плакала, а Хведору не сказывала. Скажу, думала, потом, а он пусть этого горя еще не знает. Но он, оказывается, все знал, но разговора о смерти сына не вел, меня жалеючи. Помучился сам, терпел, но однажды утром, когда уже война заканчивалась, он меня спросил:

— Тебе, скажи, Прасковья, усопшие когда представлялись?

— Ты к чему это, Хведор?

— Нет, ты скажи — представлялись когда и в каком одеянии? Погребальном ли, или в белом каком?

— Мать-покойница в первые годы часто представлялась. В белом все, красивом...

— Ну вот, Прасковья, не жди больше нашего старшего сына. Не потому не пишет, что в партизанах или в плену. Убитый он, Прасковья. Ночью он мне представлялся, во всем белом, и куда-то торопился, и меня все упрашивал:

— Причеши мне, отец, волосы и смотри, чтобы и сзади хорошо лежали, как раньше, когда вы нас в школу снаряжали или к рождеству...

Взялся я за расческу и только тут углядел, что у него левой половины головы почти и нету. Дыра одна, большая.

Сильно мы с Хведором тогда горевали, но не так убивались, как те, у кого бойна все отняла — и сыновей и отца. Хведор мне тогда еще такие слова говорил:

— Хотя сына мы и потеряли, но счастливые мы, Прасковья. У многих-то начисто всех! Вот горе-то настоящее...

Спустя неделю или две младший и вернулся, сильный такой, возмужалый, со смешными усиками, и вся грудь в отличиях. По нашему командиру, сказывал, усы у меня. Он усатый был и мы все по нему.

Радости сколько было! И смеялась я и плакала тоже, но тут это все одно. И Хведор радостный был. Тоже смеялся, но и отворачивался. Не то слез своих показать не хотел, а может, и другое было: сильно он старшего сына любил.

Тут вскорости беда и напала. Все в один день. Сын в могилу, и Хведору срок дали, восемь годов.

— Может, расскажете, Прасковья... нет, не могу я так. Скажите, как вашего отца звали?

— Даниил был покойный, Даниил.

— Ну вот, Прасковья Даниловна... Что случилось у вас в тот страшный день?

— И верно, что страшный! Не люблю я его вспоминать. А сыновей все еще маленькими, в люльке, и бегающими по двору вижу. И теперь еще острые камни со двора убираю, как тогда было, чтоб мои дети себе ноги не поранили. Сколько радостей у меня с ними было! И хотя горе все высосало, но о том времени все думается, и боюсь я за детей. И за Хведора боюсь. Больной он, полными пригоршнями нахлебавши горя, и не дай бог, чтоб с ним что случилось!.. Сколько знаю, вам все расскажу, хотя и не так уж много я и видела, потому что беспомощно лежала. По рассказам сестры знаю, которая в тот день к нам пришла, чтобы на нашего сына, ее племянника-фронтовика со всеми наградами поглядеть.

В те годы тут еще сплошной лес стоял и того поселка не было. В том овраге, перед поселком — озерко. Маленькая рыбка в нем водилась, и утки садились, потому тихое оно. В кустах, на нашем берегу, старая плоскодонная лодка-корыто лежала. В какие еще годы ее Хведор ребятам скототил. Когда ребят на войну взяли, мы о той лодке вовсе забыли и не видывали ее. Кусты там большие. Когда младший сын — мы его всегда младшим звали, хотя он на неполный час моложе был, — с войны вернулся, он ту лодку залатал, осмолил и все посмеивался:

— Ну, мать, держись теперь. Замучаю я тебя рыбой! Только ты не сильно трусь. Сковородку дай, соли да масла, а остальное я сам сделаю. Война-то всему научила.

На чердаке сарая сколько уж годов ружье лежало, старое, курковое, сказывал Хведор. Еще в какие годы он его у одного хозяина вместо заработанных денег отобрал и в сердцах на чердак бросил.

— Пусть, — говорил он, — без ружья ходит. Все равно денег с него не возьмешь!

Забыл Хведор про то ружье, а ребята, должно, с ним побаловались. И тут сын, по прибытии с фронта, это ружье в трухе откопал, почистил и, должно быть, — зарядил. Я ему еще говорила, чтоб поосторожничал.

— Лодка, — говорю ему, — вовсе гнилая, а ружье сколько годов на чердаке валялось. Может, тоже прогнило.

А он все посмеивается:

— Тебя бы, мать, на фронте за самого главного командира поставить. Ты бы всем новые лодки нашла и ружье по вкусу.

И я с ним смеялась. Что с него взять, молодого? Разве он старуху послушает...

К обеденному перерыву я на берег вышла и рукою ему машу, чтоб к берегу причалил, к обеду. Лодка по тому берегу шла. Но, заметив меня, сын ружье на сиденье положил, рядом с собой, сам в корму сел и начал веслом-лопатою лодку к берегу заворачивать. Тут и я к самой воде подошла, чтоб поглядеть, каков улов у моего сына-фронтовика. Рыбы я не углядела, но воды в лодке было полно, почти до самых сидений, и деревянная черналка в этой воде плавала. Когда лодка ударилась о берег, ружье выстрелило, и наш сын, весь в крови, свалился на борт лодки. Тут я помню, как Хведор с дурным криком из-за моей спины бросился к лодке. Как попала домой, не помню.

Очнулась, когда Хведор с постели меня поднимал и так ласково уговаривал:

— Проснись, Прасковья, и встань. Пойдем. Я все сделал как надо. Но не могу я нашего сына без твоего прощального слова земле предать. Если ты еще ходить не можешь — я поднесу. Но без тебя не могу... И о старшем сыне тоже какое хорошее слово сказать надо... Вместе они теперь будут...

Очень слабая я была и не все его слова понимала. При его помощи поднялась, и мы пошли к той большой ели, что и ныне за сараем стоит. Хведор меня сбоку поддерживал и все объяснял и толковал:

— Крепитесь надо, Прасковья, и смириться... Не одна ты осталась. Я с тобой, Прасковья.

И опять я не все хорошо поняла, и только когда мы завернули за угол сарая, это страшное на меня обруши-

лось. На краю свежерытой могилы гроб лежал, и в нем младший сын, последний, уже во всем белом. Упала я тут, и больше месяца в постели пролежала. Сестра моя, которая к вечеру того дня пришла к нам, чтобы на нашего сына и ее племянника поглядеть, меня выходила и после обсказала, как и что было:

— Хведор либо каких законов не знал или тоже в беспамятство от такого горя впал, он сына в тот же вечер земле предал, без ведома и позволения властей. Большую ошибку он тогда сделал, но я его за это не осуждала и не осуждаю. Всякое случается в жизни, а человека и в беде понимать надо.

В бога Хведор никогда большой веры не имел, но, как сестра рассказывала, заупокойную речь он очень верно и трогательно говорил. Сестра столько раз эту речь Хведора мне пересказывала, что я ее слово в слово помню: «Если ты, бог, есть на небесах и хочешь по справедливости сделать, то прими моего младшего сына, как ангела своего. По нечаянности это случилось, и нету тут никакой его вины. И на старшего моего сына, на войне убитого, ты наказания не накладывай. Чистый он перед тобой и перед людьми. А если на войне кого и убивал, так там же такое ремесло. Но если по законам твоим кого из них непременно наказывать надо, то ты повремени маленько, пока я преставлюсь. Я отец, и за все в ответе».

Вскоре приехали районные власти: прокурор, следователь, от милиции тоже и — понятые. Начали они Хведора спрашивать, как и что. Вначале он все правильно отвечал:

— Ружья тайно не хранил. От давних времен оно у меня, на чердаке, и я совсем забыл о нем. По прибытии с войны сын это ружье откопал и зарядил. Оно и выстрелило потому, что в лодке воды полно было, и деревянная черпалка, которая в ней плавала, при ударе лодки о берег задела открытый спуск курка.

Ему все новые и новые вопросы задавать начали, а Хведор умолк. Стоял все, молчал, как глухонемой, ничего этим начальникам не отвечал. «Отец я», — сказал только. Когда же они крест, Хведором на могиле поставленный, сваливать начали, чтобы покойника из могилы для обследования поднять, он одного из тех начальников ударил. Тот тогда был в исполнении обязан-

ностей, главным считался, и потому Хведору такой срок и дали, восемь годов.

После одна жила. За могилой ухаживала, хотя толком не знаю, в ней ли мой сын или, может быть, когда я в беспамятстве лежала, его после вскрытия в районе оставили. Но в этом месте Хведор его земле предал, и тут, значит, и его могила.

С Хведором тоже об этом разговору не ведем. Не хочет он вспоминать того страшного дня, и я боюсь. Но на могиле он бывает. Свежие полевые цветы там появляются и бурьяна нет. Это он, он так. И я там тоже сижу, когда Хведор отлучается куда.

Я вам все обсказала, как и что было, и вас прошу с Хведором на эти вопросы разговору не вести. Старый он, больной, и стоит того, чтоб его берегли. И у меня тоже, кроме Хведора, никого во всем мире нету... Могла бы могилу показать. Тут она, за углом сарая, под большой слью. Только поздно уже, и Хведор может вернуться. И ничего там для постороннего глазу и нету. Махонький курган, крест и цветы полевые.

3

В ранних сумерках вернулся Федор Андреевич, и после ужина, когда Прасковья Даниловна ушла на кухню с посудой, возобновился прерванный днем разговор:

— Лесной я человек и всегда в лесу жил. В той половине, где кухня, я и родился. Эту половину после пристроил, когда сыновья подросли и сам в хозяйственную силу вошел. Густой тут тогда лес стоял. Не эти оголенные бугры... Отца не помню. Он еще в моем малолетстве умер. Вскорости за ним последовала и мать. Сколько-то годов по милости у людей жил, после — на лесных работах. Вначале сучья за лесорубами убирал. Больше строгости тогда в лесах было, и захламленности не терпели.

Со временем лесником поставили, взамен отца. Тогда же я опять в этот домик вернулся. Когда женился, начал хозяйством обзаводиться. Сил много было, и места наши глухие. Лесничий или даже объездчик редко когда заглядывали, и я, между своими делами, подрабатывал у разных лиц. Коня — и какой там конь! — паршивого сосунка у одного заработал. Я ему добрый кусок болота оканавил и под пашню выкорчевал. За эту работу он мне того сосунка и дал. Так со временем стала у меня

лошадь. За работу и теленка и другую живность занимел. А того хромого кабана Прасковья в нынешнюю зиму в покрытых снегом кустах по визгу нашла и выходила. Зимник тут вблизи моего хутора лежал, и, может быть, у кого этот поросенок из кузова вывалился. Огород тоже держим. Картошка там, другая какая мелочь. Это Прасковья, а я лесной человек, и мне лес...

— Ты опять, Хведор, за лес берешься. Тебе ж доктор велел не вмешиваться ни в какие посторонние дела. Волноваться не велел, потому вредно тебе...

— Разве я, Прасковья, что говорю. Радуюсь, когда лес разумно рубают, на пользу. Как не скажешь спасибо людям, когда чистые вырубки оставляют, лесовозные дороги и всякий хлам убирают, для посадки готовы, или полосы оставляют для самосева...

— Старый ты стал, Хведор, и свое пожил. Не понимаешь ты нынешнего, и какое тебе дело, как нынче люди делают. Другое теперь стало...

— Вы послушайте, что Прасковья рассказывает. Выходит, старым людям и дела никакого нету. А того не понимает, что все мы за все в ответе. В ответе за то, как берегли оставленное нам добро, и в ответе за то, как научили молодежь сберечь все и использовать себе на пользу. Не временщики мы, и отвечаем мы за лес, за полезного зверя и за все до последнего пескаря.

Сколько я всякого видывал, пока из за Урала почти год домой добирался...

— Позвольте, почему пешком? Разве вам проездных не давали?

— Сказали! С геологической партией, мол, до станции доберешься, а там — поездом. Но я им сказал: не по моей воле и не по большой моей вине я седьмой год в ваших партиях хожу, и не перечил. Но раз теперича мне свобода вышла, то я и пойду куда хочу и как хочу. Поговорили они со мной, поубеждали, а потом махнули рукой — иди хоть к черту на рога!

Так я и шел от лесопункта к лесопункту, подрабатывая на еду, а где и попутными машинами подбрасывали. Лесник же я и всю жизнь за лесами следил. Посмотришь, и хорошие леса попадают, и хорошие новые посадки. Но и глупостей сколько и всякой виновности людей, на дело поставленных...

С наступлением темноты разговор умолк, огня не зажигали, и, видно, нужды в нем не было.

Ранней осенью я еще раз посетил этот лесной хуторок. И дело у меня было — хотел первым обрадовать Федора Андреевича сообщением о снятии с него судимости и о назначении ему пенсии. Прасковью Даниловну застал сидевшей на крыльце, постаревшую и тихую. Не было и прежней приветливости.

— Что с вами, Прасковья Даниловна? Не захворали?

— Здорова я... Неделя, как Хведор преставился... Вышел, чтоб дров принести, и нашла я его у поленницы остывшим, с березовой чуркой в руке под ним...

— И как же вы, Прасковья Даниловна?

— Одна, сама все. Сама и заупокойную речь сказала. Может, не такую ладную, как Хведор на могиле нашего сына сказал. Но он меня понимает и не осудит, и пускай теперь они что хотят делают, но я могилы Хведора никому трогать не позволю...

— Что вы, Прасковья Даниловна! Никому такое и в голову не придет. Только я думаю, трудно вам одной тут. Не похлопотать ли, чтобы вам жильё дали? Тут ли, в поселке, или в районе.

— Нет, никуда я отсюда не перееду. Тут мои, с кем я жила и для кого жила. И место себе облюбовала — у ног сына. Хведор, значит, у головы — он отец, а я у ног... Каждый день у могилы по много часов сижу и Хведору все рассказываю. Все малое рассказываю, что приснилось мне или случилось за день. И то большое тоже, что при жизни осталось недосказанным.

Погода была тихая, солнечная и удивительно мягкая, какая она бывает в редкие вечера бабьего лета. На обратном пути остановился на бугре, и вдали, рядом с рабочим поселком, ближе и правей дивных посадок молодого леса, виднелся приземистый дом Федора Андреевича, теперь обиталище только одной и тихо гаснущей Прасковьи Даниловны. Отблески садящегося солнца ложились на глухую стену домика, и он, старый и приземистый, выступал в новом праздничном одеянии, красивым, может быть, той особой красотой, которой так богато были наделены его владельцы — Федор Андреевич и Прасковья Даниловна.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| С веком день за днем. <i>О. Тихонов</i> | 3 |
| КРАСНЫЕ ФИННЫ | |
| Право защищать революцию | 11 |
| «Без малого шестнадцать» | 11 |
| Дубровка | 23 |
| Курсантские годы | 39 |
| Интернациональная школа | 39 |
| Курсанты и преподаватели | 48 |
| Кронштадтский мятеж | 72 |
| Лыжный рейд на Кимасеверо | 79 |
| В ЧЕКИСТСКОЙ ОПЕРАЦИИ «ТРЕСТ» | 102 |
| ИЛЫНСКИЙ ПОСТ | 138 |
| МОИ ГРАНИЦЫ | 199 |
| ВТОРОЙ ЭШЕЛОН | |
| Глава первая | 242 |
| Глава вторая | 280 |
| СЛЕД ВОИНЫ | |
| Забегаловка | 304 |
| Ночной разговор | 311 |
| Федор и Прасковья | 316 |

Иван Михайлович Петров (Тойво Вяя)

МОИ ГРАНИЦЫ

Редактор В. И. Чернецова
Художник И. Г. Карт
Художественный редактор Л. Н. Дегтярев
Технический редактор С. М. Паль
Корректор В. Н. Григорьева

ИБ № 899

Сдано в набор 12.11.80 г. Подписано в печать 13.02.81 г. Е-03508. Формат бум. 84×108¹/₃₂. Типографская № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 17,22+усл. печ. л. вкл. 0,84+усл. печ. л. фронт. 0,1. Уч.-изд. л. 18,08+уч.-изд. л. вкл. 0,64+уч.-изд. л. фронт. 0,04. Тираж 85 000 экз. Заказ 739. Изд. № 162. Цена 1 руб. 50 коп. Издательство «Карелия». 185610. Петрозаводск, пл. Ленина, 1. Сортавальская книжная типография Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров Карельской АССР. 186750. Сортавала, Карельская, 42.